

Андре Симон  
Тордон Уотерфилд  
Андре Морюа  
Андре Жеро (Пертинакс)  
Жюль Ромэн

**О ТЕХ,  
КТО ПРЕДАЛ  
ФРАНЦИЮ**

*Андре Симон, Гордон Уотерфилд  
Андре Моруа, Андре Жеро (Пертинакс)  
Жюль Ромэн*

# **О ТЕХ, КТО ПРЕДАЛ ФРАНЦИЮ**

**О Г И З**

*Государственное Издательство*  
**ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

*Москва. 1941*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В июне 1940 года Франция потерпела жестокое поражение в войне с Германией. Это поражение, происшедшее меньше чем через десять месяцев после начала войны и немногим больше месяца после начала решительных военных действий, стало для страны национальной катастрофой. Большая половина страны, в том числе столица Франции — Париж, ее крупнейшие промышленные центры, транспортные узлы, морские порты заняты гитлеровскими войсками. Промышленность в значительной мере разрушена войной и бездействует. Сельское хозяйство подорвано. Финансы — в плачевном состоянии, тем более, что Франция выплачивает чудовищные суммы — 12 миллиардов франков ежемесячно — на содержание германских оккупационных войск.

В стране царят голод и нищета. Рабочие остались без работы, крестьяне разорены. Беженцы — их было свыше 10 миллионов, — возвращаясь на родные места, зачастую заставали развалины вместо домов. Два миллиона военнопленных остаются в Германии; четыреста тысяч жителей Лотарингии насильственно выселены гитлеровцами с родины. Гитлеровцы грабят Францию, они вывозят в Германию буквально все, что можно вывезти. Фашистские варвары вместе со своими подручными — так называемым правительством Виши — установили в стране режим свирепого террора и черной реакции.

Кто же виноват в военном поражении Франции? Почему большая европейская страна, с 42-миллионным населением, страна, располагавшая мощной промышленностью, поставившая под ружье 5½-миллионную армию, сопротивлялась неприятельскому наступлению всего лишь 38 дней?

Статьи и книги талантливых французских писателей и журналистов, собранные в настоящем сборнике, содержат много интересных фактов и ярких иллюстраций, помогающих ответить на этот вопрос.

Находясь в гуще политической жизни Франции, авторы были хорошо осведомлены о том, что происходило в стране за последние годы.

Внешняя и внутренняя политика Франции была знакома им не из официальных деклараций премьер-министров или парламентских речей. Они имели доступ к ней не с парадного, а с черного хода. Они близко знали закулисные стороны правительственной деятельности, ее скрытые пружины. Они слышали и видели многое, что скрывалось от широкой публики за дверьми министерских кабинетов, политических салонов.

В этом и заключается главная ценность их статей, дневников и записей.

Статьи и очерки, собранные в настоящем сборнике, наглядно показывают, что причины военного поражения Франции надо искать не столько в личных качествах тех или иных деятелей или в отдельных ошибках командования, сколько в политике правящих кругов Франции на протяжении, по крайней мере, последних 7—8 лет.

Задолго до начала второй мировой войны над Францией стали сгущаться зловещие тучи. Фашистская Германия вооружалась и угрожала Франции новой войной.

«До тех пор, пока вечный конфликт между Германией и Францией будет разрешаться нами только в форме обороны, он никогда на деле разрешен не будет... Нужно понять, что мы должны, наконец, собрать все свои силы для активной борьбы с Францией, для последнего решительного боя», — писал Гитлер в своей книге «Mein Kampf».

Главарь фашистских бандитов открыто и цинично призывал к унижению Франции.

Было очевидно, что гитлеровская Германия готовится напасть на Францию, и вопрос может стоять только о сроке этого нападения.

Перед правящими кругами Франции возник вопрос: что делать дальше, какой внешнеполитический курс следует избрать?

Готовиться ли к неизбежному столкновению с Германией, либо пассивно смотреть на рост ее вооружений, на подготовку к войне?

Правящие круги Франции не колебались в выборе пути. Внешний враг, Гитлер, не был так страшен французской буржуазии, как рабочий класс, трудящиеся Франции, поднимавшиеся на борьбу против капиталистической эксплуатации. Когда успехи Народного фронта в 1936 году привели французскую буржуазию в состояние панического испуга, она противопоставила росту революционного движения внутри страны капитуляцию во вне.

«Правящие круги Франции не были связаны с народом и не только не опирались на него, но боялись своего народа, имеющего заслуженную славу свободолюбивого народа со славными революционными традициями. В этом одна из серьезных причин вскрывшейся



слабости Франции», — так говорил товарищ Молотов, оценивая причины поражения Франции, и статьи Симона, Пертинакса, Моруа, Ромэна, Уотерфилда дают много ярких иллюстраций к этим словам.

Правящие круги Франции боялись своего народа.

Поэтому они организовали «бегство» капиталов за границу и расстраивали экономическую жизнь страны, лишь бы спровоцировать поражение Народного фронта.

Поэтому они не развивали и не совершенствовали военную промышленность. Поэтому они поддержали захват Италией Абиссинии в 1935 году, хотя в результате абиссинского похода Италия укрепила свои позиции на Средиземном море и в Африке в ущерб Франции. Поэтому они проводили политику «невмешательства» по отношению к республиканской Испании, заведомо идя на то, чтобы создать угрозу южной границе Франции. Поэтому они дали согласие на присоединение Австрии к Германии, а несколько позднее пошли на соглашение в Мюнхене, рассчитывая ценой предательства Чехословакии повернуть Германию на восток, против СССР, и развязать себе руки для борьбы с французским народом. Антисоветская внешняя политика французской буржуазии шла вразрез со стремлениями французского народа, вразрез с государственными интересами Франции; она привела к губительным результатам.

«...Французские руководящие круги... слишком легкомысленно отнеслись к вопросу о роли и удельном весе Советского Союза в делах Европы». Это обстоятельство, отмечал товарищ Молотов, сыграло не малую роль в поражении Франции в войне.

Правящие круги Франции сознательно вели страну к капитуляции перед гитлеровцами. Именно этим объясняется преступное отношение к защите французских границ: известно, что линия Мажино не была продлена на север.

Сердцевиной «оборонительной» военной доктрины, которую исповедывал французский генеральный штаб и высший командный состав французской армии, была капитулянтская политика. Это наглядно показано в статье Пертинакса и в книге Симона.

Вступление в войну со слабой авиацией и артиллерией, с малочисленным и недостаточным по своей мощности танковым парком явилось результатом той же капитулянтской политики французской буржуазии.

Поэтому же первые месяцы войны, «войны без событий», ни в малейшей степени не были использованы французским правительством и командованием армии для того, чтобы восполнить, зияющие провалы в военной подготовке страны. Правительству было не до этого. Оно занималось главным образом наступлением на рабочий класс Франции, карательными походами против коммунистов, а также

организацией помощи белофиннам и подготовкой нападения на Советский Союз как на севере, так и на Ближнем Востоке.

Кто же оставил страну разоруженной в столкновении с противником, кто проиграл войну с Германией задолго до того, как она началась? Кто толкнул Францию к величайшей в ее истории национальной катастрофе?

В книгах и статьях Моруа, Ромэна, Пертинакса, Симона мы находим большую галерею красочных портретов правителей Третьей республики накануне ее краха.

Перед читателем проходят представители радикал-социалистской партии — Даладьё, Боннэ, Шотан, Эррио, вождь социалистов — Леон Блюм, правые — Фланден, Рейно, Лаваль, генералы Вейган, Гамелен, Петэн и многие другие. Надо отдать справедливость писателям и журналистам, — вне зависимости от их желания им удалось дать выразительную и отталкивающую картину политической жизни буржуазной Франции накануне военного разгрома. Вот они — вершители политических судеб французского народа — ограниченные и мелкие политики, честолюбцы и фразеры, красноречивые парламентарии, ловко умеющие драпировать капитулянтскую политику пышными фразами о мире, свободе и праве. Многие из них прошли обычный для французского буржуазного политика «стаж» в рядах реформистов всех мастей и обучались там сложной «науке» политического обмана масс, оппортунизма, искусству демагогии.

Достойные выученики Мильерана, Бриана, Виньяни, ренегаты, безмерно ненавидящие революционный рабочий класс, политические кондотьеры, готовые продаться кому угодно, взяточники, участники разнообразных афер и панам, — таковы были люди, стоявшие во главе государственной машины. К ним в полной мере может быть отнесена характеристика, в которой Маркс заклеймил правительство Тьера, Фавра, Трошю, пришедшее к власти в сентябре 1870 г.

В самом деле, подобно своим предшественникам, правительства III республики тридцатых годов, также вынужденные выбирать между национальным долгом и классовыми интересами, не колебались ни минуты и превратились в правительства национальной измены.

Подобно Тьеру, правители III республики тридцатых годов были верны только своей «ненасытной жажде богатства и ненависти к людям, создающим это богатство». Подобно Тьеру, они являлись мастерами мелких государственных плутней, виртуозами в вероломстве и предательстве. Подобно Тьеру, наконец, они были напичканы классовыми предрассудками вместо идей, наделены тщеславием вместо сердца, так же грязны в частной жизни, как гнусны в жизни общественной.

Эти люди, как и непосредственные их руководители, хозяева

Французского банка, всей своей деятельностью полностью подтвердили ленинские слова:

«Когда... дело доходит до частной собственности капиталистов и помещиков, они забывают все свои фразы о любви к отечеству и независимости... Когда дело касается до классовых прибылей, буржуазия продает родину и вступает в торгашеские сделки против своего народа с какими угодно чужеземцами».

Так французские правители продали родину.

Уже до войны подлинными хозяевами Франции были не французы, а немецкие фашисты, гитлеровцы. Они имели во Франции своих министров во французском правительстве, своих генералов во французской армии, свои, «французские», газеты (в том числе самые крупные), своих издателей, редакторов и журналистов. Мудрено ли, что при веселых продажах верхов гитлеровская агентура хозяйничала во Франции как у себя дома. Секретнейшие решения правительства, политические и военные планы не только становились известными Германии, но зачастую и составлялись именно в ее интересах, а не в интересах Франции. Капитулянты систематически разоружали страну. Этим в значительной мере объясняется быстрота наступления германской армии в мае—июне 1940 г. Гитлеровские войска, как признали сами фашисты, в войне с Францией не имели перед собой серьезного противника. Сопротивление французской армии было заблаговременно подорвано и парализовано с помощью правителей Третьей республики. Так политика капитулянтов достигла своего логического завершения — военного разгрома Франции.

Правители Виши, маршал с его адмиралами и генералами, по праву заслужившие единственный «чин» — предателей и изменников своей родины, — пытались свалить вину за поражение Франции только на бывших — до-компенских — министров и военных. Однако никак нельзя скрыть того факта, что Петэн, Дарлан, Лаваль и их сподвижники из Виши оставили далеко позади прежних вершителей судеб Франции. Те предавали страну тихом, по частям; эти — открыто отдают ее на разорение фашистским варварам. Те торговались с Гитлером, эти — подбострастно лезут сапоги германского ефрейтора. Правители Виши используют французский народ как пушечное мясо для военной мясорубки германского фашизма: по приказу Гитлера, Петэн, Дарлан и Вейган послали французские войска сражаться с врагами фашистской Германии и с друзьями свободной Франции — с англичанами и французскими войсками генерала де Голля.

Наконец, в угоду своему хозяину Гитлеру правительство Виши разорвало дипломатические отношения с Советским Союзом.

Петэн, Дарлан и вся отвратительная клика Виши горит желанием участвовать в подлом захватническом походе немецко-фашистских

варваров против русского народа, который не раз спасал Францию от угрозы немецкого нашествия.

Но планы Гитлера и его французских наемников осуждены на провал.

Нет никакого сомнения в том, что свободолюбивый французский народ, воодушевленный героической борьбой Советского Союза с гитлеровцами, свергнет позорное иго фашистских захватчиков, рассчитается сполна со всеми виновниками национальной катастрофы и возродит страну на новой основе.

Внутренние силы, таящиеся во французском народе, неистребимы, а славные исторические традиции борьбы за свободу и независимость умножены на тяжелый, но поучительный опыт, полученный французами за последние годы и в особенности во время войны и фашистской оккупации.

В борьбе с наглыми гитлеровскими завоевателями и их лакеями из Виши французскому народу обеспечена горячая помощь и поддержка всего прогрессивного человечества.

# А н д р е      С и м о н

## «Я ОБВИНЯЮ!»

*Правда о тех, кто предал Францию*

### КАПИТУЛЯЦИЯ

Это произошло 16 июня 1940 года. Я не знал почти до самого вечера, что то было мое последнее воскресенье во Франции. Такие дни не забываются: все, кто пережил роковые часы в Бордо, навсегда сохранят их в памяти.

Я приехал в этот красивый старый портовый город накануне — журналист без газеты. 11 июня старый потрепанный «ситроен» вывез нас четверых из Парижа. Наша маленькая машина ползла со скоростью десяти миль в час в сплошном потоке автомобилей, автобусов, грузовиков, велосипедов и повозок. Мы уже не обращали внимания на бесконечные остановки. Мы не находили слов для ответа, когда встревоженные крестьяне спрашивали нас: «Что же будет?» Мы не знали, где были немцы и где была французская армия, да и существовала ли она еще. Как и сорок миллионов других французов, мы еще не осмыслили подлинного значения того, что произошло. Мы не знали, будет ли наша газета печататься где-нибудь в провинции. Мы знали лишь одно — что правительство Поля Рейно переехало в Тур, живописный средневековый город на берегу Луары. И мы направились туда же.

Мы добрались до Тура через шестнадцать часов. Улицы новой столицы были полны беженцев. В гостиницах невысказанно было получить комнату. В городе невозможно было достать еду. Мы ночевали в машине.

Когда я приехал в Тур, наступление «пятой колонны» в самом правительстве и вне его было в полном разгаре. Один из министров, которого я встретил у здания мэрии, сказал мне, что генерал Максим Вейган, новый главноко-

мандующий, решительно заявил о безнадежности сопротивления натиску германских войск. Его предложение заключить перемирие поддерживают два заместителя премьера — престарелый маршал Анри-Филипп Петэн и изворотливый Камиль Шотан. «Сегодня, — сказал мне министр, — судьба Франции висит на волоске».

Он рассказал мне следующее. Во время заседания кабинета министров генерал Вейган внезапно встал и вышел из комнаты. Через несколько минут он вернулся в страшном волнении, с криком: «Коммунисты завладели Парижем! В городе беспорядки! Морис Торез в Елисейском дворце!» Вейган потребовал, чтобы немцам было немедленно отправлено предложение о перемирии. «Мы не можем отдать страну коммунистам, это наш долг перед Францией!»

По словам моего собеседника, сообщение Вейгана произвело сильное впечатление. Но Жорж Мандель, министр внутренних дел, немедленно подошел к телефону и вызвал парижского префекта. Ему сообщили, что в Париже все спокойно, нет ни беспорядков, ни уличных боев. Мандель сорвался.

— Надолго ли? — с унынием спрашивал меня министр.

Да, надолго ли? Из отелей и кафе, битком набитых политическими деятелями, распространялись слухи. Я обошел все кафе на главной улице города. В течение одного только часа я услышал, что немцы будут в Туре сегодня вечером; что англичане за спиной французов просили у немцев перемирия; что Уинстон Черчилль покончил с собой; что его примеру последовал Поль Рейно; что Париж в огне; что с часу на час должно вспыхнуть коммунистическое восстание; что оно уже началось. И, наконец, последний, но далеко не маловажный слух, что Гитлер предложил Петэну — «как солдат солдату» — почетные условия мира.

В одном из кафе смуглый Пьер Лаваль, бывший премьер, беседовал с несколькими чиновниками министерства. Он утверждал, что давно предвидел все это. «Я всегда стоял за соглашение с Германией и Италией, — говорил он. — Эта безумная пробританская политика и авансы, которые мы делали Советской России, погубили Францию. Если бы послушались моего совета, Франция теперь была бы счастливой страной, наслаждающейся благами мира».

Его перебил пожилой человек в сером костюме. «Господин Лаваль?»—спросил он и, прежде чем Лаваль успел ответить, дал ему пощечину. Воспользовавшись переполохом, старик скрылся в толпе. Впоследствии я узнал, что его сын, летчик, погиб в бою.

Такова была атмосфера в Туре, когда прибыл Уинстон Черчилль в сопровождении лорда Галифакса и лорда Бивербрука. Они направились в здание мэрии, где их ожидали французские министры.

Это была драматическая встреча. В любой момент чаша весов могла склониться в пользу капитуляции Франции. Обе стороны знали, что, быть может, в последний раз разговаривают как союзники. Они знали, что кампания во Франции проиграна. Они уже не в силах были остановить ход событий на континенте, они обсуждали лишь вопрос о том, будет ли правительство Рейно продолжать вести войну на территории огромной французской империи с ее семидесятимиллионным населением; может ли быть эвакуирована часть французской армии; и жизненно важный для британцев вопрос — будет ли французский флот продолжать сражаться на стороне Англии.

В эти дни получить точную информацию было особенно трудно. Я слышал различные версии об этих исторических переговорах. Один рассказывал о бурной сцене между Вейганом и Черчиллем. Другой описывал маневры Шотана, имевшие целью склонить французских министров на перемирие с немцами. В конце концов французские и английские министры сошлись на том, что Рейно еще раз обратится за помощью к Соединенным Штатам.

Когда Рейно вышел после заседания кабинета, его обступили журналисты. «Будете ли вы продолжать войну?» — спросили они. «Разумеется», — поспешно, как-то слишком поспешно ответил премьер-министр. Я как сейчас слышу звук его голоса.

Затем произошло нечто странное: внезапно был опубликован текст призыва о помощи, с которым Рейно несколько дней назад обратился к Рузвельту. Рейно писал в этом обращении, что, если потребуется, Франция будет продолжать сражаться в Африке.

— Мы напечатали это обращение, — объяснил нам один из высших чиновников министерства информации, — чтобы усилить давление на Соединенные Штаты.

— А что, если ответ будет неблагоприятный? — спро-



сил один из моих коллег-журналистов. — Ведь это производит угнетающее действие.

Чиновник только пожал плечами.

Все это выглядело подозрительно. Нельзя было установить, кто ответственен за публикацию обращения — премьер Рейно или министр информации Жан Пруво, сторонник перемирия.

Распространялись все новые слухи. Наши английские коллеги говорили, что их посольство весьма мрачно смотрит на создавшееся положение. Рассказывали, что у Черчилля после совещания не осталось сомнения в том, что капитуляция Франции — вопрос ближайших дней.

Мучительная неуверенность и нервное напряжение длились весь следующий день. И вот мы снова в пути. Теперь мы двигались в Бордо, где уже однажды, в 1914 году, французское правительство искало убежища от германских войск. Но в 1914 году им не удалось дойти до Парижа. Сейчас они вступили во французскую столицу.

Когда в Тур пришло известие, что Париж пал, никто из нас не произнес ни слова. Мы сели в машину и двинулись в путь. Призрак побежденного Парижа следовал за нами. Париж, прекрасный, жизнерадостный город мирного времени, Париж, разрушаемый снарядами, печальная, траурная столица дней войны, поруганный символ воли народа, его стремления к свободе, — теперь он был в руках врага.

В Бордо слухов было еще больше. С каждым часом все возрастало влияние группы Петэна — Вейгана.

Мэр города Бордо, Адриен Марке, успевший за время своей политической карьеры превратиться из социалиста в фашиста, теперь провозглашал, что «новая Франция» должна сотрудничать с Германией, дабы покончить с коммунизмом, демократией и, конечно, с евреями. Его друг Пьер Лаваль, вокруг которого толпа политиков стала еще гуще, твердил, как попугай, одно и то же: «Муссолини свой человек, он не даст Германии слишком сурово обойтись с Францией».

Сторонники Петэна усердно трубили по всему городу, что престарелый маршал — единственный человек, который может добиться от немцев почетных условий мира. Он, «герой Вердена», на развалинах поверженной Франции по-

строит новую Францию — по образу и подобию католической Испании Франко.

Приспешники Петэна, Марке и Лаваль, сходились на том, что в поражении Франции виновны Народный фронт, Советская Россия и Англия.

Британский консул рекомендовал английским журналистам готовиться к отъезду.

Опубликовано было еще одно обращение Рейно к Соединенным Штатам. В нем проскальзывали чрезвычайно пессимистические нотки. Премьер просил «самолетов и самолетов» и тут же добавлял: «Существование Франции поставлено на карту. Наша борьба, с каждым днем все более мучительная, теряет всякий смысл, если, продолжая ее, мы не видим перед собой хотя бы проблеска надежды на общую победу».

Предвестие капитуляции? Два-три министра усиленно отрицали это. «Завтра, — заявил один из них, — будет решено, куда переедет правительство, чтобы продолжать вести войну».

Это завтра было то самое воскресенье, о котором я уже говорил. Мое последнее воскресенье во Франции...

Почти никто не спал в ту ночь. Все знали, что ближайшие 24 часа решают все.

Совет министров заседал три раза. Главной темой споров был ответ Рузвельта. На первом заседании сторонники сопротивления ссылались на одну фразу его ответа: «С каждой неделей все больше американского снаряжения будет направляться союзникам». После заседания стало известно, что тринадцать министров все еще стояли за продолжение войны, одиннадцать высказались против.

На дневном заседании совета министров обсуждалось английское предложение создать единое франко-британское правительство с объединенным франко-британским парламентом. К концу заседания большинство кабинета попрежнему высказывалось за продолжение войны. Голоса снова разделились: тринадцать — за и одиннадцать — против. Один из министров сказал мне, что решено перенести совет министров в Перпиньян — город на франко-испанской границе. Оттуда можно было легко перебраться воздушным путем в северо-африканские владения Франции.

Что произошло в течение следующих двух часов, до сих пор остается тайной. Известно лишь, что за это время

состоялось несколько бесед большого значения. Рейно заперся с генералом Вейганом и графиней Элен де Порт, своей подругой. Известно было, что она стоит за капитуляцию.

Министр авиации Лоран-Эйнак, голосовавший за продолжение войны, имел длительный разговор с маршалом Петэнном.

Камиль Шотан обрабатывал министра снабжения, Анри Кэйля. Оба они виделись с президентом Лебреном.

Третье заседание кабинета началось около 10 часов вечера. Длилось оно недолго. Заместитель премьера, Шотан, не теряя времени, потребовал немедленного обращения к немцам с предложением о перемирии. Если условия окажутся неприемлемыми, рассуждал Шотан, французский народ с тем большей энергией будет продолжать войну. Ему возражал Жорж Мандель: как только Франция заговорит о перемирии, ни одного французского солдата нельзя будет снова заставить сражаться.

Шарль Помарэ, министр труда, поддержал Шотана своим резким выступлением против Великобритании. Ему вторил Ибарнегарэ, весьма прозрачно намекавший на еврейское происхождение Манделя. Нет ничего удивительного, заявил он, что евреи — за войну, любой ценой.

Маршал Петэн и генерал Вейган снова извлекли на свет старое пугало — коммунистическую опасность. Президент Лебрен был на их стороне.

Рейно выступил за принятие английского предложения. Но некоторым министрам показалось, что он говорит без внутренней твердости. Тогда Шотан повторил свое предложение. И вот тут-то произошел перелом. Два министра, Лоран-Эйнак и Кэйль, до сих пор стоявшие за сопротивление, перешли на сторону Шотана. Соотношение сил изменилось. Министр-социалист, входивший в кабинет, тут же поспешно переметнулся на сторону петэновского большинства. Вопрос был поставлен на голосование. Четырнадцать голосов было подано за капитуляцию, десять — против.

Кабинет Рейно перестал существовать. Восьмидесяти-четырёхлетний старец Петэн сделался премьер-министром Франции.

Мы выслушали это решение в полном молчании. Через некоторое время кто-то заметил: «Видно, такова уж судьба старых маршалов — вручать свою родину Гитлеру. Гинденбург — в Германии, Петэн — во Франции...».

Если такова судьба престарелых маршалов, то Анри-Филипп Петэн, несомненно, много потрудился, чтобы ее удостоиться.

Он родился в той части Франции, которая дает людей несокрушимого упрямства и физического здоровья. Образование он получил в Сен-Сире, учебном заведении, готовившем высший состав французского офицерства. К началу войны 1914 года Петэн, пятидесятидевятилетний полковник, командовал пехотной бригадой. В картотеке личного состава армии на его карточке значилось: «Не продвигать выше бригадного генерала». Он не блистал никакими талантами, которые могли бы привлечь к нему внимание высшего командования.

Как и Гинденбурга в Германии до 1914 года, его считали ничем не выдающимся, обыкновенным обер-офицером. Но после окончания мировой войны предание на долгие годы связало его имя с защитой Вердена. Впрочем, авгуры так до сих пор и не установили, был ли Петэн подлинным «героем Вердена».

Суровый генерал с ясными голубыми глазами и характерными французскими усами оказался в 1917 году на посту главнокомандующего французской армией. Еще в «Эколь де герр»<sup>1</sup> он проповедывал идею непрерывного наступления, «проводимого без всяких колебаний».

И вот ему представилась возможность на практике и в гигантских масштабах осуществить свою теорию. Петэн несет ответственность за ряд неудачных атак, когда крупные соединения французской пехоты были брошены без необходимой артиллерийской поддержки прямо на пулеметы кайзера.

Эти атаки, дорого стоившие армии, а также общая несостоятельность высшего военного командования довели французскую армию до отчаяния. Вспыхнули бунты. Петэн их подавил. По его приказу, в восставших полках был расстрелян каждый десятый. С тех пор — по крайней мере для многих французов — его имя стало символом скорее этих трагических событий, чем обороны Вердена.

По окончании войны Петэн вышел в отставку.

Он опять появился на сцене в 1925 году, когда ему поручили подавить восстание риффов в Марокко. В эту

---

<sup>1</sup> Высшее военное учебное заведение, соответствующее Академии генерального штаба.

кампанию одним из офицеров его штаба был полковник де ла Рок.

Маршал и полковник снова встретились через несколько лет, на этот раз в Париже. Теперь де ла Рок был уже вожаком «Боевых крестов», организации бывших фронтовиков, превратившейся в фашистскую лигу. Имя маршала Петэна, по своему воспитанию и убеждениям принадлежавшего к лагерю реакции, было пущено в ход для поднятия престижа «Боевых крестов».

Петэн стал их героем. После февральского путча 1934 года, когда он занял пост военного министра в кабинете Думерга, он помог закрепить дружбу между «Боевыми крестами» и высшим военным командованием.

Именно тогда он сблизился с людьми, которым в 1940 году предстояло играть руководящую роль в правительстве, сформированном Петэном после поражения Франции. То были Пьер Лаваль, Адриен Марке, Франсуа Пьетри и Анри Лемери.

Кратковременное пребывание на посту военного министра, очевидно, пробудило в Петэне интерес к политике. С тех пор он постоянно — в самой гуще повседневной политической жизни Франции.

Петэн — пламенный католик. Мышление его ограничено рамками воинского устава. С юношеских лет в Сен-Сире он был сторонником монархии.

Страх перед коммунизмом заставил его вступить на путь, по которому шли уже многие высокопоставленные политические деятели Франции. Петэн, этот человек, проповедывавший непрерывное наступление, на восьмом десятке жизни сделался одним из самых ярких сторонников сближения с Германией, решительным противником франко-британского союза и, разумеется, ожесточенным врагом СССР.

Когда в Испании объявился генерал Франко, маршал Петэн стал одним из влиятельнейших его ходатаев перед французским правительством. Франко был прилежным учеником Петэна в «Эколь милитер». Они вместе участвовали в войне с риффами. Теперь им довелось совместно действовать против Франции.

Петэн был первым французским послом в Испании Франко. Однажды, когда он раздавал хлеб голодным на улицах Бургоса, толпа фалангистов приветствова-

ла его криками: «Долой Францию! Да здравствует Петэн!»

В Испании он встречался с германским послом Эбергардом фон Шторером. Они стали большими друзьями. В политических кругах Франции многие были ошеломлены, когда в конце сентября 1939 года, то есть через месяц после вступления Франции в войну с Германией, Петэн, встретившись с Шторером у входа в историческую часовню испанского монастыря Реаль де Лас Хуэльгас, горячо пожал ему руку.

Эта встреча с германским послом была не единственной. В продолжение всей войны Петэн поддерживал с ним контакт. Престарелый маршал не менее трех раз передавал из Испании в Париж предложения Германии о сепаратном мире, причем Петэн присоединял к ним самые благожелательные комментарии, написанные его собственной рукой.

Таков был человек, которому Поль Рейно в мае 1940 года, после прорыва немцами французского фронта у Седана, предоставил пост вице-премьера. Вместе с Петэном в кабинет Рейно вошли и другие министры, «боявшиеся поражения Германии больше, чем ее победы». Троянский конь очутился внутри самого правительства.

Как только Петэн стал премьер-министром, он дважды вызвал из Бордо по телефону Мадрид. Один раз он говорил с испанским министром иностранных дел, полковником Хуаном Байгбедером, другой раз — с германским послом фон Шторером. Таким образом, в первые же 24 часа после прихода Петэна к власти в Германии стало известно, что битва за Францию прекращена.

В первые же сутки петэновского правления был арестован Жорж Мандель. В одном из кафе Бордо, где он сидел с знакомым генералом и дамой, к нему подошел офицер со словами: «На меня возложена прискорбная обязанность арестовать вас». Через несколько часов Мандель был освобожден. Когда Петэн, вызвавший его к себе, стал извиняться перед ним, Мандель отказался пожать протянутую руку маршала...

Петэн послал своих эмиссаров к германскому командованию за условиями перемирия.

22 июня Третья республика была официально похоро-

нена в старом вагоне в Компьенском лесу. Перемирие с национал-социалистами было подписано.

Для Франции началась эра «отечества, труда и семьи» — гитлеро-петэновская эра.

Я покинул Бордо через два дня после прихода Петэна к власти. Пароход медленно рассекал волны. В голове у меня, как и у многих других, сверлил вопрос: что же стало с Францией и как это могло произойти?

Я непоколебимо верю в народ Франции. Все, что было совершенно до войны, во время войны и после нее, было совершенно без его ведома. Французский народ держали в ослеплении его правители, имевшие все основания бояться света. Французский народ предали люди, для которых предательство — вторая натура. Он был принесен в жертву интересам кучки людей, заботившихся лишь о том, как бы сохранить свои привилегии и свою власть. Но я верю, что настанет час расплаты.

Французский народ можно ввести в заблуждение, обмануть, предать, но его нельзя поработить. Это не удастся ни его собственным, ни чужестранным правителям.

Для того чтобы понять, что же действительно произошло во Франции, надо вернуться назад, к тому дню, когда Гитлер пришел к власти в Германии. Итак, мой рассказ начинается с 30 января 1933 года.

### ПАРЛАМЕНТСКАЯ КАРУСЕЛЬ

В тот роковой день, 30 января 1933 года, когда Адольф Гитлер стал канцлером Германской империи, Франция не имела правительства: за двое суток до того подал в отставку 91-й министерский кабинет Третьей французской республики, возглавляемый Жозефом Поль-Бонкуром. Пытаясь преодолеть бюджетные затруднения, премьер внес в палату депутатов проект снижения окладов государственных служащих на пять-шесть процентов. После бурных дебатов, длившихся почти всю ночь, кабинет Поль-Бонкура постигла судьба многих его предшественников — он был «гильотинирован на рассвете».

Известие о приходе Гитлера к власти Париж богачей принял с внешним спокойствием.

В этот холодный зимний день парижане занимались



своими обычными делами. В «час аперитива» кафе на фешенебельных бульварах были полны; гул разговоров, споры. Главной темой, заслонявшей все остальные, были «дела». Времена были тяжелые, и становились все тяжелее. Ни Германия, ни министерский кризис во Франции не занимали большого места в разговорах.

Парижская биржа почти не реагировала на приход национал-социалистов к власти в Германии. С настороженной сдержанностью она ждала известий о формировании нового французского кабинета. Дневные выпуски газет пытались умалить значение стремительного взлета Гитлера к власти. Они замалчивали или по-своему истолковывали тот факт, что национал-социалистский фюрер проповедывал в «*Mein Kampf*» изоляцию и уничтожение Франции, называя ее «наследственным, смертельным врагом» Германии. Французские газеты спешили объяснить, что в германском совете министров Гитлер и его двое коллег по национал-социалистской партии в действительности были пленниками большинства, состоявшего из «хороших», консервативных министров.

«Весьма вероятно, что новый канцлер, получив власть, скоро выдохнется, и тогда исчезнет его репутация человека, творящего чудеса», — успокаивал полуофициальный «Тан», рупор финансовой олигархии и тяжелой промышленности Франции.

В кулуарах палаты депутатов царило оживление. Депутаты не теряли времени на разговоры о Германии. Их гораздо больше занимали домашние дела: парламентские интриги и происки в погоне за теплым местечком.

Премьер, назначенный французским президентом, по освященному временем обычаю, объезжал влиятельных политических деятелей, которые, в свою очередь, весьма красноречиво заверяли его, что будут с удовольствием служить под его началом. В кулуарах палаты толпа благожелателей, просителей и просто любопытных окружала депутатов и сенаторов, имена которых назывались при обсуждении состава нового правительства. Каждый усердно продвигал своего протеже на место начальника канцелярии или секретаря при министре. Влиятельные политические деятели наперебой расхваливали достоинства своих кандидатов — сыновей, племянников, приятелей. Ожесточенная борьба шла даже вокруг незначительных должностей.

Вспоминаю, что я видел в тот день премьера одного из

прежних кабинетов, Андре Тардые, — он стоял в углу, окруженный горсточкой друзей, и сардонически улыбался. Он был лидером оппозиции, и поэтому ни у него, ни у его политических оруженосцев не было шансов занять какой-либо государственный пост. А посему они уже обсуждали тактику борьбы против будущего кабинета.

Один из журналистов принес известие, что Гитлер возглавил германское правительство.

— Что вы скажете об этом? — спросил он Тардые.

— Я ожидал этого, — категорическим тоном заявил тот. — Несколько недель тому назад я прочел предсказание Леона Блюма, что судьба Гитлера и национал-социалистов предрешена, что их дни сочтены. Всякий раз, как Блюм что-нибудь предсказывает, непременно жди обратного. Это верный способ никогда не ошибиться.

Так расценивал Тардые событие, явившееся поворотным пунктом в истории Европы.

В другом углу радикал-социалист Анри Кэйль, в прошлом и будущем — министр земледелия, следующим образом выразил свое мудрое суждение о событиях: «Гитлер у власти? Не все ли равно? Он ведь не заставит немцев пить больше вина».

Для Кэйля, как и для многих его коллег из сельскохозяйственных округов, вся Франция заключалась в пшенице и вине. Потребление вина для них было мерилom политического и социального благополучия Европы.

На следующий день был сформирован новый совет министров с Эдуардом Даладье в качестве премьера. Вокруг Елисейского дворца, куда президент пригласил членов нового кабинета, шныряли расторопные репортеры и фотографы. На известие об образовании кабинета Даладье биржа реагировала повышением. Она выражала свое удовлетворение, что ни один социалист не вошел в список министров.

Особенно довольна она была выбором нового министра финансов, Жоржа Боннэ.

В вечерних газетах появились портреты нового премьера. С фотографии смотрело широкое обрюзгшее лицо с нахмуренными бровями. Газеты с некоторой грустью намекали на известное сходство французского премьера с Бенито Муссолини.

Эдуард Даладье вступил на международную арену на день позже, чем Адольф Гитлер.

На протяжении пяти из семи лет, предшествовавших началу нынешней войны, Даладье играл видную роль в политике Франции либо как глава кабинета, либо как военный министр, либо совмещая в своем лице оба эти поста.

На его долю выпало стоять у кормила французского правительства, когда Чехословакия была умерщвлена, Испания задущена, а Польша сокрушена. Он был военным министром Франции, когда были проглочены Бельгия, Голландия и Норвегия. И он был военным министром Франции в мае 1940 года, когда произошел роковой прорыв у Седана.

Избранный в парламент в 1919 году, он в 1924 году получил свой первый пост во французском кабинете министров, на который его выдвинул его бывший школьный учитель, Эдуард Эррио. Впоследствии Даладье занимал в правительстве различные посты. Последний по времени был пост военного министра.

«Как вы ладите с вашим военным министром?» — спросил радикал-социалистский депутат генерала Максима Вейгана. «Мы никогда не ссоримся», — с многозначительной улыбкой ответил Вейган.

В политических и журналистских кругах Даладье сумел создать себе репутацию человека молчаливого, с сильной волей. Никто не знал, происходила ли молчаливость министра от недостатка или, наоборот, от избытка мыслей, и это позволяло толковать ее в его пользу.

Сам Даладье преподавал в школе историю и географию. Его бывший ученик, Андре Стибио, один из талантливейших французских парламентских корреспондентов, говорил, что Даладье «преподавал географию, не имея представления о ней».

Даладье, сын владельца хлебопекарни, происходил из сельскохозяйственного района Южной Франции. Его принято было считать «человеком из народа»; говорили, что он хорошо чувствует настроение французского крестьянства. В парламентских дебатах и на заседаниях кабинета он отстаивал свою точку зрения настойчиво, с упорством. Это и породило легенду, что Даладье — человек сильной воли. Дальнейшие события показали, что это свое качество, если оно у него было, он растратил в парламентских поединках и министерских турнирах. Перед лицом событий величайшего исторического значения его хваленая сила воли рассеялась, как дым.

В свой первый кабинет Даладье включил двух людей, чьи имена отныне неразрывно связаны с падением Франции; то были министр финансов Жорж Боннэ и министр внутренних дел Камиль Шотан. Оба они и раньше занимали министерские посты, но именно Даладье дал Боннэ его первый крупный пост во французском правительстве.

Жорж Боннэ впервые выступил на арену в 1919 году как человек, руководивший демобилизацией французской армии. Это дало молодому честолюбивому политическому деятелю возможность соприкоснуться с влиятельными финансистами и промышленниками. При их поддержке Боннэ был избран в парламент и тотчас же сосредоточил свое внимание на проблемах финансов и торговли. Женитьба на племяннице прежнего лидера радикал-социалистской партии, Камилля Пеллетана, помогла ему создать себе прочное положение в этой влиятельной партии. В ходу была шутка, что честолюбие Одетт Боннэ столь же исключительных размеров, как и нос ее мужа. Недружелюбная ремарка эта, впрочем, довольно точно характеризует необъятные аппетиты мадам Боннэ. Супруги сыграли зловещую роль в падении Франции.

Камиль Шотан, в отличие от Даладье, не претендовал на репутацию человека сильной воли. Он не проявлял своего честолюбия столь открыто, как Боннэ. На примере своего отца, который тоже был министром, Шотан уразумел, что французская политика в значительной степени зиждется на компромиссах. И Шотан проявил себя исключительно ловким парламентарием, умеющим искусно маневрировать и в критические моменты сглаживать все разногласия. Речи его всегда были рассчитаны на то, чтобы смягчить разгневанных и успокоить недовольных.

В 1933 году, когда ему был вручен портфель министра внутренних дел в кабинете Даладье, он пользовался популярностью в палате депутатов. Однако некоторые его коллеги утверждали, что Шотан никогда никому не смотрит в глаза — он словно вечно что-то скрывает. Язвительный Жорж Мандель как-то заметил: «У этого Шотана типичная физиономия предателя».

Даладье, Боннэ и Шотан — все трое — были членами той радикал-социалистской партии, которая в продолжение многих десятков лет играла крупную роль в судьбах французского парламентаризма.

Радикал-социалисты считали себя прямыми наследниками

энергичных якобинцев времен Великой французской революции 1789 года. На самом же деле слово «радикал-социалист» звучало гораздо более грозно, чем на то давала основание сама партия радикал-социалистов и ее программа. В ней не было ничего ни радикального, ни социалистического. Это была партия мелкой буржуазии, партия умеренного либерализма, к тому же слинявшего, замутненного или выродившегося в нечто прямо противоположное своему первоначальному содержанию.

Стратегическое значение радикал-социалистской партии в парламенте заключалось в том, что без ее поддержки нельзя было сформировать сколько-нибудь работоспособного кабинета. Эта роль радикал-социалистов в палате депутатов давала им возможность свергать кабинеты и издавать новые.

Правительство Даладье было третьей парламентской комбинацией радикал-социалистской партии после выборов 1932 года, принесших крупную победу левому картелю, куда входили радикал-социалистская и социалистическая партии. Однако уже теперь видна была трещина в этой коалиции, кое-как просуществовавшей около года. Парламентские стратеги предсказывали, что скоро наступит момент, когда радикалы порвут со своим союзником и резко повернут вправо.

Сформировав кабинет и оставив за собой портфель военного министра, радикал-социалист Даладье прежде всего вызвал к себе крайнего консерватора, генерала Максима Вейгана. Премьер несколько часов пробыл с ним наедине. Никаких сообщений о содержании этой беседы не было сделано. Но несколько дней спустя редактор газеты, в которой я работал, был принят Даладье и имел с ним продолжительный разговор. Редактор высказал Даладье свои опасения в связи с возможным изменением обстановки в Европе после прихода национал-социалистов к власти. Желая его успокоить, Даладье вкратце сообщил ему содержание своей беседы с генералом Вейганом, главной темой которой был приход Гитлера к власти и возможные последствия этого для Франции. Расставшись с премьером, наш редактор тотчас же записал в основных чертах все, что ему рассказал Даладье. Ниже приведена самая суть этой записи.

Вейган, по словам Даладье, был глубоко убежден, что если даже Германия напряжет все свои силы и использует все свои потенциальные возможности для ускорения вооружений, ей понадобится по меньшей мере десять лет, чтобы создать армию, способную выдержать сравнение с армией кайзера. Вейган был высокого мнения о подготовке и руководстве рейхсвера. Однако он считал, что недостаток квалифицированных офицеров и обученных военных резервов еще очень долгое время не даст немцам возможности достигнуть боевой мощи войск Вильгельма, а тем более превзойти ее. Кроме того, Вейган полагал, что опасность не может принять угрожающих размеров еще и потому, что на франко-германской границе уже идет строительство мощной линии укреплений. Эти оборонительные сооружения, по плану, предполагается закончить к 1934 году, и тогда границы Франции действительно станут неприступными. Впоследствии эти укрепления стали известны под названием «линии Мажино».

Оценивая силы союзников, с которыми Франция была связана системой договоров, генерал Вейган сказал, что польская армия, с ее устарелым техническим снаряжением и некомпетентным командованием, может служить лишь помехой военным действиям. Бельгийскую армию, обязанную, в силу Локарнского договора, в случае агрессии притти на помощь Франции, Вейган также ставил невысоко из-за распрей между валлонцами и фламандцами. Он очень хвалил чешскую армию. На английскую армию, по его словам, нельзя было особенно рассчитывать, но британскому флоту предстояло сыграть решающую роль.

Что же касается политических последствий прихода национал-социалистов к власти, то здесь, по мнению Вейгана, имелись свои преимущества. Франция, полагал он, несомненно должна приветствовать движение, направленное против германских коммунистов, которые стали угрожающей силой. Распространение коммунизма в Германии уже вызвало соответствующий рост его во Франции, где, согласно сведениям военной разведки, влияние коммунистов медленно, но неуклонно усиливается. Подавление коммунизма в Германии будет способствовать ослаблению коммунистического движения и во Франции. Кроме того, крестовый поход национал-социалистов против коммунизма, несомненно, скажется на русско-германских отношениях, а это может быть Франции только на пользу.

Короче говоря, Вейган был того мнения, что на континенте нет никакой угрозы господству Франции. Французская политика может строиться, исходя из предположения, что мир в Европе не будет нарушен по крайней мере в течение ближайшего десятилетия.

Так как Франция как раз вступила в период «тощих лет», — потери людьми в прошлую войну и, как следствие этого, сильное падение рождаемости начинали сказываться на уменьшении размера ежегодных призывов в армию, — Вейган считал целесообразным удлинить срок военной службы до полутора лет. Он также указал Даладье на некоторую слабость воздушных военных сил и предложил план их увеличения. Однако, учитывая неустойчивое положение бюджета и трудности, стоящие перед правительством, Вейган согласился с военным министром, что удлинение срока службы до полутора лет пока можно отложить. Мнение Вейгана имело в глазах Даладье большой вес. Энергичный маленький генерал с крепко сжатыми тонкими губами был символической фигурой. Вместе с покойным маршалом Фошем и престарелым маршалом Петэном он для многих французских деятелей был воплощением военной победы над Германией в прошлую войну.

Разговор с Вейганом, по всей вероятности, доставил Даладье минуты радостного волнения и гордости. Он, Даладье, сын пекаря, сражавшийся в мировую войну в чине капитана, обсуждает теперь на равной ноге с прославленным воином, знаменитым генералом, изъяны в военной системе Франции! По словам Вейгана, они и раньше ладили с Даладье. И в дальнейшем у него никогда не было оснований для недовольства. В лице Даладье французские генералы нашли весьма подходящего, уступчивого военного министра. Именно генеральный штаб усердно распространял легенду о больших способностях Даладье как организатора и руководителя.

Карьера Вейгана была не совсем обычной. Начало войны 1914 года застало его в чине лейтенант-полковника в одном из полков легкой кавалерии. По рекомендации генерала Жоффра, он был назначен начальником штаба армии генерала Фоша, тогда еще только формировавшейся. Вейган стоял рядом с Фошем в знаменитом железнодорожном вагоне в Компьенском лесу в 1918 году, когда главнокомандующий французской армией, принимая гер-



манских делегатов, приехавших просить перемирия, язвительно спросил их: «Что же собственно вам угодно, господа?» В 1920 году, когда польская армия Пилсудского едва не была уничтожена Красной Армией, Фош послал Вейгана в Польшу; через несколько лет его отправили в Сирию, где он с невероятной жестокостью подавил разраставшееся восстание. Передавали, что Фош перед смертью сказал: «Если Франция будет в опасности, позовите Вейгана».

В 1931 году Вейган сделался преемником маршала Петэна на важнейшем посту заместителя председателя Верховного совета обороны Франции. В том же году он был избран членом Французской академии. В это время французская армия в Европе насчитывала около 370 тысяч человек. Ее офицеры, получившие образование в привилегированных военных учебных заведениях вроде военной школы в Сен-Сире, воспитывались в сугубо реакционном духе. Многие генералы были, подобно Фошу, Петэну и Вейгану, монархистами. Они смотрели на республику как на неизбежное зло и терпели ее со смешанным чувством снисходительности и презрения. Но они никогда не считали республику тем государственным строем, за который им стоило бы сражаться. Предшественник Вейгана, маршал Петэн, был тесно связан с реакционными правыми партиями, а впоследствии с французскими фашистскими группами. Вейган был клерикал до мозга костей. «Он неразлучен с попами», — как-то сказал о нем Клемансо. Вейган оказывал свое влиятельное покровительство «Патриотической молодежи», полуфашистской юношеской организации. Больше того, как будет видно из дальнейшего, он был одним из вдохновителей «кагуляров», замышлявших посредством террора и вооруженной силы сбросить демократическое правительство.

Руководители французской армии твердо усвоили одно: чтобы выслужиться при республике, надо скрывать свои антидемократические убеждения, во всяком случае высказывать их возможно осторожнее. Вейган постиг это в совершенстве. Когда молодой министр авиации в кабинете Даладье, Пьер Кот, решил предупредить премьера об антидемократических, реакционных тенденциях Вейгана, Даладье ответил ему: «Да вы послушали бы, что он говорит! Я ручаюсь за него головой!»

Каково же было внешнее и внутреннее положение Франции к тому моменту, когда Даладье стал премьер-министром Франции, а Гитлер — рейхсканцлером Германии?

Некий авторитетный экономист писал, что в то время Франция была величайшей военной, политической и финансовой силой в Европе. Система внешних договоров обеспечивала Франции, в случае нападения, помощь Великобритании, Бельгии, Польши и Чехословакии. Хотя у нее и не было военного союза с Югославией и Румынией, но не могло быть сомнений, к кому тяготели симпатии этих стран. Италия, экономически ослабленная кризисом, не в состоянии была идти против Франции. Во главе недавно провозглашенной Испанской республики стояли люди, горячо сочувствовавшие во время первой мировой войны англо-французскому союзу. Наконец улучшились отношения с Советским Союзом. В ноябре 1932 года Эррио подписал с СССР пакт о ненападении.

Не столь радужной была картина в области экономики. Мировой экономический кризис 1929 года с яростью обрушился на крупнейшие промышленные страны — США, Великобританию и Германию. Кривая кризиса во Франции значительно отличалась от его развития в вышеупомянутых странах. По ряду причин кризис во Франции дал себя почувствовать лишь позже и достиг наибольшей силы между 1933 и 1935 годами.

Франция довольно благополучно выдержала первые удары шторма. Это был спуск на тормозах. Подобно болезни, которая медленно захватывает организм, но зато затягивается надолго, кризис, когда он уже действительно наступил во Франции, оказал длительное и парализующее действие на политическую жизнь страны. Уже в 1933 году, из-за тумана обманчивых лозунгов и иллюзий, которыми одно время почти удалось усыпить французский народ, встала реальная угроза надвигающегося кризиса. Страна испытывала новые, все возрастающие трудности. Грозная тень пала на Францию, предвещая приближающиеся бедствия. Кабинет Даладье получил в наследство от своих предшественников разбухший бюджет с несбалансированными статьями прихода и расхода. Дефицит определялся в сумме от 12 до 14 миллиардов франков. Между тем поступление налогов было значительно ниже нормального. Экспорт и импорт упали более чем на одну

треть. Туризм всегда был одной из наиболее прибыльных статей французского дохода, но за последние годы число туристов, приезжавших во Францию, снизилось с четырех миллионов до одного миллиона. Безработица подрывала социальную структуру страны. Количество безработных увеличилось в четыре раза. Два с половиной миллиона работоспособных людей не имели работы, из них всего 275 тысяч получали жалкое пособие.

Государство должно было содержать почти миллионную армию чиновников. Сменявшиеся один за другим кабинеты пытались переложить бремя кризиса на массы и урезать оклады государственным служащим. Это был все тот же старый, избитый припев: сбалансировать бюджет, завинтить потуже налоговый пресс. Десятки тысяч служащих государственного аппарата, бессильных отстоять свои права, начали вступать в различные организации и присоединяться к проявлениям протеста.

Чем дальше, тем все громче раздавались проклятия восьмимиллионной массы крестьян, усердных, неугомонных тружеников. Цены на пшеницу и вино—вот к чему все сводилось! Это были два талисмана французского крестьянина. Когда он получал за них хорошую цену, как то было до 1931 года, он был доволен. Но как только на мировом, а следовательно и на внутреннем, рынке цены на пшеницу и вино падали, французский крестьянин выходил из себя. Он винил в своих бедах дураков, жуликов и путаников, сидевших в Париже. С 1929 года цены на пшеницу упали на одну треть и резко снизились цены на вино. Дальнейшие перспективы были еще более мрачными.

Кризис сильно ударил и по средним слоям населения. Раздираемые стремлением выбиться в богатые люди и страхом быть отброшенными в ряды пролетариата, представители так называемых средних классов цеплялись за эфемерную надежду: может быть, в конце концов, их небольшие фабрички, скромные магазины, маленькие фермы дадут им не только средства на жизнь, но и обеспеченную старость. Помимо 400 тысяч рантье (лиц, пользующихся постоянным годовым доходом), около 6 миллионов людей были держателями французских государственных займов и облигаций. С возрастающей тревогой следили они за колебаниями курса своих бумаг, а бумаги все падали и падали... в среднем на двенадцать процентов в год. Прошли те дни, когда министр финансов в кабинете Клемансо

мог бойко утверждать: «Боши за все заплатят!» Этот самый министр, по имени Клотц, впоследствии был привлечен к суду за выдачу непокрытых чеков. Но жульничеством были не только его векселя, — обманом были и его крикливые обещания, что Германия заплатит по всем счетам. Обманом были и обещания всех кабинетов одного за другим, что катастрофическое падение мировых цен не отразится на Франции, что Франция должна остаться неким островом процветания, оазисом веселой, легкой жизни. Средним слоям населения достаточно было следить за шкалой биржевого бюллетеня. Их имущество, собственность, рента, фермы, лавки, фабрики были в опасности.

Из 11 миллионов французских рабочих в 1933 году около 6 миллионов были заняты в промышленности. Во Франции существовали два крупных рабочих центра: Париж и его окрестности, с их металлургическими, военными и автомобильными заводами, и Северная Франция, с каменноугольной и текстильной промышленностью. Правда, во Франции везде можно найти довольно значительное рабочее население. Все же передовым, ведущим отрядом французских рабочих является парижский пролетариат. Сигнал к бою всегда давали предместья Парижа, опоясывающее столицу «красное кольцо».

Вот почему именно в Париже нарастание кризиса заставило учащенно забиться пульс рабочего движения. Когда Даладье вошел в правительство, пролетариат уже проявлял беспокойство. Количество стачек все возрастало. Происходил медленный отлив из социалистической партии и прилив в коммунистическую партию. Около полутора миллионов рабочих всех специальностей были организованы в профсоюзы.

Социалисты, чей союз с радикал-социалистами в предвыборную кампанию принес на выборах 1932 года значительную победу левым партиям, испытывали теперь все более сильное давление со стороны своих избирателей. Между тем, часть руководства социалистической партии — правое крыло его — готовилась к слиянию с радикал-социалистами. Эта группа носила название «неосоциалистов». Впоследствии их «неосоциализм» незаметно перешел в фашизм. Лидером их был элегантный мэр города Бордо, Адриен Марке, дантист-политикан, известный, главным образом, тем, что он хорошо одевался.

Перед Даладье, Боннэ и Шотаном — радикал-социалистским триумvirатом, оказавшимся у власти, — стояло множество трудно разрешимых проблем: бюджетный дефицит, усиливающаяся экономическая депрессия с ее неизбежными последствиями, дальнейшее развитие политики разоружений и, наконец, самая сложная проблема: взаимоотношения с национал-социалистской Германией.

Относительно намерений Гитлера у правительства не могло быть никаких сомнений. Гитлер точно воспроизвел все свои планы в книге «Mein Kampf». Изолировать Францию, чтобы затем ее уничтожить, — таковы были эти планы, не составлявшие уже тайны.

Знать намерения своего потенциального противника — идеал каждого генерального штаба. Именно в таком идеальном положении и находилось французское правительство. Располагая совершенно недвусмысленно сформулированной программой действий Германии в отношении Франции, оно имело полную возможность заблаговременно принять необходимые меры. Но французское правительство не принимало всерьез книгу «Mein Kampf» — это стало для меня очевидным после разговора с одним из членов кабинета Даладье. Я коснулся политики и программы, изложенных в ней. «Неужели вы действительно думаете, что можно делать политику по книге?» — шутиливо спросил меня министр, очевидно находя эту мысль забавной. Когда же я ответил, что действительно так думаю, он рассмеялся. «Вы — литератор; вы верите в то, что написано. А я практический политик, и, смею вас уверить, нет ни малейшего шанса, что Гитлер будет в чем-либо следовать своей книге. Действительность его научит».

Вместо того чтобы образовать коалицию мира, с целью остановить Гитлера, Даладье стал строить свои отношения с Германией в духе той политики, которая впоследствии получила название «политики умиротворения». Окончательную свою форму она получила в бесчисленных политических боях.

В первой речи, которую Гитлер в качестве канцлера произнес по радио 2 февраля 1933 года, он искусно затронул чувствительную струнку в сердцах демократических стран.

«Мы были бы счастливы, если бы весь остальной мир путем сокращений вооружений избавил нас от необходимости постоянно увеличивать наши вооружения».

Для Даладье риторическая фраза Гитлера прозвучала как приглашение. Она оказалась для него как нельзя более кстати, чтобы преодолеть внутренние затруднения, грозившие в любой момент опрокинуть его неустойчивый кабинет. Если бы ему удалось достичь какого-либо соглашения с Германией, это неимоверно укрепило бы его положение, особенно среди правых партий.

Во Франции правые партии по традиции считали патриотизм своей монополией. Теперь, впервые после 1918 года, правая печать стала воздерживаться от нападок на Германию. Правые никак не могли решить, как им быть дальше. Их привлекала одна сторона программы национал-социалистов — беспощадная борьба с коммунизмом. Правда, вначале их пугала другая сторона этой программы: тенденция к пангерманской экспансии, империалистские замыслы, провозглашение борьбы против «диктата» Версальского мира. Однако колебания их длились недолго, и это означало если не победу, то, по крайней мере, первый успех германской пропаганды во Франции.

Известный немецкий военный теоретик Клаузевиц писал о походе Наполеона в Россию: «Великая европейская цивилизованная страна может быть побеждена только при отсутствии единства внутри нее».

Сомнения и разногласия, противопоставление и разграничение частного и национального — вот что раскалывает единство.

Позиция французских правых особенно четко выявилась в связи с пожаром в рейхстаге в феврале 1933 года. Ряд французских реакционных газет с явным удовлетворением перепечатал официальные германские сообщения об обстоятельствах поджога рейхстага. Именно этот момент Даладье выбрал, чтобы послать в Берлин своего первого эмиссара. То был граф Фернан де Бринон. Он принадлежал к самому высшему кругу французского общества, был ловким журналистом, а также неофициальным доверенным лицом крупного банка. Ему случалось уже выполнять секретные миссии по поручению бывшего премьера, Пьера Лавала. Графа рекомендовал Даладье его министр финансов, Жорж Боннэ, который был тесно связан с тем самым банком, в чьих интересах осторожно, окольными путями действовал де Бринон.

Даладье только что виделся с Макдональдом, остановившимся в Париже по пути в Рим. В погоне за призра-

ком разоружения британский премьер-министр надеялся соблазнить Италию новой формулой — пактом четырех крупнейших держав: Великобритании, Германии, Франции и Италии. После этой-то беседы с Макдональдом Даладье отправил графа де Бринона в Берлин.

Когда слухи о проектируемом «пакте четырех» стали просачиваться наружу, с решительным протестом выступил бывший премьер Эдуард Эррио. Он был только что переизбран председателем радикал-социалистской партии, и в случае его противодействия у Даладье почти не было шансов осуществить свой проект. Поэтому Даладье поспешил услать своего бывшего школьного учителя в Америку, поручив ему выведать намерения президента Рузвельта и смягчить недовольство, вызванное в Соединенных Штатах отказом Франции сделать хотя бы символические взносы в счет уплаты военных долгов. Даладье рассчитывал таким образом сразу убить двух зайцев: он избавился от Эррио на период, когда будет закладываться фундамент «пакта четырех», и, кроме того, наградил его миссией, которая в лучшем случае могла дать самые незначительные результаты. Вопреки советам своих ближайших друзей Эррио попался в эту ловушку. Разумеется, он вернулся из США ни с чем и после этого долгое время служил излюбленной мишенью для французских карикатуристов и фельетонистов.

В первом варианте «пакта четырех» даже не упоминался ковенант Лиги наций. Пакт предусматривал «эффективную политику сотрудничества между Францией, Англией, Германией и Италией с целью сохранить мир». Пакт также предвидел возможный пересмотр Версальского договора.

Все это означало резкий отход Франции от ее традиционной политики, проводимой ею через Лигу наций, которая одна в праве была пересмотреть Версальский договор. «Пакт четырех» игнорировал Советский Союз. Наконец он грозил нарушить весьма неустойчивое равновесие малых европейских государств, которые все еще видели в Лиге наций гарантию своей национальной независимости. Если четыре великих державы Европы, пренебрегая Лигой наций и отвергая ее, могли образовать «континентальный директорат», малые страны действительно должны были опасаться самого худшего. Впоследствии Мюнхен показал, что эти страхи были вполне обоснованны.



Предварительные переговоры относительно заключения «пакта четырех» потребовали больше времени, чем предполагалось вначале, и Эррио вернулся из США как раз во-время, чтобы повести яростную атаку против пакта. В результате бурного разговора, продолжавшегося несколько часов, Эррио заставил Даладье отступить. Если Франция будет участвовать в пакте четырех держав, направленном к пересмотру границ в Европе, утверждал Эррио, за этим неизбежно последует война. Эррио сделал также публичное заявление, в котором подчеркнул ту же мысль. В результате было приступлено к составлению нового проекта пакта. Законники и юристы плели сложную сеть казуистических фраз и гибких формулировок. Пересмотр мирного договора и формула разоружения теперь были поставлены в зависимость от ковенанта Лиги наций.

Пакт, о котором Эррио сказал, что он «либо бесполезен и бессмыслен, либо опасен», был мертворожденным с самого момента его подписания 7 июня 1933 года в Риме. Но этот неудавшийся прототип мюнхенского сговора открывал новые пути для политики «умиротворения». Хотя пакт в конце концов и был обезврежен, все же его первоначальный проект оставил весьма неприятный привкус. Впервые после Версаля французское правительство дало принципиальное согласие на пересмотр договора вне рамок Лиги наций. Подобный ущерб нельзя было легко исправить.

Наиболее резко реагировала на заключение «пакта четырех» Польша. В марте 1933 года диктатор Польши, маршал Иосиф Пилсудский, информировал правительство Даладье о секретных планах вооружения Германии. Германия уже давно вышла из стадии наметок и планов; она бешено вооружалась, скрывая это за густой завесой тайны.

Маршал Пилсудский предложил Франции «превентивную войну» против Германии. Даладье долго тянул с ответом, затем отклонил предложение Польши. В апреле 1933 года оно было повторено и на этот раз подкреплено меморандумом польского посла в Париже с данными о лихорадочных вооружениях, проводимых в Германии.

На этот меморандум даже не последовало ответа. Но через несколько дней обнаружилось, что «пакт четырех» постепенно начинает принимать реальные очертания. Польский посол заявил протест французскому министер-

ству иностранных дел. Его заверили, что пакт ни в какой степени не отразится на франко-польском союзе. Однако этого было недостаточно, чтобы «умиротворить» Варшаву, и тогда Пилсудский, как рассказывал мне один французский министр, созвал своих советников и поручил им зондировать возможность германо-польского соглашения. Переговоры о «пакте четырех» затягивались. Предупрежденный польским генералом Сикорским, что предприняты шаги к заключению польско-германского союза, Эмиль Бюре, редактор парижской газеты «Ордр», органа партии националистов, забил тревогу: «Польша нам изменяет!»

Завершилось все это взрывом дипломатической бомбы — германо-польским договором о ненападении, обязывавшим обе страны на протяжении ближайших десяти лет «ни при каких обстоятельствах не прибегать к силе при разрешении спорных вопросов между ними». Таков был результат «четырепактного» флирта Даладье в его начальной стадии. Первая брешь в системе дипломатических союзов Франции была пробита. Началась перебежка в лагерь национал-социалистов.

В октябре 1933 года делегаты конференции по разоружению, собравшейся в Женеве, были извещены краткой телеграммой германского министра иностранных дел фон Нейрата, что Германия вынуждена уйти с конференции по разоружению, а также из Лиги наций. Склонный к театральным жестам, Поль-Бонкур, министр иностранных дел в кабинете Даладье, потребовал, чтобы Германии был послан энергичный ответ. Конференция выделила подкомиссию для составления проекта ответа. Представленный комиссией проект ответа от заседания к заседанию все больше смягчался в формулировках. Когда же он, в конце концов, увидел свет, то явился ясным свидетельством того, что Германии нечего опасаться. Впервые была подвергнута серьезному испытанию коллективная воля демократий Запада к сопротивлению. Она оказалась дряблой, распыленной.

Другим последствием фиаско, которое Франция потерпела на конференции по разоружению, была тревога, охватившая малые европейские государства. Предвидя политику дальнейших уступок Германии со стороны Франции, некоторые из них стали серьезно задумываться о том, чтобы самим войти в соглашение с Германией.

---

Пока конференция по разоружению медленно агонизировала, внутренняя ситуация Франции все ухудшалась. Свирепствовала депрессия, казна была пуста. Уже в первые месяцы 1933 года министр финансов Жорж Боннэ исхлопотал в Лондоне краткосрочный заем в 150 миллионов долларов. Теперь он снова был занят безуспешными поисками денежных средств. Наступление правого крыла палаты депутатов на правительство шло с нарастающей силой. Оппозиция уже предвкушала момент, когда радикал-социалистский кабинет «падет направо», то есть будет свергнут при таких обстоятельствах, которые позволят радикал-социалистам вступить в министерскую коалицию с правыми партиями.

Фашистские и полуфашистские союзы и группы проявляли лихорадочную активность. Наиболее значительный из этих союзов, «Боевые кресты», возглавляемый полковником Казимиром де ла Роком, рос, как растут грибы после дождя. «Боевые кресты», первоначально аполитичный союз бывших фронтовиков, теперь был организован на фашистский лад. Члены его проходили военное обучение, устраивали пробные мобилизации и секретные маневры, в которых впоследствии участвовали даже самолеты. Связи де ла Рока с армией делали «Боевые кресты» особенно опасными, — уже давно поговаривали, что оружие и снаряжение они получают из военных arsenалов.

Около середины октября в редакциях газет и в кулуарах палаты депутатов пронесся слух, что в ближайшие дни должен разразиться какой-то новый финансовый скандал. Я пытался разузнать подробности этого таинственного дела, но безрезультатно.

После бурного заседания палаты, во время которого резкая перебранка сменялась ораторским красноречием, кабинет Даладье пал на рассвете 24 октября 1933 года. Еще одно правительство споткнулось на попытке урезать оклады государственных служащих.

В ту ночь парижская полиция находилась в боевой готовности. Говорили, что государственные служащие и шоферы такси готовятся к массовой демонстрации перед парламентом. Префектом парижской полиции был в это время корсиканец Жан Кьяпп, которого Клемансо как-то назвал «самым ловким шпином Франции». Левые его ненавидели.

Стоя у главного входа в Пале-Бурбон, где помещается

палата депутатов, Кьяпп самолично руководил действиями полиции.

— Что ты здесь делаешь, Жан? — спросил его проходивший мимо депутат-социалист.

— Охраняю жизнь Даладье, — с подчеркнутой многозначительностью ответил Кьяпп.

В течение следующих трех месяцев еще три кабинета были сформированы и так же быстро свергнуты. Все те же лица, те же радикал-социалистские заправилы, все та же тесная компания каждый раз возвращалась к власти, с той разницей, что в каждом новом кабинете эти люди занимали несколько иные посты.

Преемником Даладье был Альбер Сарро, один из главарей радикал-социалистской партии — уроженец Юго-западной Франции, эпикуреец и стареющий Казанова. Он уже давно принимал активное участие во французской политике, и жизнь его была богата приключениями. В молодости его чуть не убили на дуэли, в пылу страстей, разгоревшихся в связи с делом Дрейфуса. Впоследствии он отправился в Индо-Китай в качестве губернатора этой французской колонии. Там на него было совершено несколько неудачных покушений. В дальнейшем, крепко окопавшись в руководстве радикал-социалистской партии, он стал партийным заправилой. И теперь, на закате его жизни, все большую роль в ней играли женщины.

Даладье сохранил пост военного министра в кабинете Сарро и продолжал делать авансы Германии.

Однако планы Даладье о сближении с фюрером едва не были пресечены в самом начале. Депутат партии националистов, Жорж Мандель, бывший во время мировой войны правой рукой Клемансо, в речи, произнесенной им перед своими избирателями, разоблачил тайный рост вооружений национал-социалистской Германии. Примеру Манделя последовала самая распространенная во Франции утренняя газета «Пти паризьен», напечатавшая ряд статей с данными об объеме вооружений в Германии. (Впоследствии эта газета присоединилась к лагерю «умиротворителей».) Даладье в спешном порядке отправил в Берлин графа де Бринона. И вот в ноябре 1933 года граф вернулся во Францию с посланием от рейхсканцлера Гитлера, дышащим «лаской и теплом». По просьбе Даладье, газета «Матэн», влиятельный орган французского стально-

го треста, напечатала это послание. Эффект был потрясающий.

Граф де Бринон предпослал своему интервью с Гитлером следующие слова: «Я подозреваю, что честолюбивое желание герра Гитлера — быть тем человеком, который от лица Германии достигнет соглашения с Францией. Если в его книге «Mein Kampf» и выражена ненависть к Франции, следует помнить, что книга эта была написана в то время, когда герр Гитлер страдал в тюрьме. С тех пор он сильно изменился». Вот что Гитлер поведал графу: «Я убежден, что как только будет разрешен вопрос о Саарской области, являющейся германской территорией, не останется абсолютно ничего, что могло бы помешать сближению Франции и Германии... Я много раз повторял, что судьба Эльзас-Лотарингии окончательно определена и что мы не претендуем на нее... Те, кто говорит, будто я хочу войны, оскорбляют меня. Я не такой человек. Война! Она ничего не разрешит. Она может только ухудшить положение вещей. Война означала бы уничтожение наших рас — лучшего цвета человечества, и привела бы к торжеству коммунизма».

Де Бринон рассказал Гитлеру о беспокойстве, вызванном во Франции быстрым ростом вооружений Германии. Тогда фюрер дал свое честное слово, что он делал не раз как до, так и после этого. Он торжественно заявил: «Я один определяю политику Германии, и когда я даю свое слово, я имею обыкновение держать его».

Эта беседа Гитлера с де Бриноном в ноябре 1933 года обозначила важный поворот. Даладье сделался поручителем Гитлера в искренности его слов. В такой же роли выступила и газета «Матэн», чьи связи с мощными промышленными и банковскими трестами, а также с правыми группами парламента были общеизвестны. Отныне каждый раз, когда возникало сомнение в искренности Гитлера, те, кто сочувствовал ему во Франции, могли возразить: «Вы разве не читали интервью в «Матэн»? Разве вы не знаете, что за него поручился сам Даладье?» Отныне обманчивая мирная пропаганда Гитлера находилась под защитой военного министра, то есть руководителей армии и стоящих за ними реакционеров. Опубликование в печати этого интервью было первым выступлением «пятой колонны» на политической сцене Франции.

За ним последовали другие выступления. Жак Шасте-

нэ, один из редакторов влиятельной французской газеты «Тан», отправился в Берлин для встречи с Гитлером. Он тоже вернулся «миротворцем». Внутренняя подрывная деятельность, направленная к уничтожению Франции, значительно усилилась.

Левые не сумели понять всего значения этих маневров. Окончательно запутавшиеся в парламентских комбинациях, в мелких интригах и сделках с черного хода, радикал-социалисты и социалисты не реагировали с достаточной силой на это первое официальное установление контакта между французской реакцией и Гитлером.

Кабинет Сарро пал через три недели. Новая перетасовка привела на пост премьера Камиля Шотана. Даладьё снова сохранил за собой пост военного министра. И вот тут-то публично разыгрался скандал, который, по слухам, назревал уже давно. Наружу выплыла афера Ставиского, кровавыми буквами вписанная в историю Франции.

Александр Ставиский, «красавец Александр», в течение многих лет был хорошо известен как в полусвете и среди подонков Парижа, так и в фешенебельных парижских кругах. Однажды он уже был под следствием за подделку векселей на сумму около 350 тысяч долларов; теперь он подделал обязательства городского ломбарда в Байонне, маленьком городе на юго-западе Франции, на сумму в 12 или 13 миллионов долларов. Выслеженный полицией, он, как утверждало официальное полицейское сообщение, покончил с собой в Шамониксе (Швейцария). Но, по мнению многих парижских газет, особенно правой прессы, его пристрелили, так как он слишком много знал.

Надо сказать, что главным в афере Ставиского были не его финансовые комбинации. Такие истории случались и прежде, и в более крупных масштабах. Но в этом скандале оказались замешанными некоторые министры, в том числе Жорж Боннэ, ряд депутатов, видные судебные чиновники, редакторы нескольких газет и сам префект парижской полиции Кьяпп.

Дело Ставиского бросило тень на политических деятелей как правого толка, так и левого, радикал-социалистского крыла. Но французские реакционные круги решили использовать этот скандал, чтобы расчистить дорогу для создания послушного им правительства, за которым последовало бы установление фашистского строя во Франции.

Началась атака против левых, беспримерная по своей ярости. Застрельщиками кампании были: «Аксион франсез», газета монархистско-фашистского направления, «Жур» — орган крайне правого крыла, и брызжащий злобой «Гренгуар» — еженедельник, издаваемый зятем Кьяппа. Во время дела Ставиского тираж этих изданий возрос в несколько раз.

В начале 1934 года, по случаю открытия сессии палаты депутатов, в Париже произошли первые, организованные фашистами, уличные беспорядки. Наиболее разнузданно вели себя, так называемые «королевские молодчики», связанные с «Аксион франсез», организацией Шарля Мораса и Леона Додэ. К ним вскоре присоединились другие фашистские лиги. Демонстрации продолжались, нарастая, до 26 и 27 января. К толпам демонстрантов, заливавшим главные бульвары Парижа и улицы, прилегающие к палате депутатов, стали присоединяться члены различных организаций бывших фронтовиков. С каждым днем становилось все очевиднее, что эти демонстрации — результат объединенных действий фашистских лиг и что ими руководит общий штаб. Зараза распространялась. По всей Франции были расклеены плакаты: «Гоните вон депутатов!» «К чертям депутатов!» Волнения достигли апогея.

Как впоследствии обнаружил Жорж Мандель, скандальная информация, которой фашисты воспользовались как поводом для выступления против парламента, была получена ими от Жана Кьяппа, префекта полиции. Кьяпп открыто симпатизировал правым. Используя свое положение хозяина парижской полиции, он собрал множество компрометирующих сведений о ряде известных политических деятелей парламентской левой. Он безо всякого стеснения устраивал за ними слежку; его агентура подслушивала их частные телефонные разговоры. В его архивах был похоронен не один финансовый скандал Третьей республики. Это составляло его силу.

Интимные отношения Сарро с женщинами сомнительной нравственности, финансовые фокусы и спекуляции Боннэ, личные секреты Шотана — все это было среди сокровищ, собранных в секретных досье Кьяппа. Он передал газетам только часть своей коллекции. Другую часть он держал про запас. И, по мнению некоторых депутатов, которым можно доверять, еще одна часть была отправлена в Берлин, в архивы национал-социалистов. Один быв-

ший министр по секрету сказал мне, что готовность Боннэ и Шотана притти к соглашению с Гитлером отчасти объяснялась тем, что германский канцлер слишком много знал о них. Национал-социалистские агенты постоянно держали их под угрозой опубликования компрометирующих сведений; эта угроза, словно дамоклов меч, висела над их головой.

Для французских правых дело Ставиского было счастливой находкой. Момент был как нельзя более подходящий. Страна устала от бестолковой смены кабинетов, от перетасовки все той же колоды засаленных карт, от монотонного повторения одного и того же предложения — урезать оклады государственных служащих, — устала от вечных обещаний, которые ни к чему не вели. Рабочие, крестьяне и мелкая буржуазия были доведены до отчаяния экономическим кризисом. Правые считали момент вполне подходящим для того, чтобы уничтожить парламентскую систему Франции и перекроить государственный строй по фашистскому образцу.

И тут, перед решающим сражением, Камиль Шотан дезертировал со своего поста. Несмотря на то, что он получил вотум доверия значительным большинством голосов палаты, он все же подал в отставку. Это создало опасный прецедент. Впервые в истории Третьей республики законно сформированный кабинет, поддерживаемый палатой депутатов, подал в отставку под нажимом фашистских и околофашистских групп, хозяйничавших на улицах Парижа.

Еще одна перетасовка все той же колоды карт — и снова вынырнул Даладье. К концу января 1934 года он сформировал свой второй кабинет. Еще до назначения новых министров по аристократическим салонам Парижа ходил список — в нем значились имена пяти человек, «директората», которому предстояло «руководить судьбами Франции». В списке стояли имена маршала Петэна, бывшего президента республики Гастона Думерга, Пьера Лаваля, Андре Тардые и Адриена Марке.

Новый кабинет не просуществовал и десяти дней. Он пал под ударами первого открытого выступления «пятой колонны» в Париже. 6 февраля 1934 года на площади Согласия и вокруг здания парламента вновь собрались фашистские толпы, чтобы «прогнать депутатов к чертям».

Все они выстроились тут — лиги и группы, которым



уже давно не терпелось разнести демократические учреждения Франции. «Боевые кресты», «Патриотическая молодежь» и «Королевские молодчики» вопили: «Хотим Пэтэна!»

Я провел несколько часов среди демонстрантов. Через год после того, как пришел к власти непримиримый враг Франции, французский фашизм уже выступал с его антидемократическими лозунгами.

Демонстрация превратилась в бунт. Мятежники набросились на полицию. Вначале полицейские пытались успокоить толпу, затем был отдан приказ стрелять. Когда дым выстрелов рассеялся, двадцать демонстрантов и один полицейский остались лежать на асфальте мостовой... Свыше двух тысяч человек получили ранения, — на добрую половину это были полицейские и жандармы. Париж пережил кошмарную ночь уличных баррикад, беспорядочной стрельбы и поножовщины. Фашисты жгли автобусы, они пытались устроить пожар в министерстве торгового мореплавания, пытались взять штурмом Елисейский дворец, резиденцию президента Французской республики.

В то время как шел этот первый бой, данный «пятой колонной» во Франции, Даладье получил парламентский вотум доверия большинством 343 голосов против 237.

После голосования в палате депутатов я направился в военное министерство, где в то время находилась личная канцелярия Даладье. Я нагнал его у входа здания. Он казался растерянным.

— Что вы намереваетесь делать? — спросил я его.

— Мятеж будет подавлен, — ответил Даладье. — Правительство не потерпит нарушения порядка. Оно располагает всеми средствами, чтобы заставить уважать закон!

С этими словами, отрывисто брошенными мне через плечо, Даладье исчез в здании военного министерства.

Но в ночь с 6 на 7 февраля состоялась еще одна важная беседа Даладье с Вейганом. Вейган явился к Даладье, который не помнил себя от страха. «Говорят, что вы намереваетесь вызвать армию, — сказал Вейган премьеру. — Я не могу вам ручаться, что армия выступит. Но я ручаюсь, что если вы избавите армию от такой дилеммы, она никогда не забудет этого».

Президент республики Альбер Лебрэн поддержал Вейгана. Он угрожал своей отставкой, если армия будет использована против мятежников.

Ранним утром 7 февраля перепуганный Даладье ушел со своего поста. Он передал свою отставку президенту, даже не согласовав ее предварительно со своими коллегами. Он освободил место для правительства, которое, как рассчитывали, должно было установить фашизм. За спиной этого правительства маячили тени пятнадцати регентов Франции.

## РЕГЕНТЫ ФРАНЦИИ

В течение почти семидесяти лет существования Третьей французской республики правительства приходили и уходили — их было свыше сотни, — но в действительности все это время страной управляли пятнадцать регентов Французского банка. Они были истинными хозяевами страны.

Конституция Третьей республики была введена в жизнь ничтожным большинством одного голоса — в парламенте, где распоряжались монархисты. Эту конституцию, ни разу с того времени существенно не менявшуюся, ее авторы-монархисты смастерили так, чтобы она наилучшим образом оберегала привилегии маленькой кучки, стоявшей у власти. Всеобщее и прямое голосование, правом которого пользовались одни мужчины, проводилось лишь при выборах в нижнюю палату, палату депутатов. Сенат же был создан для того, чтобы держать ее в узде. Верхняя палата избиралась косвенным голосованием; голосовали депутаты от муниципалитетов и департаментов, а на этих избирателей частные интересы всегда могли оказывать существенное давление. И такое давление практиковалось как правило, а не как исключение.

Президенту республики не было дано почти никакой власти. Он был скорее официальной фигурой, чем правителем, облеченным исполнительной властью. Однако он имел одну важную прерогативу: право назначать премьера. И часто президент Третьей республики предусмотрительно назначал консервативного премьера, чтобы держать в руках палату с левым большинством.

Но наверху, над всей этой системой, «отцы» конституции оставили нетронутым Французский банк. Это учреждение оставалось вершиной государственной пирамиды,

точно такой, какой создал ее Наполеон Бонапарт: автономной, недоступной, с неограниченной властью.

Еще в то время, когда Французский банк был только что создан, — более ста лет тому назад, — один очень распространенный листок окрестил его «Новой Бастилией». Действительность показала, что Французский банк — неприступная крепость, воздвигнутая для защиты интересов самых богатых людей Франции.

«Верховный банк», как его называли, распоряжался жизнью и смертью каждой крупной промышленной компании, каждого кредитного общества или коммерческого банка Франции. Он назначал по своему усмотрению учетную ставку и проценты на ссуды, выдаваемые под залог ценных бумаг или золота. Учитывая векселя, он дарил жизнь торговой фирме; отказывая в их учете, он выносил ей смертный приговор. Он определял судьбу правительства, находящегося у власти: отпуская необходимые кредиты, он санкционировал дальнейшее существование кабинета, отказывая в кредитах — предрешал его падение.

В 1933 году капитал Французского банка находился в руках около 31 тысячи акционеров. Но из них только 200 пользовались правом голоса на общих собраниях правления банка. Это и были знаменитые «200 семейств» Франции. В их руках находился контроль над рычагами, управляющими финансами и промышленностью всей страны.

Деятельностью банка управлял совет, состоявший из двадцати одного члена: директор, два вице-директора, пятнадцать регентов и три финансовых контролера. Право назначения директора и вице-директоров банка принадлежало французскому правительству. Однако лишь человек, который имел не менее ста акций, мог быть назначен директором банка — в 1933 году это составляло, примерно, два миллиона франков. Чтобы быть вице-директором, надо было иметь пятьдесят акций. Как правило, сами регенты банка снабжали своих кандидатов на эти посты необходимым количеством акций. Таким же правилом было, что директор и вице-директор после их ухода из банка получали прибыльные места в частной промышленности.

Пятнадцать регентов были владельцами крупнейших банков и торговых и промышленных предприятий. Выборы регентов банка были пустой формальностью, ибо в большинстве случаев их места в правлении передавались по

наследству. Семейство Ротшильдов было представлено в правлении банка в течение семидесяти с лишним лет; семейства Малле и Оттанге — в течение ста с лишним лет.

Совет банка был такой же замкнутой группой, как какой-нибудь аристократический жокей-клуб. Горсточка людей, связанных между собой тесными родственными отношениями, коммерческими интересами, общественным положением и чувством своего превосходства, смыкалась в несокрушимую фалангу против каждого новопришельца. Посещая те же гостиные и те же ультрафешенебельные клубы, они могли ссориться и конкурировать друг с другом; но когда их общим интересам грозила серьезная опасность, они, забыв прежние разногласия, тесно сплывались, чтобы сохранить неприкосновенным социальный порядок, служивший основой их могущества.

Регенты Французского банка контролировали денежный фонд страны, следовательно, они держали в своих руках почти все нити ее промышленной жизни. Они поддерживали самые тесные связи с руководящими деятелями военной касты, многие из которых происходили по боковой линии от этих же семейств. Они были связаны со многими высшими представителями церкви. Их сыновья, племянники и зятья занимали виднейшие посты в министерстве иностранных дел, министерстве финансов и в других высших государственных учреждениях. Они поставляли дипломатов, представлявших Францию в иностранных государствах. Они щедро финансировали свои собственные политические партии и группировки. При помощи прессы они управляли общественным мнением, обрабатывали и формировали его.

Таким образом, держа в повиновении министров, контролируя деятельность правого крыла политических партий и распоряжаясь наиболее влиятельными газетами, «Верховный банк» фактически контролировал политику Франции.

Французский банк имеет свою историю. В 1848 году банк боролся с либеральными демократами и поддерживал генерала Кавеньяка, прославившегося беспримерной жестокостью, с которой он расправился с восставшим французским народом. Позднее он оказал поддержку Наполеону III. После франко-прусской войны 1870 года Французский банк был на стороне маршала Мак-Магона

и монархистов — против народа. Во время дела Дрейфуса банк, наперекор Ротшильдам, субсидировал противников Дрейфуса. В первые десять лет после войны 1914—1918 годов он упорно боролся с двумя радикал-социалистскими правительствами, возглавляемыми Эдуардом Эррио, и добился их падения. Как утверждал Эррио, банк был «золотой стеной», пробить которую не было бы в состоянии ни одно правительство. Однажды во время мировой войны Клемансо жаловался, что он не обладает полнотой власти. Один из депутатов спросил его: «Но кто же, в конце концов, имеет большую власть, чем вы?» «Тигр» Клемансо рывкнул: «Регенты Французского банка!»

Во время мировой войны Муссолини добивался того, чтобы Италия вступила в войну на стороне союзников. Его усилия щедро оплачивались французским правительством того времени. После прихода Муссолини к власти он становится фаворитом банка. Газеты, связанные с банком, перевозносили его, несмотря на его многочисленные резкие нападки на Францию в послевоенный период. И даже тот факт, что территориальные требования фашистской Италии касались французских колоний и владений, не мог поколебать регентов банка в этой их неразделенной любви. Впрочем, это не в первый раз Французский банк приносил интересы страны в жертву своим собственным интересам. Во время франко-прусской войны банк ставил на Тьера, «чудовищного карлика», подписавшего соглашение с прусским канцлером Бисмарком.

В 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, регенты высказывали удовлетворение. Они были готовы забыть, что он объявил Францию «национальным врагом Германии номер первый» и что в книге «Mein Kampf» он во главу своей программы поставил изоляцию и уничтожение Франции. С первых дней власти Гитлера «200 семейств» стали устремлять завистливые взоры на тот берег Рейна. Они приняли Гитлера точно так же, как приняли его германские крупные промышленные круги: как крестоносца и спасителя Европы от большевизма. В первые месяцы правления Гитлера они испытывали некоторые сомнения относительно прочности и устойчивости его власти и его дальнейших успехов. Но примерно с 1934 года «200 семейств» окончательно приняли решение последовать примеру Гитлера и притти к политическому соглашению с ним. К этому времени они уже считали Францию созрев-

шей для перестройки её государственной системы по образцу фашистской Италии и национал-социалистской Германии.

Отчет финансовой комиссии, сделанный перед палатой депутатов в 1936 году, поднимает завесу над деятельностью Французского банка. В отчете банк обвиняется в следующем:

1. Банк находится в руках олигархии, которая управляет Францией через головы избранных страной представителей.

2. Банк с большей охотой и щедростью предоставляет льготные кредиты членам этой олигархии или связанным с ним предприятиям, чем другим фирмам.

3. Он предоставляет неограниченные кредиты крупным предприятиям и отказывает в них более мелким фирмам.

4. Он ставит в безвыходное положение множество небольших или второстепенных, но полезных предприятий, например большое число частных сельскохозяйственных банков.

Статистические данные показали, что пятнадцать регентов Французского банка состояли председателями или членами правления в двухстах пятидесяти компаниях. В это число входили: тридцать один частный банк, две железнодорожных и семь металлургических компаний, восемь горнопромышленных, двенадцать химических и восемь страховых компаний. Подобно спруту, они протянули свои щупальцы не только ко всем основным отраслям французской промышленности, но и за пределы Франции.

Эжен Шнейдер, железный король, глава крупнейшего французского треста вооружений Шнейдер Крезе, один из регентов Французского банка, был также руководителем Объединенного европейского банка, который контролировал крупнейшие военные заводы Шкода в Чехословакии. В 1939 году Шнейдер продал свои акции германским фирмам. Сделка была заключена парижским банком «Братья Лазар», который был тесно связан с банком «Лазар-Шнейер-Элисон» во Франкфурте, в свою очередь связанным через компанию «Металл-Гезельшафт» с мощным германским химическим концерном «Фарбениндустри».

«Фарбениндустри» сотрудничал в Испании, Южной Америке и Китае с французским химическим трестом Кульмана, представленным в правлении Французского

банка Рене Дюшменом. Небезынтересно отметить, что семьдесят пять процентов капиталовложений в один из крупнейших заводов взрывчатых веществ «Фарбенин-дустри» принадлежали французскому капиталу.

Один из регентов Французского банка, Франсуа де Вандель, сенатор, — глава величайшей металлургической компании во Франции. В то же время он глава знаменитого Комитэ де Форж — всемогущего объединения французской тяжелой промышленности. Рудники, сталелитейные заводы и доменные печи компании де Вандель расположены на франко-германской границе: часть из них находится во Франции, часть в Саарской области, принадлежащей Германии. В 1914 году, когда разразилась мировая война, один из близких родственников сенатора де Ванделя, герр фон Вендель, был членом германского рейхстага.

Президент Альбер Лебрэн всегда встречал самое доброджелательное отношение со стороны Комитэ де Форж. Лебрэн, горный инженер, директор угольной компании в Лотарингии, состоял в правлении «Асиери де Мишевиль», фирмы, входившей в состав Комитэ де Форж. Франсуа Понсе, французский посол в Берлине с 1931 по 1939 год, был тесно связан с этой мощной организацией. Перед тем как он занял свой дипломатический пост в Берлине, он издавал ежедневный бюллетень Комитэ де Форж в Париже. По старой традиции, французский посол в Берлине был «своим человеком» у французских стальных магнатов.

Война 1914—1918 годов не нарушила контакта между германской и французской тяжелой индустрией. В начале мировой войны железные рудники в бассейне Брие попали в руки немцев и были использованы с полной мощностью для производства вооружений. Французы бомбардировали эти копи только один раз. В 1916 году французского военного министра генерала Лиоте спросили, почему такой важный для Германии источник сырья не был уничтожен. Он ответил, что лично давал об этом неоднократные приказы, но его приказы не выполнялись. После войны в парижской газете «Информасьон» было опубликовано письмо от 16 февраля 1919 года, раскрывающее причины невыполнения этих распоряжений: по этому вопросу было заключено тайное соглашение, подписанное с французской стороны де Ванделем и Шнейдером, а с

германской — магнатом Тиссенем и саарским стальным королем Рехлингом.

В 1933 году один из делегатов съезда радикал-социалистской партии, Сеннак, заявил, что он располагает данными, доказывающими, что фирма Шнейдер-Крезе снабжает Германию большим количеством танков новейшей системы, принятых во французской армии; чтобы не вызвать подозрения, танки направляются в Германию через Голландию. В марте 1940 года на одном из закрытых заседаний французской палаты выяснилось, что, начиная с сентября 1939 года, из Франции было отправлено в Германию колоссальное количество железной руды в обмен на германский уголь. Транзит этих товаров шел через Бельгию.

Таковы люди, которые, в качестве регентов Французского банка, в действительности управляли Францией. Они достаточно ясно показали как в мирное время, так и во время войны, что национальные интересы имеют для них значение лишь тогда, когда с ними совпадают их личные интересы. Они были финансовой опорой самых оголтелых фашистских групп и лиг. Сенатор Франсуа де Вандель, один из регентов Французского банка и глава величайшей во Франции горнопромышленной компании, имел членскую книжку «Боевых крестов» за № 13. Глава крупнейшего электроконцерна Эрнест Мерсье, тесно связанный с германским концерном А. Э. Г., имел членскую книжку № 17 этой же организации. В 1934 году сообщалось, что его пожертвования в пользу этой крупнейшей фашистской лиги и ряда других, ей подобных, достигли суммы в десять миллионов франков. Субсидии от таких богачей давали возможность полковнику де ла Року добывать винтовки, амуницию, пулеметы и аэропланы для своих военизированных фашистских отрядов. На эти деньги в феврале 1934 года было организовано кровавое столкновение на площади Согласия в Париже.

Когда февральский мятеж привел к желанной цели и Даладье подал в отставку, его преемником сделался человек, слывший любимцем «200 семейств». Это был Гастон Думерг.

---



## ПАПАША ДУМЕРГ

*Спаситель, не оправдавший надежд*

Назначение в 1934 году семидесятидвухлетнего Гастона Думерга премьером было встречено «Боевыми крестами» с ликованием. Полковник де ла Рок телеграфировал во все концы победную реляцию своим отрядам: «Первая цель достигнута!» Выступив перед руководителями своей организации, де ла Рок выразил уверенность, что фашистский строй будет установлен во Франции самое позднее к концу 1934 года.

Правительство Думерга было первым из серии «национальных» правительств, сменявших друг друга в течение двух с лишним лет. Это были комбинации, создаваемые все той же коалицией радикал-социалистов и партий правого крыла с преобладанием последних. Эти годы были отмечены попытками отменить демократическую конституцию Третьей республики, облечь президента республики полудиктаторской властью и урезать право парламента контролировать государственные финансы. Вместе с тем это были годы создания Народного фронта — союза между трудящимися и мелкой буржуазией.

За неделю до кровавого столкновения на площади Согласия Думерг заявил в своей речи по радио: «Парламент несет ответственность за создавшееся положение. Он ничего не предпринял, чтобы выполнить свой долг. Пересмотр нашей конституции кажется мне неотложной необходимостью». Так была заранее намечена Думергом программа его будущего кабинета.

В течение всей своей политической карьеры Гастон Думерг был типичной «темной лошадкой». Каждый раз как начинались серьезные столкновения между правыми и левыми или когда бывало необходимо добиться политических целей, поставленных правыми партиями, при помощи так называемого «надпартийного правительства», неизменно в кандидаты выдвигался Думерг. Ничто не отличало его от типичного среднего французского политика, за исключением его лучезарной доброжелательной улыбки. В течение сорока лет улыбка Думерга, подобно радуге, застывшей на небесах, озаряла французскую политику.

Впервые Думерг был избран премьером в 1913 году. Он был бессменным членом кабинета в течение всей мировой войны. Особенно широкую известность Думерг при-

обрел, когда в 1917 году, вернувшись из официальной поездки в Россию, заявил, что никогда еще царь не чувствовал себя так прочно, как сейчас... Месяц спустя царь и царское правительство были свергнуты Февральской революцией.

В 1924 году Думерг был избран президентом республики. Вскоре после его избрания Эдуард Эррио жаловался: «Мы выгоняем реакцию через парадный подъезд, а она, в лице Гастона Думерга, вползает к нам через черный ход».

За неделю до истечения срока его президентских полномочий Думерг женился на пожилой даме, своей многолетней подруге. Когда его спросили, почему он выбрал именно дни своей отставки, чтобы расстаться с холостяцкой жизнью, он признался одному близкому другу: «Я хотел доставить ей удовольствие побыть супругой президента республики хотя бы в течение недели».

Покинув пост президента, Думерг, в награду «за оказанные им услуги», был назначен одним из директоров Суэцкой компании с недурным доходом в 200 тысяч франков в год. Уединившись в свое весьма благоустроенное поместье на юге Франции, возле местечка Турнфей, он здесь выхаживал свои виноградники и поигрывал в картишки. «Вечно он выигрывает, — жаловались его соседи по карточному столу.—Он чуть ли не такой же мастер играть в карты, как сбывать свое вино».

В 1933 году портрет Думерга снова замелькал в газетах. Реакционные круги искали подходящего кандидата на должность премьера. В газетных статьях человека с сияющей улыбкой уже не называли, как обычно, иронически-ласкательным именем «Гастонэ». Ему было пожаловано звание «турнфейского мудреца». Думерг часто и усердно выступал по радио для того, чтобы французский народ мог освоиться с его кандидатурой. А тем временем полковник де ла Рок усиленно превозносил его и в одной из своих речей назвал «будущим спасителем Франции». Итак, Думерг был введен в должность премьера как спаситель Франции от демократии и либерализма. На этот раз «200 семейств» решили, что пора свести счеты с либеральными идеями раз и навсегда.

План Думерга о пересмотре и изменении конституции был изложен в книге сенатора Мориса Ординер, к которой Думерг написал предисловие. План этот заключался в

следующем: 1. Президент республики имеет право распускать палату и требовать новых выборов. 2. Палата должна избираться не прямым, а косвенным голосованием, причем число депутатов должно быть уменьшено, а сроки их полномочий увеличены. 3. Государственный бюджет составляется и проводится в жизнь по указу правительства, без утверждения парламентом.

Но прежде чем новый кабинет Думерга встретился с палатой депутатов, произошли два события, заставившие Думерга повременить со своими проектами. Через два часа после утверждения кабинета, вечером 9 февраля 1934 года, в Париже начались уличные бои между полицией и народными массами.

Коммунисты выпустили воззвание, призывавшее рабочих к демонстрации протеста против кабинета Думерга. Местом сбора была назначена площадь Республики в одном из пролетарских районов Парижа. Полиция и войска окружили плотным кордоном район предполагаемых демонстраций, однако они вспыхнули подобно пожару во всех рабочих кварталах Парижа — вплоть до исторически известных Бельвиля и Менильмонтана и до Северного и Восточного вокзалов. Безоружные рабочие начали строить баррикады. С раннего утра раздавались залпы полицейских винтовок и треск пулеметов. Рабочие отвечали градом камней. Когда дым сражения рассеялся, не оставалось уже никаких сомнений в том, что кабинет Думерга запятнан кровью. По официальным сообщениям, с обеих сторон насчитывалось свыше двухсот убитых и раненых. В Париже было произведено больше тысячи арестов. Тогда в первый раз появились официальные разъяснения, что во всем происшедшем повинны «интриги и махинации иностранной агентуры». С этого времени басня об «иностранной агитации» стала привычным рефреном парижской правой прессы.

Три дня спустя Париж и крупные французские провинциальные города стали свидетелями всеобщей стачки. По беспристрастной оценке, она охватила сто процентов служащих таких жизненно важных государственных предприятий, как почта, телеграф, телефон, трамвай, автобус, метро. Рабочие крупнейших промышленных предприятий присоединились к забастовке. Железные дороги, водопровод, газ и электричество, по приказу руководителей стачки, продолжали нормальную работу.

Правительство Думерга было напугано внушительным

размахом стачечного движения. И, пожалуй, еще больше тем, что в этот же самый день рабочие демонстрации, со- званные порознь социалистами и коммунистами, сошлись на обширной территории Венсеннского леса. По окончании обоих митингов более ста тысяч парижан соединились в едином мощном шествии. Правительственные круги были испуганы и ошеломлены. То была первая объединенная демонстрация социалистов и коммунистов после резкого разрыва, происшедшего между этими партиями в 1922 го- ду. И это после жестокой междоусобной войны, свиреп- ствовавшей между ними в течение двенадцати лет.

На утро после стачки Думерг в продолжение несколь- ких часов совещался с двумя своими ближайшими сотру- дниками — бывшим премьером Андре Тардье и Пьером Ла- валем. Хотя впоследствии это официально отрицалось, Лаваль в частной беседе признавался, что это они с Тар- дье составили основные пункты первой декларации Думер- га в палате депутатов.

Стратеги решили действовать осторожно с проведением намеченных конституционных реформ. Французский народ был настроен очень решительно. Думерг и его советники рассчитывали, что народ будет подавлен и ошеломлен скоропалительным уходом Даладье и мощным зрелищем силы, продемонстрированной «Боевыми крестами». Вместо этого он увидел сплоченные народные массы, исполненные решимости и готовности к борьбе.

Даже если бы парламент пошел на самоубийство, по- слушно проглотив так называемые «реформы» Думерга, народ не допустил бы гибели демократии, не оказав реши- тельного сопротивления. Думерг, собиравшийся изложить свою программу коренной реформы конституции в первом же правительственном выступлении перед палатой, вы- нужден был отложить это намерение. Новый кабинет предстал перед депутатами и сенаторами в скромном и вкрадчивом облики «правительства примирения партий». «Спаситель» Думерг временно снова задрапировался в ха- лат «папаши Думерга», сияя обворожительной, почти ан- гельской улыбкой. Первая попытка ввести фашизм «бес- кровным путем» потерпела крах.

В кабинет Думерга, насчитывавший тридцать четыре человека, входили только шесть радикал-социалистов, включая Эррио в качестве министра без портфеля.

Реакционные члены кабинета Думерга были единодуш-

ны в стремлении покончить с системой парламентской демократии во Франции, но они расходились в путях и средствах осуществления этой задачи. Так, например, Тардые, министр без портфеля, призывал к созданию корпоративного государства. Но это не мешало ему быть поборником французской традиционной политики «твердой руки» в отношении к Германии, политики, восходящей к Клемансо и Пуанкаре. Напротив, Пьер Лаваль, министр колоний, стремился сочетать фашистский режим во Франции с развитием дружественных отношений между Францией, Италией и Германией. Точка зрения Лавалья постепенно брала верх в так называемых «национальных» партиях правого крыла. Но чтобы осуществить на деле свою линию в иностранной политике, Лавалью пришлось дожидаться смерти Луи Барту, которого Думерг сделал министром иностранных дел. Думерг не из любви или уважения включил Барту в состав своего кабинета. Причина была та, что «Барту в кабинете был помехой, но Барту вне кабинета был бы катастрофой».

Луи Барту было семьдесят два года, когда он водворился на Кэ д'Орсэ. Он сделал блестящую политическую карьеру. Барту родился в Нижних Пиренеях, на юго-западе Франции. Он был сыном жестяника. Его подвижное лицо с живыми глазами и бородкой à la Наполеон III фигурировало чуть ли не в двенадцати министерских кабинетах.

Через несколько недель после того как Барту получил портфель министра иностранных дел, я взял у него интервью. Он утверждал, что он единственный французский министр, прочитавший в оригинале книгу Гитлера «Mein Kampf», в полном издании. Барту свободно говорил по-немецки. Он мог цитировать на память длинные отрывки из Генриха Гейне, который был одним из его любимых поэтов.

Я пошел к нему потому, что по всему Парижу носились слухи, что Германия потребовала для себя права создания регулярной армии в 300 тысяч человек. Утверждали, что кабинет Думерга, под давлением Великобритании, готов согласиться на это. Агенты Лавалья шныряли повсюду, доказывая, что это верный путь, чтобы обеспечить мир. Граф Фернан де Бринон носился по редакциям газет, так же как и Станислав Ларошфуко, представитель тех кругов дворянства, которые держали сторону Лавалья.

Руководители национал-социалистских организаций бывших фронтовиков толклись по Парижу, уверяя всех и каждого, что Гитлер собирается выкинуть все оскорбительные для Франции места из книги «*Mein Kampf*» и что новое, очищенное издание уже готовится к печати.

Они убедили в этом главу влиятельной группы бывших фронтовиков, депутата Жана Гуа, который надоедал своим коллегам в кулуарах парламента, убеждая их в добрых намерениях Гитлера. Один из самых ловких агентов Гитлера, Отто Абетц, сделал свой первый визит в Париж. Он посещал фешенебельные гостиные в сопровождении корреспондента «Франкфуртер Цейтунг» — Фридриха Зибурга, известного перебежчика из рядов либеральной демократии к национал-социалистам.

Барту изложил свое мнение в самых решительных выражениях. Он категорически отрицал приписываемое ему согласие с политикой уступок Германии. «Если мы сделаем этот роковой шаг, — воскликнул он, — нам предъявят в скором времени новые, более обширные требования. В один прекрасный день мы должны будем, наконец, остановиться. Лучше сделать это сейчас, пока козыри еще в наших руках».

Луи Барту, невысокий, крепкий человек со светскими манерами, культурный и многосторонний, был, казалось, рожден для политической деятельности. Когда-то он писал: «Политическая трибуна — это алтарь слова. Надо благоговейно чтить трибуну, чтобы возвыситься до нее». Барту фанатически любил музыку. Он был страстный библиофил и коллекционер. Когда после его смерти его библиотека продавалась с аукциона, обнаружилось, что ему принадлежала самая обширная коллекция эротической литературы во Франции. Этот государственный муж, представитель угасающего величия в эпоху упадка Франции, забавно сочетал в себе деловитость Пуанкаре с взволнованной горячностью Бриана. В свободное время он написал множество книг, преимущественно о французской литературе. Одна из его книг была посвящена Рихарду Вагнеру.

Барту был последним представителем традиционной французской иностранной политики на Кэ д'Орсэ. Эта политика диктовалась опасениями перед потенциальной промышленной и военной мощью Германии, а также недоверием к великобританской политике «равновесия сил» на континенте. Хотя Барту старался сохранить франко-

британское сотрудничество, но его всегда преследовала мысль, как бы в этом сотрудничестве, по определению Клемансо, Франция не играла роль лошади, а Англия — наездника. Барту считал, что Франция должна стать первой континентальной державой в Европе. Он полагал, что система союзов, заключенных Францией с Польшей, Чехословакией, Румынией и Югославией, была необходимым условием сохранения европейского равновесия. В бытность Барту руководителем на Кэ д'Орсэ инициатива в европейской международной политике на некоторое время вернулась к Франции.

В первый период после мировой войны Барту был непримиримым врагом Советской России. Он был завзятый консерватор. Но теперь он неустанно старался притти к соглашению с Советским Союзом. В мае 1934 года на сессии Лиги наций в Женеве он боролся против всяких уступок Гитлеру. В страстной речи Барту обрушился на национал-социализм с его проповедью милитаризма и войны.

— Я слишком стар, чтоб переливать из пустого в порожнее, — сказал он нам, газетчикам, когда вышел из зала в сильнейшем негодовании.

Сделавшись министром иностранных дел, Барту немедленно принялся за реорганизацию и укрепление системы внешних договоров Франции. С этой целью он совершил свое «большое турне» по Европé, посетив Польшу, Румынию, Югославию и Чехословакию. Его идеей было расширить Локарнский пакт, который гарантировал Франции, Великобритании, Германии, Италии и Бельгии помощь всех стран, подписавших этот пакт, в случае если одна из них подвергнется нападению со стороны одного из соучастников этого соглашения, дополнив его «Восточным Локарно», которое охватывало бы Германию, Советский Союз, Польшу, Чехословакию и прибалтийские государства.

Во время этого путешествия Барту едва не погиб: в Австрии в его поезд была брошена бомба. Французская пресса получила от премьера Думерга указание всемерно преуменьшить значение этого инцидента.

В Бельведерском дворце в Варшаве Барту встретился со стареющим польским диктатором — маршалом Пилсудским. Глава польского правительства, повидимому, был намерен соблюдать верность пакту о ненападении, кото-

рый он недавно подписал с Гитлером. Покидая дворец, Барту казался встревоженным и огорченным. «Я не мог его переубедить», — признался он.

Зато в Румынию он въехал триумфатором, и ликующие румыны избрали его почетным гражданином своей страны. Барту получил аудиенцию у югославского короля Александра, который возобновил заверения в своей лояльности в отношении Франции. Он разговаривал и с престарелым президентом Чехословацкой республики — Томасом Масариком, и его учеником, министром иностранных дел, Эдуардом Бенешем.

Поездка Барту была не только его личным триумфом, но и триумфом всей внешней политики Франции. Однако Барту ясно видел тревожные сигналы. Вернувшись в Париж, он признавался: «Я недооценивал Гитлера. Он развил лихорадочную деятельность на востоке и северо-востоке Европы. Я думаю, что я одернул его, но нужны большие усилия, чтобы постоянно держать его в узде».

И фюрер оценил по достоинству деятельность Барту. В октябре 1934 года, когда югославский король Александр приезжал отдать официальный визит французскому президенту, оба — король и Барту — были убиты в Марселе хорватскими террористами. Убийцы были членами пресловутой банды «Усташи», и связь их с партией национал-социалистов была установлена самым неопровержимым образом. Газета организации «Усташи» издавалась в Берлине. Марсельские убийцы получили свои подложные паспорта в Мюнхене. На пулемете, из которого они стреляли, стояло клеймо оружейного завода Маузера в Оберндорфе у Неккара.

Барту ушел в могилу. Пьер Лаваль развил бурную деятельность, чтобы занять его место на Кэ д'Орсэ.

Смерть Барту была встречена вздохом облегчения не только в Берлине. Премьер Думерг воспользовался случаем, чтобы снова перетасовать своих министров. Очень показательно было одно падение. Из правительства вышел министр, который знал слишком много об афере Ставиского, в его руках были нити, которые вели к истинным подстрекателям мятежа. Имя его было Анри Шерон. Это был проникательный толстощекий северянин. Шерон настаивал на проведении всестороннего, глубокого расследования марсельского убийства.

Но тут заговорил маршал Петэн, военный министр.



«У нас есть мертвый груз в этом правительстве». Это был редкий случай, когда маршал открыл рот.

— Кого вы имеете в виду? — спросил Шерон.

— Вас! — отрезал Петэн.

Итак, мертвый груз был бесцеремонно выброшен за борт. Шерон был заменен в министерстве юстиции сенатором Анри Лемери, крупным земельным собственником из французских колониальных владений на Мартинике. Лемери, который должен был взять на себя расследование марсельского убийства, сам был членом «Боевых крестов». Позже он стал ярым поборником политики умиротворения и отправился приветствовать генерала Франко в Бургос. Не удивительно, что на расследование потребовалось много времени! Для истории не лишено интереса, что сообщники убийцы, которого тут же на месте линчевала толпа, были преданы суду лишь два года спустя — при правительстве Народного фронта.

Кабинет Думерга после марсельских событий просуществовал немногим больше месяца. Попытки покрыть дефицит в бюджете за счет беззастенчивого урезывания заработной платы государственным служащим его не спасли.

Правительство не предпринимало ничего против быстрого роста безработицы и проявляло полнейшую беспомощность перед лицом экономического кризиса, распространявшегося подобно раковой опухоли. Несмотря на то, что военным министром в кабинете Думерга был маршал Петэн, а министром воздушных сил генерал Денен, этот кабинет меньше всего занимался проблемами обороны страны. Он имел в своем распоряжении массу точных и подробных сообщений о бешеном вооружении Гитлера, однако он почти ничего не делал для модернизации устаревшего снаряжения французской армии. В первые недели существования кабинета генерал Денен в чрезвычайно поверхностном докладе коснулся вопроса о реорганизации воздушных сил. Он предложил увеличить военный воздушный флот, пополнив его тысячей новых самолетов. Это было в то время, когда национал-социалистская Германия стремительно шла вперед, чтобы достигнуть равенства в воздухе, а затем вскоре и превосходства над Францией и Великобританией. Прошло больше двух лет, пока эта тысяча самолетов была передана армии. Но за это время модели уже устарели!

Два человека требовали усиленной механизации фран-

цузской армии. Один из них, генерал Шарль де Голль, в своей книге «К профессионализации армии» доказывал, что механизированная армия в 100 тысяч человек может разбить гораздо более многочисленного, но уступающего в механизированном снаряжении врага. Другим поборником механизации был Поль Рейно, маленький парижский депутат с неумным честолюбием, который был известен своими большими связями в высоких финансовых сферах и генеральном штабе. Он также напечатал книгу, в которой высказывался за создание не менее шести бронетанковых дивизий.

Тем временем между социалистами и коммунистами шли переговоры. Начало было положено объединенной демонстрацией 12 февраля 1934 года. За ней последовали неоднократные обращения коммунистов к социалистам с предложением о согласованных действиях. После пятимесячных переговоров между обеими партиями было заключено соглашение, в котором обе стороны взяли на себя обязательство «мобилизовать все трудящееся население против фашизма, защищать демократические свободы, бороться против новой войны и за освобождение жертв фашистского террора в Германии и Австрии». В день 12 февраля, когда парижские антифашисты собрались в Венсенне, в Вене строились баррикады. В течение многих дней в Австрии бушевала гражданская война между объединенными силами рабочего класса и армией канцлера Дольфу-са. Знаменитые дома венских рабочих обстреливались пушечным и пулеметным огнем. В Австрии водворился клерикальный фашизм, когда-то могущественные австрийские профсоюзы были разогнаны, а социалисты и коммунисты объявлены вне закона.

Эти события произвели глубокое впечатление на французский народ. Террор в национал-социалистской Германии также достаточно раскрыл им глаза. Все это, несомненно, ускорило подписание пакта об объединенных действиях социалистической и коммунистической партий.

Вожди французских социалистов шли на установление единого фронта с коммунистами очень неохотно и с большой опаской. За месяц до того, как соглашение было официально подписано, исполнительный комитет социалистической партии отверг предложение о совместных дей-

ствиях с коммунистами большинством в двадцать два голоса против восьми. В числе этих двадцати двух был и Леон Блюм, лидер социалистической партии. Была принята даже резолюция, в которой говорилось, что комитет считает в настоящий момент несвоевременным и неуместным продолжать переговоры с коммунистами. Но это решение явно противоречило настроениям большинства членов социалистической партии. Совместные выступления рабочих-социалистов с коммунистами следовали одно за другим. Блюм писал по этому поводу в газете «Попюлер»: «Чувствуешь себя точно на крутом откосе и бежишь вниз больше в силу инерции, чем по собственному желанию... Это прыжок в неизвестность...»

Пакт об объединенных действиях был подписан 27 июля 1934 года. На другой день около 50 тысяч человек собрались у Пантеона в Париже, чтобы отметить двадцатую годовщину убийства великого французского социалиста Жана Жореса накануне первой мировой войны.

Основным чувством всего французского трудящегося народа была ненависть к фашизму. Сама жизнь сплачивала его в единое целое.

Теперь во французской политике роли переменялись. Со времени подписания Версальского договора крайние правые партии защищали в своей политике этот договор как неизменный и нерушимый. Левые партии нападали на него за его незаконность и несправедливость. Теперь же французский пролетариат решительно требовал сопротивления национал-социализму, в то время как партии, представляющие французские деловые круги, торопились пойти на уступки Гитлеру.

Пакт между социалистами и коммунистами, подписанный 27 июля 1934 года, не мог не вызвать отклика в рядах радикал-социалистической партии. Левое крыло радикал-социалистской партии начало колебаться. В недалеком будущем предстояли выборы. Радикал-социалисты начали более доброжелательно прислушиваться к проектам предвыборного союза с социалистами и коммунистами. Только таким путем могли бы они обеспечить себе возвращение в палату. От своих избирателей из провинции они получали груды писем и сообщений. Общественное мнение не проявляло никаких колебаний в пользу Думерга — наоборот.

В конце октября 1934 года атмосфера в Париже чрезвычайно накалилась. Ходили упорные слухи, что «Боевые

кресты» готовят новый путч. Полковник де ла Рок произносил хвастливые речи, полные угроз по адресу тех, «кто тайно замышляет свергнуть великого патриота Думерга». «Боевые кресты» возобновили в широком масштабе военные маневры и пробные мобилизации, в которых участвовало большое количество самолетов. Де ла Рок был принят маршалом Петэном. Эта встреча должна была остаться в строжайшей тайне, но вести о ней просочились наружу, и это усиливало напряжение. Фондовая биржа реагировала на все это чрезвычайно болезненно. Париж жил в атмосфере, граничащей с гражданской войной.

Клика Думерга готовила оружие. Газета «Тан» гремела: «Думерг — на верном пути; мы должны помочь ему и следовать за ним. Шаг, которого он ждет от нас, будет последним и разумнейшим шагом. Если государство не будет реорганизовано так, как это предлагает Думерг, то через несколько лет, может быть даже месяцев, от нашего либерального режима ничего не останется».

Серьезность подобной угрозы, исходившей из этого полуофициального источника, была ясна всякому.

В информированных кругах называли даже точную дату переворота — 11 ноября, годовщину заключения мира. В этот день «Боевые кресты» и другие организации бывших фронтовиков устраивали традиционные парады с шествием мимо могилы Неизвестного солдата и неугасимого огня под Триумфальной аркой. На этот раз, как говорили, участники парада не разойдутся. В то время как самолеты «Боевых крестов» «закроют парижское небо», их отряды захватят главные пункты столицы и многих провинциальных центров. Затем они прикроют «старую говорильню» — палату депутатов — и утвердят пресловутый «директорат пяти». На этот раз называли следующих кандидатов: Думерг, Петэн, Лаваль, Марке и генерал Вейган. Тардые не был в их числе. Тардые так никогда и не простил де ла Року это свое исключение из списка будущих диктаторов. Он отомстил полковнику несколько лет спустя.

Левые тоже готовились. Париж был в волнении. Демонстрации следовали за демонстрациями. Самая внушительная демонстрация левых партий произошла накануне съезда радикал-социалистов.

Около ста тысяч человек вышли на улицы Парижа, требуя отставки Думерга и отмены его жестких финансовых декретов.

Помощь пришла с неожиданной стороны. Выступил Жорж Мандель. Он принадлежал в палате к группе независимых республиканцев. Как ближайший любимый сотрудник Клемансо он пользовался большим доверием среди правых партий палаты. Он убедил наиболее влиятельных членов правого крыла в том, что попытка ввести фашизм при помощи путча приведет к продолжительной и кровопролитной гражданской войне. И нельзя быть уверенным в благоприятном исходе, ибо массы против фашизма и настроены воинственно.

Любопытно, что человек, который в конечном счете решил исход событий, был министр общественных работ в кабинете Думерга — Пьер-Этьен Фланден. Он в завуалированной форме предложил радикалам объединить силы с представляемой им группой и создать новый кабинет, в который бы не входил Думерг. Эррио ухватился за эту идею. Избегая серьезного конфликта с Думергом по основной проблеме — о реформе конституции, он выбрал для нападения сравнительно незначительный бюджетный вопрос. Думерг упорно отстаивал свои предложения. Радикал-социалистские министры внезапно покинули зал, прячась за массивную спину Эррио. Кабинет Думерга перестал существовать.

Наступил день предполагаемого путча. 11 ноября колонны «Боевых крестов» маршировали по Елисейским полям, оглашая воздух злобными криками: «Мы требуем Думерга!» «Власть Петэну!» «Мы требуем Вейгана!» Но весь этот шум и буйство были уже ни к чему. Дряхлому, утомленному ничтожеству — он снова стал для своих сторонников прежним «Гастонэ» — оставалось только сесть в поезд и укатить домой в Турнфей.

Преемником Думерга стал Фланден. Ростом в шесть футов шесть дюймов, прозванный «небоскребом французского парламента», Фланден был самым молодым премьером Франции — он занял этот пост сорока пяти лет.

Фланден предложил должность военного министра Петэну, но тот отказался, по совету Вейгана. «Берегите ваши силы, — предостерегал Вейган. — Может быть, вам суждено сыграть во Франции ту же роль, что и Гинденбургу в Германии». Эдуард Эррио вошел в кабинет Фланденца министром без портфеля, а Пьер Лаваль министром иностранных дел.

Фланден происходил из богатой и высокопоставленной

семьи. Его отец был губернатором в Тунисе и оставил своим детям значительное состояние. Пьера-Этьена предназначали в семье для судебной карьеры, но в двадцать пять лет он уже был избран в палату от провинциального департамента Ионы — депутат-«малютка». В войне 1914 года он был одним из первых французских военных летчиков. В 1917 году он стал директором международной объединенной авиапочтовой службы.

Воспитание Фландена было тем, что французы с плохо скрытой гримасой называют английским. Таково же было его платье и вкусы. Это был заядлый любитель охоты, стрельбы, рыбной ловли. Автомобилист-гонщик, он собрал коллекцию штрафных квитанций за езду с недозволенной скоростью, какой нет ни у кого другого из политических деятелей Франции. Он предпочитал пресные английские кушанья обильным соусам и тонкостям французской кухни. Его длинная, наполовину облысевшая голова возвышается над широкими плечами. Он держится чрезвычайно прямо, отчего кажется еще выше.

Фланден занимал семь министерских постов в различных кабинетах до того, как стал премьером. Он был лидером парламентской группы, известной под названием «демократического союза». Когда-то председателем этой группы был Пуанкаре. Здесь мы снова сталкиваемся с одной из особенностей французской парламентской системы. Левое крыло «демократического союза» — этой явно разношерстной коалиции — политически мало чем отличалось от своих ближайших соседей слева, в то время как ее правое крыло представляло довольно точную копию своих соседей справа. В меру возможности Фланден всегда тянул в правую сторону. Он участвовал исключительно в кабинетах, возглавляемых правыми. Вот почему маневр, при помощи которого он содействовал окончательному падению Думерга, вызвал немалую сенсацию. Но это было в порядке вещей для парламентской действительности Франции. Фланден был тесно связан именно с теми кругами, которые стояли за Думергом и пользовались им как удобной ширмой. Но в сложной обстановке, возникшей осенью 1934 года, он усмотрел возможность сделать личную политическую карьеру. И как только ему подвернулся удобный случай, он, не теряя времени, сделал внезапный поворот налево. Его расчеты полностью оправдались.

Неожиданностью для всех явилось включение в кабинет, в качестве министра почт и телеграфа, Жоржа Мандела. Наконец-то Манделю удалось попасть в министры. Полученный им пост был, правда, не из очень крупных, но все же открывал ему широкие возможности. Теперь Мандель мог читать частные телеграммы всех своих друзей и врагов. Фланден, боясь, что полиция будет подслушивать его телефонные разговоры, провел к себе отдельный провод. Он обошел полицию, но не усердных агентов Манделя, — они бодрствовали на своем посту, неведомые Фландену.

Социалисты и коммунисты заняли резко враждебную позицию в отношении нового правительства. Для них Пьер-Этьен Фланден оставался героем недавнего скандала с «Аэро-посталь» (Авиапочтовой компанией). Эта фирма запуталась в мошенничестве и спекуляциях. Вскрытые следствием в 1931 году махинации фирмы вызвали большой шум, и дело кончилось банкротством трех парижских банков. Фланден состоял в должности официального консультанта «Аэро-посталь». Все данные говорили с очевидностью о том, что он продолжал получать у этой компании жалованье также и в период, когда он занимал пост министра финансов в предыдущем кабинете. Когда Фланден представлял свой кабинет палате депутатов, с левых мест его приветствовали яростными криками: «Аэро-посталь! Аэро-посталь!» Но, должно быть, именно поэтому он получил вполне достаточное большинство голосов.

Его кабинет держался семь месяцев. Затем ему пришлось расплачиваться за свой маневр, который «200 семейств» сочли предательством: за участие в свержении правительства Думерга. В мае 1935 года кабинет Фландена крайне нуждался в кредитах Французского банка. За несколько недель до этого Фланден обратился к банку за поддержкой и получил скромную ссуду. Но банк одновременно выпустил коммюнике, в котором говорилось: «Правительству Фландена вскоре потребуются большие кредиты. Решение будет зависеть от того, насколько банк сочтет себя удовлетворенным деятельностью правительства за время передышки, которая предоставлена ему в награду за выраженное им намерение вести политику защиты франка». Всякий понимал, что в этих словах был смертный приговор кабинету Фландена. Когда премьер еще раз обратился к Французскому банку с просьбой о кредитах,

правление отказало ему наотрез с холодной непреклонностью. Правительство Фландена зашаталось, некоторое время оно беспомощно барахталось и затем пало в мае 1935 года.

### ПЯТНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ЛАВАЛЯ

После убийства Луи Барту в историческом здании на Кэ д'Орсэ, среди лабиринта узких коридоров и затхлых канцелярий, прочно окопался Пьер Лаваль, который в течение пятнадцати месяцев руководил внешней политикой Третьей республики. Он был министром иностранных дел в кабинете Фландена, продержавшемся семь месяцев. А когда пало министерство Фландена, Лаваль — после полукомической интермедии в виде однодневного правительства, возглавлявшегося его приятелем, Фернандом Буиссоном, — образовал собственный кабинет, просуществовавший тоже около семи месяцев.

Лаваль не был новичком на Кэ д'Орсэ: он хозяйничал там три года после отставки Аристида Бриана. Вместе с Брианом Лаваль, который был тогда премьером, ездил в 1931 году в Берлин с визитом к рейхсканцлеру Брюнингу. «Побольше бы нам во Франции таких людей, как вы», — сказал Лаваль сухому, напоминающему аскета католику Брюнингу. Германское правительство правило тогда при помощи чрезвычайных декретов. После переговоров с Лавалем Брюнинг сообщил своим коллегам по кабинету, что французский премьер живо интересуется полудиктаторскими методами германского правительства.

На Кэ д'Орсэ Лаваль явился во всеоружии упорства и хитрости, которые обычно приписываются уроженцам Оверни. Эта горная, носящая следы вулканического прошлого область в южной части Центральной Франции, полная мрачной красоты и резких контрастов, производит на свет грубоватых, бережливых людей. Впрочем, «бережливых» — слишком мягкое выражение; правильное было бы сказать — скупых и жадных. Овернцы — своего рода шотландцы Франции также и по той роли, которую они играют в шутках и анекдотах, рожденных галльским остроумием.

Некоторые из биографов Лавалья утверждают, что он — сын мясника; другие — что его отец был владельцем кафе. По наружности он сам мог бы сойти за мясника. Он



среднего роста, приземистый и нескладный. Цвет лица — зеленовато-оливковый, как у большинства его земляков; темные глаза и тяжелые веки; толстые губы и желтые от никотина зубы. В течение ряда лет газеты национал-социалистов с наслаждением помещали на своих столбцах портрет Лавалья как образец, ярко иллюстрирующий тип «негроидного ублюдочного французского народа». Но все на свете забывается; легкий кивок со стороны геббельсовского министерства пропаганды, и наружность Лавалья неожиданно сделалась привлекательной.

Но в Лавале действительно чувствуется какая-то грубость, и от этого впечатления нельзя отделаться. Ни его ловкие и вкрадчивые манеры, ни его тонкое чутье, подсказывающее ему, что нравится собеседнику, ни его умение искусно играть на чужих слабостях не могут рассеять вызываемого им в его собеседнике неотвязного чувства беспокойства.

Лаваль — выходец из французской социалистической партии. В молодые годы он в течение некоторого времени занимался преподавательской деятельностью в своем родном городе. Потом изучал юриспруденцию в Париже. Первую серьезную работу он получил в юридическом отделе федерации профсоюзов Парижского района. Перед войной 1914—1918 годов он успел выдвинуться как «адвокат бедноты». В социалистической партии он познакомился с Аристидом Брианом — незадолго до того, как Бриан покинул ее ряды. Легенда о Лавале утверждает, будто молодой адвокат произвел такое впечатление на Бриана, что тот горячо рекомендовал его лидеру социалистов Жану Жоресу. Некоторые из приспешников Лавалья даже влагают Бриану в уста такие слова: «Я познакомился сегодня с одним замечательным молодым человеком. Рекомендую его вашему вниманию».

Как бы там ни было, Лаваль делал быструю карьеру в рядах социалистической партии. В 1914 году, немногим старше тридцати лет, он был избран в палату депутатов от парижского пригорода Обервилье.

Его пораженческая позиция во время первой мировой войны не была секретом ни для кого. Французская контрразведка еще до войны внесла его имя в знаменитый «список В», то есть список лиц, подлежащих немедленно аресту или тщательному полицейскому надзору с самого начала военных действий. Лаваль был отнесен ко вто-

рой категории. «За мною всюду следовали филеры, мою корреспонденцию вскрывали, мои телефонные разговоры подслушивали. Вот на чем я изучил искусство управления. Суть в том, чтобы знать, что замышляют ваши враги». Так рассказывает Лаваль. Но есть и лучший рассказ. Как-то раз Лаваль сунул взятку полицейскому агенту, который шпионил за ним, а затем сел играть с агентом в кости и полностью отыграл все свои деньги.

Лаваль так и не побывал на фронте во время войны, хотя есть сведения, что он в течение нескольких месяцев числился на военной службе. Тем основательнее он изучил тыл. Он сошелся с политическими деятелями из разных партий, разделявшими его пораженческие взгляды. Это были политики, группировавшиеся по большей части вокруг бывшего премьера Жозефа Кайо. Кайо, сам принадлежавший к патрицианским кругам, был в прекрасных отношениях с заправилами финансового мира. Он ввел Лаваль в недоступные для простого смертного сферы, и, по мере того как война приближалась к концу, на Лавале стало сказываться влияние этого общества избранных. Лаваль одним прыжком переметнулся с левого крыла социалистической партии на правое. С тех пор он не раз проделывал подобные прыжки с ловкостью акробата. Леон Блюм как-то сказал о нем: «Никогда нельзя знать, где Лаваль окажется завтра; известно только, что он всегда передвигается вправо».

Изменилась и клиентура Лавалья. Он стал преуспевающим адвокатом. В выборе клиентов он проявлял большую разборчивость и принимал дела только от лиц, занимавших высокое положение. Главным источником доходов служило для него знакомство с Франсуа де Ванделем, председателем Комитэ де Форж. Он стал частным юрисконсультом де Ванделя.

Когда Лаваль начал в 1914 году свою политическую карьеру, у него не было ни гроша в кармане. В 1935 году, когда его дочь Жозе выходила замуж за графа Рене де Шамбрэн, который считался гражданином США как потомок маркиза де Лафайета, состояние Лавалья исчислялось в сумме свыше трех с половиной миллионов долларов. Он получил графский титул от папы римского и был собственником трех больших поместий, старинного замка, скаковой конюшни и драгоценнейшей коллекции предметов старины. Кроме того, он был хозяином концерна про-

винциальных газет и компании минеральных вод. В палате депутатов он славился своими магическими спекуляциями на бирже.

Анатоль де Монзи, участвовавший вместе с Лавалем в нескольких кабинетах, и сам тоже из тех, кто охулки на руку не кладет, любил говорить: «Я не всегда соглашаюсь с политическими идеями Лавалья, но в биржевых делах я слепо иду за ним». Только одно облако омрачало лавальевское небо. При всем своем богатстве он не мог ни поест, ни попить вволю. По предписанию врачей, он соблюдал строжайшую диету.

Лаваль — человек без иллюзий, без нравственных колебаний, без идеалов. Его цинизм служит отличным дополнением к его овернской грубости и его страсти обмерить и обвесить. Инстинктивная хитрость, полнейшая беззастенчивость и умение быстро подметить ахиллесову пяту противника — таковы основные черты, из которых складывается облик Лавалья. Свой первый министерский портфель он получил в левом кабинете в награду за посредничество между Пенлеве и Брианом. Пост премьера он занял впервые в 1931 году, и с тех пор при всяком правительственном кризисе настойчиво называлась его кандидатура.

Из года в год он носит белый моющийся галстук одного и того же фасона. Одни объясняют это скупостью, другие — рекламными соображениями, а третьи говорят: надо же ему иметь хоть что-нибудь чистое. Один социалистический депутат прервал как-то речь Лавалья в палате возгласом: «Я хотел бы, чтобы ваши руки были так же чисты, как ваш галстук».

Меньше всего Лаваль способен отдать что-нибудь, ничего не получая взамен. Один из близко связанных с ним журналистов заведывал иностранным отделом влиятельной утренней газеты. Как-то раз он необдуманно поместил в ней свою статью, не совпадающую с видами Лавалья. В тот же день Лаваль позвонил по телефону главному редактору: «Пусть ваш заведующий иностранным отделом напишет к завтрашнему номеру следующее...» И он начал резким и повелительным тоном излагать свои пожелания. Редактора обидел этот не терпящий возражений тон, и он ответил: «Вы не имеете никакого права диктовать нам ваши статьи».

«Нет, имею, — рявкнул Лаваль, — спросите вашего за-

ведущего иностранным отделом». После этого заведующий был выкинут из редакции — не за то, что он получал «субсидии» от Лавалля, а за то, что он не делился ими с главным редактором.

Такова была месть Лавалля. Он устроил потом этого журналиста в вечерней газете «Пари суар», приняв предварительно надежные меры, гарантирующие, что его подругий никогда больше не уклонится от должного курса.

Большая часть секретных фондов, отпускаемых французскому правительству, поступает в распоряжение министерства иностранных дел. Лаваль раздавал деньги направо и налево. При этом он действовал с таким бесстыдством, что Леон Блюм внес однажды в палату депутатов предложение лишить Лавалля права распоряжаться этими фондами.

Характеризуя состояние Франции накануне нового, 1935 года, Жюльен Бенда, известный бытописатель нравов и историк идей, писал: «Часть французского народа не избежала заразы цезаризма — своего рода органической вражды к демократии, и эта вражда не поддается даже самым убедительным доводам... Можно сказать, что Франция живет в состоянии непрерывной гражданской войны».

Лаваль был душой течения, тяготевшего к цезаризму. Цезаризм во Франции означал, между прочим, соглашение с европейскими цезарями — Муссолини и Гитлером. Поклонник демагогии, глубоко презиравший демократию и издевавшийся над Лигой наций, Лаваль был убежден, что он — тот человек, который может достигнуть соглашения с Муссолини и Гитлером. Он настороженно и подозрительно относился к политике Англии и не сомневался в возможности найти общий язык с Гитлером и Муссолини — хотя бы за счет других держав и даже союзников Франции. Лаваль нисколько не скрывал своего убеждения, что дни демократии во Франции сочтены. «Новый порядок», к которому он стремился, легче было бы навязать Франции на основе предварительного соглашения с фашистской Италией и национал-социалистской Германией.

За время своего пребывания на посту министра иностранных дел Лаваль не только разрушил все, что было сделано Барту, но и заложил основы для будущего разгрома Франции. Он помог Гитлеру одержать грандиозную

победу во время плебисцита в Саарской области; он допустил первое открытое нарушение Версальского договора, а именно введение всеобщей воинской повинности в Германии; он подписал франко-советский пакт о взаимной помощи и сделал все для того, чтобы лишить его какого бы то ни было значения; он поддержал Италию во время войны с Абиссинией; он подорвал систему коллективной безопасности, опирающуюся на Лигу наций.

На первый взгляд, он не порывал резко с традиционной внешней политикой Франции. Он произносил почти те же самые фразы и выдвигал почти те же самые лозунги, что и его предшественники на Кэ д'Орсэ. Но над делами его витал таинственный дух интриги. Его коллеги по кабинету были озадачены; английское министерство иностранных дел — тоже. Он играл на вновь зарождающихся чувствах, на смутных, еще не оформившихся идеях, на еще не высказанных желаниях французского мелкого буржуа. Средний француз прислушивался. Средний француз не желал никакой войны. А Лаваль говорил: «Я гарантирую вам мир. Дайте мне только притти к соглашению с двумя нашими великими соседями — Италией и Германией. И тогда вы будете наслаждаться длительным и прочным миром». Средний француз настораживал уши. В конце концов его не очень интересовала Лига наций или союзники Франции на востоке и юге-востоке Европы. Все это было так далеко и так мало говорило его уму и сердцу. Точно так же он отнюдь не был в восторге от Великобритании. Зато его чувства к «латинской сестре», Италии, не охладели даже после Капоретто и всех других итальянских неудач во время первой мировой войны.<sup>1</sup> А страх перед Гитлером, шествующим от победы к победе, и почтение, внушаемое его успехами, заставляли французского мелкого буржуа особенно желать соглашения с ним, чтобы таким путем избежать национал-социалистской агрессии или направить ее в другую сторону.

Едва успев появиться на Кэ д'Орсэ, Лаваль послал эмиссаров в Берлин и Рим, чтобы позондировать почву и выяснить возможность для соглашения. Муссолини, заканчивавший тогда разработку плана завоевания Абиссинии, был очень рад заручиться поддержкой Франции.

В Германии еще не рассеялось тревожное настроение, вызванное «кровопусканием» 30 июня 1934 года. Брожение в рядах национал-социалистской партии и среди штур-

мовиков еще не улеглось. Да и германская армия не забыла еще оскорбления, нанесенного ей убийством генерала фон Шлейхера. Гитлеру крайне нужен был какой-нибудь успех. И посланцы Лавалья были встречены с распростертыми объятиями.

Когда правый депутат Жан Гуа приехал, вместе с членом парижского муниципалитета Мунье, в Берлин, он был принят Гитлером.

В последних числах ноября 1934 года Иоахим Риббентроп и сопровождавший его специалист по вопросам франко-германского сближения Отто Абетц прибыли в Париж в качестве гостей депутата Жана Гуа.

Граф Фернан де Бринон познакомил Риббентропа со сливками парижского общества, и он же суетился, чтобы устроить встречу Риббентропа с различными правыми политиками.

Во время своего пребывания в Париже Риббентроп был принят 2 декабря на Кэ д'Орсэ министром иностранных дел Лавалем. О чем они говорили — покрыто мраком неизвестности. Но когда Лаваль попрощался со своим посетителем, уже было достигнуто соглашение, обеспечивающее Гитлеру победу на предстоящем в Саарской области плебисците.

На основании Версальского договора Саарская область была в 1919 году отделена от Германии и отдана под контроль Лиги наций. В течение пятнадцати лет Франция должна была получать продукцию богатейших угольных шахт Саарской области, а затем плебисцит должен был решить, желают ли жители области воссоединиться с Германией, остаться под управлением Лиги наций или присоединиться к Франции.

Не подлежало ни малейшему сомнению, что подавляющее большинство саарского населения желает воссоединиться с Германией. Но желают ли они воссоединения с национал-социалистской Германией? Вот в чем заключался вопрос. Всесторонние обследования, производившиеся нейтральными наблюдателями, говорили о том, что большинство жителей этой области с преобладающим католическим населением предпочло бы воздержаться от присоединения к национал-социалистской Германии. Они хотели, чтобы потом, после падения национал-социалистского режима, им дана была возможность голосовать еще раз. Комиссия Лиги наций, управлявшая областью, а также

многие видные политические деятели Франции и Англии всячески добивались согласия французского и английского правительств на такое разрешение вопроса. Один из членов комиссии Лиги наций сказал мне в Саарбрюкене в конце ноября 1934 года, что в принципе соглашение уже достигнуто. В первых числах января 1935 года будет опубликована декларация о том, что через десять лет состоится дополнительный саарский плебисцит.

Этой декларации не пришлось появиться на свет. При посещении его Риббентропом Лаваль дал торжественное обещание, что ничего подобного Лига наций не сделает. Взамен он получил повторные заверения в том, что после урегулирования саарского вопроса у Гитлера не останется никаких территориальных притязаний к Франции. Лаваль привлек на свою сторону маршала Петэна. Маршал резко высказался против какого бы то ни было повторения плебисцита. Он заявил, что не допустит, чтобы Саарская область сделалась второй Эльзас-Лотарингией. Когда Лаваль сообщил кабинету о своих переговорах с Риббентропом, против него высказались только два министра: Жорж Мандель и Эдуард Эррио.

На заседании кабинета Лаваль выступил с подробнейшей характеристикой международного положения. Он предстал перед своими коллегами в роли министра-оптимиста. В частности, он огласил донесение французского посла в Риме, сообщавшего, что Муссолини с нетерпением ждет встречи с Лавалем. По словам посла, Муссолини хочет обсудить «со всей прямоотой» все существующие разногласия и считает, что их возможно уладить.

Донесение изобиловало цитатами, приводящими язвительные замечания Муссолини по адресу Гитлера. Из Берлина французский посол Франсуа Понсе сообщал, что, когда он был в последний раз у Гитлера, тот снова подчеркнул свое желание добиться соглашения с Францией. К этому Франсуа Понсе добавлял: «Разумеется, я не совсем доверяю искренности Гитлера; но вполне возможно допустить, что Германия, изнемогающая под тяжким бременем вооружений, нуждается в передышке. Есть основание полагать, что она не в состоянии выдержать еще один год такого экономического напряжения».

Лаваль предложил кабинету следующий план соглашения с Муссолини: Франция уступит Италии часть своей территории в Сомали и на юге Ливии, передаст Италии

некоторое количество акций железной дороги между Аддис-Абебой и Джибути и продлит льготы для итальянских поселенцев в Тунисе до 1960 года. Взамен Франция требует от Муссолини соглашения о взаимной консультации в случае, если окажутся под угрозой независимость Австрии или status quo в придунайских и балканских странах. Кроме того, Италия должна участвовать в консультациях с Францией о мероприятиях, необходимых для того, чтобы предупредить дальнейший рост германских вооружений.

Тут один из министров спросил Лаваль, имеются ли у него какие-либо новые сведения о замыслах Муссолини насчет Абиссинии и о возобновившихся переговорах между Италией и Германией. Лаваль ответил, что, согласно полученным им донесениям, переговоры между Берлином и Римом вовсе не имеют такого значения и такого масштаба, какой им приписывают. Что же касается итальянских планов в Абиссинии, продолжал Лаваль, то сведения, которыми он располагает, убеждают его в том, что Муссолини имеет в виду добиться от Хайле Селассие незначительных территориальных уступок. И, по его мнению, Франции не стоит волноваться, если Муссолини приобретет еще несколько квадратных километров пустыни.

После заседания кабинета я разговаривал с одним из министров. Он был в удрученном настроении. «Мы оказались, — жаловался он, — лицом к лицу с двумя диктаторами, каждый из них напрягает все силы, чтобы построить могущественную империю. А Лаваль думает приручить их, предложив одному полосу пустыни и несколько железнодорожных акций, а другому Саарскую область. Он подходит к вопросам внешней политики так, как будто речь идет о дополнительных выборах в его округе. Боюсь, не нажить бы нам хлопот».

Хотя Муссолини согласился только на часть французских предложений, в начале января 1935 года Лаваль отправился в Рим. Прощаясь с дипломатами, провожавшими его на вокзале, он ликовал: «Я имею большие основания надеяться, что наступает новая эра во франко-итальянских взаимоотношениях».

Лаваль настоял на том, чтобы «Боевые кресты» инсценировали «восторженную встречу» при его возвращении из Рима в Париж. Как выяснилось из позднейших разоблачений, он заплатил из секретных фондов за каждого демонстранта — «с головы»,



Палата депутатов и сенат тоже встретили его шумными овациями. Римское соглашение было одобрено подавляющим большинством голосов. Против голосовали только депутаты-коммунисты. Вопреки своему обыкновению, Лаваль сам составил коммюнике о заседании обеих палат.

Прием, оказанный Лавалю в Риме, сначала не оправдал его ожиданий. Не было ни толп, ни знамен, ни приветственных манифестаций. В течение двух дней Рим был вежлив, но холоден и сдержан.

Откровенно намекая на то, что он ожидал от Франции большего, чем предлагает Лаваль, Муссолини сказал в своем тосте на официальном банкете: «Этот многозначительный визит знаменует первую точку соприкосновения в политике двух великих латинских держав».

Ответный тост Лавалья был гораздо более пылким. «Муссолини, — сказал он, — вписал самую блестящую страницу в историю современной Италии. Он возбудил великие надежды. Все, кого воодушевляет идеал мира, обращают сейчас свои взоры к Риму». Но римский лед не растаял даже после этого горячего объяснения в любви.

Перемена произошла внезапно, но только после беседы с глазу на глаз между Лавалем и Муссолини, состоявшейся во время блестящего приема, устроенного французским посольством. Обоих государственных деятелей оставили наедине в одном из покоев огромного палаццо Фарнезе, где с богато отделанных лепных потолков на собеседников смотрели только фрески Караччо. Tête-à-tête продолжался около получаса. И этих коротких тридцати минут оказалось достаточно, чтобы решить судьбу Абиссинии, независимого государства, полноправного члена Лиги наций. Оба — и Муссолини, и Лаваль — сияли от удовольствия, когда вышли к остальным гостям. Атмосфера тотчас же изменилась. Сухая вежливость уступила место сердечной теплоте. Всех обошла фраза, брошенная Муссолини французскому послу: «Лаваль — единственный государственный человек, который понимает фашизм».

Не успел Лаваль покинуть Рим, как собрался фашистский Большой совет, объявивший, что на случай возможных событий приняты все необходимые военные меры.

Девять месяцев спустя, в октябре 1935 года, итальянские войска вторглись в Абиссинию.

---

В январе 1935 года, через несколько дней после возвращения Лавала в Париж, состоялся плебисцит в Саарской области.

По официальным данным, свыше 90 процентов саарцев голосовали за воссоединение с Германией. Правда, за границей знали, что, невзирая на международный контроль, саарское население было терроризовано. Штурмовики грозили, что после голосования жестоко расправятся с теми, кто будет голосовать против. Но как бы там ни было, плебисцит создавал повсюду иллюзию, что германский народ идет за национал-социалистским лидером. Успех Гитлера помог ему преодолеть серьезные затруднения внутри национал-социалистской партии. Национал-социалистская диктатура крепко держала теперь в своих руках бразды правления. Результаты плебисцита дали также новые силы национал-социалистскому движению в Австрии, Чехословакии и других странах с более или менее значительным немецким меньшинством. Но важнее всего то, что плебисцит еще раз показал Гитлеру (и притом весьма убедительным образом) всю слабость и близорукость государственных деятелей, представляющих демократические страны. Он видел, как упорно хозяева Франции добивались соглашения с ним. И он прекрасно учел то, о чем говорят многочисленные донесения его негласных агентов: во Франции все смелее раздаются голоса, требующие, чтобы Французская республика повернулась спиной к Великобритании и действовала рука об руку с авторитарными державами. Когда Риббентроп совершал обход парижских гостиных, ему всюду говорили, что Франция не будет возражать против введения всеобщей воинской повинности в Германии. Риббентроп доложил об этом Гитлеру. После саарского плебисцита Гитлер долго совещался со своими соратниками. Он утверждал, что настал момент, когда можно рискнуть и пойти на первое открытое нарушение Версальского договора. И, вопреки мнению и уговорам многих из его осторожных советников, он снова оказался прав.

Через два месяца после саарского плебисцита Гитлер нарушил часть пятую Версальского договора. В марте 1935 года он издал декрет о всеобщей воинской повинности в Германии.

В богатом событиями январе 1935 года генерал Вейган, начальник генерального штаба и вице-председатель Верховного совета национальной обороны, достиг предельного возраста и вышел в отставку. Его преемником был назначен генерал Морис-Гюстав Гамелен. Это назначение было чревато тягчайшими последствиями для Франции.

Для беспристрастных и прозорливых наблюдателей римский пакт и саарский плебисцит были вехами на пути, ведущем Францию к гибели. Для Лавалья, наоборот, они служили доказательством, что он избрал верный путь. В ближайшие месяцы он обрушил на Францию целый ливень соглашений, пактов, деклараций, обещаний и проектов — «бумажный дождь», как говорили в те дни. Клевреты Лавалья прозвали его «комми-вояжером мира»: он пересаживался с поезда на поезд и с самолета на самолет, разъезжая по разным странам. Но почти каждая из этих поездок вела к дальнейшему ослаблению дипломатических позиций Франции.

В Женеве он произнес речь, прокламирующую «веру в лигу», пытаясь рассеять опасения, вызванные в странах Малой Антанты его поездкой в Рим. Ему пришлось выдерживать неприятный разговор с румынским министром иностранных дел Титулеску. Во время горячего спора румынский политик бросил ему обвинение в том, что он предал друзей Франции. Югославский дипломат, присутствовавший при этом разговоре, говорил потом, что на месте Лавалья он не потерпел бы тех оскорблений, какими осыпал его Титулеску. Но Лаваль преспокойно проглотил все и только скалил зубы.

В феврале 1935 года он вместе с премьером Фланденом поехал в Лондон.

Лавалевские впечатления от лондонской поездки лучше всего выразил сенатор Анри де Жувенель, который был одно время французским послом в Риме. «Я не знаю, — сказал он, — как у нас обстоят дела с Англией, но я питаю глубокое доверие к Муссолини».

Лондонский мыльный пузырь лопнул через месяц, когда в Германии была введена всеобщая воинская повинность. Бледные и неподвижные сидели в палате депутатов Лаваль и Фланден, когда депутат-националист Франклен-Буйон бичевал их за «попустительство германским воору-

жениям». Когда Франклен-Буйон окончил свою речь, он обвел взглядом правые скамьи палаты, ожидая, повидимому, бурных аплодисментов. Но хлопали лишь немногие из его коллег. Франклен-Буйон, весь багровый, выскочил в кулуары. Столкнувшись там с журналистом-ветераном, своим старым приятелем, он отчаянным голосом завопил: «Франция погибла!» А в зале заседаний Лаваль спокойно сидел в ложе правительства и скалил зубы.

Но что-то надо было сделать. Французское правительство обратилось в Лигу наций с ходатайством о немедленном созыве Совета лиги. Твердо уповая на Муссолини, оно предложило тройственную конференцию в составе представителей Франции, Англии и Италии.

Встреча французских и английских министров с Муссолини состоялась в северной Италии, в Стрезе.

На сказочном острове Изола Белла, за плотной стеной чернорубашечников, Муссолини чувствовал себя укрытым от бурных проявлений народной любви и от назойливого любопытства иностранных журналистов. На фоне палаццо Борромео, где остановился глава итальянского правительства, пять актеров — разыгрывали странную пьесу. Они не говорили того, что думали; они не думали того, что говорили. Муссолини уносился мыслью в знойную Африку, где маршал де Боно подготовлял войска и амуницию для вторжения в Абиссинию. Лаваль думал о предстоящей ассамблее Лиги наций, для которой надо было заготовить формулу, удовлетворяющую тех, кто хотел занять твердую позицию по отношению к Гитлеру, и в то же время приемлемую для тех, кто, подобно ему, хотел притти к соглашению с национал-социалистским рейхсканцлером.

Плодами стрезской конференции были несколько важных деклараций. Одна из них выражала сожаление по поводу нарушения Германией Версальского договора, но вместе с тем и благочестивую надежду, что можно будет договориться с Гитлером об ограничении вооружений. Италия и Англия вновь подтвердили свои обязательства гарантов Локарнского пакта. И, наконец, три державы — Англия, Франция и Италия — торжественно заявили, что они воспротивятся всякому одностороннему отказу от договора, могущему поставить под угрозу мир в Европе. Этот документ получил громкое имя «Стрезского фронта». Один наблюдательный комментатор назвал его гораздо луч-

ше: «Бумажная стена, которая не выдержит малейшего дуновения ветра».

Из Стрезы Лаваль возвращался через Женеву. Там он приобщил к своей коллекции еще один клочок бумаги: единогласно принятую декларацию Лиги наций, осуждавшую односторонний акт Германии, выразившийся во введении всеобщей воинской повинности.

При голосовании этой декларации воздержалась только одна Дания. Ровно через пять лет, почти день в день, в Данию вступили германские войска.

В следующий раз поезд помчал Пьера Лавалья через всю Европу в Москву. Эррио и Барту подготовили почву для пакта о взаимной помощи между Францией и СССР. Лаваль считал полезным продолжать начатые Барту переговоры. Он был уверен, что этот пакт ничуть не мешает ему торговаться с Гитлером и Муссолини. Как и все вообще внешнеполитические шаги Лавалья, поездка в Москву была тесно связана с его маневрами в области внутренней политики. Дело в том, что соглашение между левыми элементами во Франции приобретало все более широкий размах. Коммунисты, социалисты и радикал-социалисты требовали заключения пакта с СССР, чтобы создать противовес германским и итальянским планам экспансии. Французский генеральный штаб тоже был настроен тогда в пользу франко-советского пакта; высказывалась за него и часть правых политических деятелей. Лаваль рассчитывал, что, подписав пакт, он вырвет почву из-под ног у левых, в частности, у коммунистов, влияние которых, как инициаторов Народного фронта, быстро росло в стране. Он задумал один фокус и не сомневался, что нанесет сокрушительный удар коммунистам. Лаваль собирался выпросить в Москве декларацию, одобряющую усиление французских вооружений. С помощью такой декларации он надеялся разгромить коммунистов на предстоящих муниципальных выборах, в частности в его собственном округе Обервилье, где он был мэром и где растущая волна коммунизма ставила его позиции под угрозу. Но Лаваль перемудрил; его план оказался бумерангом, ударившим впоследствии его самого.

Перед отъездом из Парижа Лаваль постарался всячески заверить Гитлера, что соглашение с СССР ни в коем

случае не исключает франко-германского сближения. Он самым недвусмысленным образом дал понять германскому послу в Париже, что в любой момент готов будет отказаться от пакта с СССР ради широкого и окончательного соглашения с Германией.

Подготовив проект пакта совместно с советским послом в Париже Потемкиным, Лаваль поехал для подписания его в Москву, сопровождаемый целым легионом журналистов.

В то самое время, как Лаваль в беседе с журналистами, составлявшими его свиту, уверял, что Франция искренно стремится поддерживать дружественные отношения с СССР в духе франко-советского пакта, французский посол в Берлине, Франсуа Понсе, имел очередную беседу с Гитлером. Он довольно часто посещал рейхсканцлера, но на сей раз, во время московских переговоров, он особенно добивался приема, чтобы повторить Гитлеру то, что Лаваль доверительно сообщил германскому послу в Париже перед тем, как отправиться в советскую столицу.

На обратном пути из Москвы Лаваль официально представлял французское правительство на похоронах маршала Пилсудского. Здесь он встретился с командующим германским воздушным флотом Герингом. В течение двух часов Лаваль и Геринг беседовали, запершись в номере гостиницы «Европа» в Варшаве.

Геринг встретился еще с одним деятелем во время своего пребывания в Польше. За гробом Пилсудского он шел рядом с маршалом Петэном. Геринг и Петэн встречались уже раз — на похоронах югославского короля Александра. Печать подчеркивала тогда сердечность, с какой отнеслись друг к другу оба участника первой мировой войны. На сей раз после похорон между ними состоялась конфиденциальная беседа. Маршал Петэн вернулся во Францию с убеждением, что франко-советский пакт надо сделать беспредметным.

Вскоре же после возвращения во Францию Лаваль увидел, как его внутривнутриполитические расчеты разлетаются в прах. Муниципальные выборы в Париже дали блистательную победу левым партиям. Особенно большого успеха добились коммунисты, завоевавшие большинство в окружающих Париж пригородах, в индустриальном «красном

поиске» столицы. В Обервилье — округе, где Лаваль был мэром, — коммунисты нанесли поражение его сторонникам, несмотря на энергичную предвыборную кампанию, которой лично руководил сам министр.

Лаваль тотчас же начал воздвигать всяческие препятствия на пути к ратификации франко-советского пакта. Хотя по французской конституции не требуется ратификации таких договоров парламентом, Лаваль настоял, чтобы в данном случае была применена парламентская процедура. В результате окончательная ратификация затянулась до тех пор, пока не ушел сам Лаваль. Он изобретал всевозможные придирки и отговорки, чтобы отложить переговоры между французским и советским генеральными штабами, которые на основании подписанного в Москве соглашения должны были начаться в июне 1935 года. Всякому политическому наблюдателю было совершенно ясно, что французский министр иностранных дел не имеет ни малейшего желания воплощать в жизнь пакт с СССР. Он решил просто приобщить его к своей коллекции клочков бумаги.

В июне 1936 года, после падения кабинета Фландена, Пьер Лаваль возглавил новое правительство, оставив за собой портфель министра иностранных дел. Приблизительно в это же время полковник де ла Рок объявил от имени «Боевых крестов»: «Близок, очень близок день, когда мы возьмем власть в свои руки. Наши самолеты не будут показываться до тех пор, пока не наступит время нанести удар. Этот миг приближается». Через несколько дней после того, как Лаваль вступил в должность премьера, «Боевые кресты» в широком масштабе возобновили свои демонстрации в Париже и в провинции. В Алжире, во французской Северной Африке, в демонстрации участвовали тысячи, а над головами демонстрантов кружили и гудели тридцать самолетов «Боевых крестов».

Левые тоже мобилизовали свои силы. В Париже состоялся первый официальный митинг Народного фронта. Главными ораторами были социалистический лидер Леон Блюм, коммунистический лидер Морис Торез и вновь появившийся на горизонте лидер радикал-социалистов Эдуард Даладье. По своему значению митинг был событием из ряда вон выходящим — он официально освящал соглашение между мелкой буржуазией и рабочим классом о совместных действиях. Обращаясь к переполнившим зал слушателям, Даладье выразил свою благодарность за то,

что он имеет возможность говорить перед рабочими — социалистами и коммунистами. «Как представитель мелкой буржуазии, — восклицал он, — я утверждаю, что средние классы и рабочий класс — естественные союзники». Громовым эхо отозвался по всей стране парижский митинг. По всей Франции были созданы комитеты Народного фронта, взявшиеся за подготовку объединенных демонстраций левых элементов в день национального праздника 14 июля.

В день 14 июля — годовщину взятия Бастилии — Париж увидел самую величественную, воодушевленную и красочную демонстрацию, какую знает новейшая история Франции. Полмиллиона людей шествовали сомкнутыми рядами. Во главе бесконечных колонн шли Даладье, Блюм и Торез. На исторической площади Бастилии лидеры дали горжественную клятву бороться против фашизма и войны за свободу, равенство и братство.

На Елисейских полях демонстрировали тысяч тридцать из организации «Боевых крестов» под охраной плотной стены полицейских, отгораживавших их от колонн Народного фронта. Было ясно: в Париже легионам полковника де ла Рока будет, во всяком случае, мудрено осуществить свои угрозы.

Вскоре после того как Лаваль встал во главе правительства, Муссолини дал ему знать, что он стоит за возобновление пакта четырех держав. Лаваль тотчас же выразил согласие и начал переговоры с германским послом в Париже. Но переговоры были внезапно прерваны политической сенсацией. В июле 1935 года было опубликовано англо-германское морское соглашение.

Это соглашение подорвало престиж Лавалья. Он сделал попытку укрепиться при помощи ряда чрезвычайных декретов. Железнодорожникам, докерам и государственным служащим преподнесли новую урезку заработной платы. В портовых городах Тулоне и Бресте вспыхнули забастовки, которые были подавлены с помощью колониальных войск.

В результате — шестеро убитых и десятка два раненых. Атмосфера, и без того насыщенная электричеством в результате постоянных провокаций со стороны фашистских лиг, сгущалась с каждым днем. Генерал Вейган был восстановлен на действительной службе.



С приближением весны отовсюду поползли слухи о неизбежном столкновении. Малейший инцидент мог повлечь за собой серьезные последствия. Хотя не было никаких сомнений в том, что большинство французского народа настроено против фашистов, Лаваль и пальцем не пошевелил, чтобы прекратить демонстрации, военизированные шествия и пробные мобилизации «Боевых крестов». В этой атмосфере нервного напряжения и беспокойства, предвещавших попытку переворота и уличные бои, Лаваль отправился в Женеву.

Предстояла ассамблея Лиги наций. На горизонте сгустились зловещие грозовые тучи. Муссолини закончил или почти закончил приготовления к завоеванию Абиссинии. Впервые со времени возникновения Лиги наций крупная европейская держава намеревалась совершить акт агрессии против государства, состоящего членом лиги. Выйдет ли лига живой из этого испытания — самого серьезного из всех, какие она знала? Одержит ли верх принцип коллективной безопасности, проповедуемый членами лиги в течение многих лет?

Лаваль сопровождали министр без портфеля Эдуард Эррио и Поль-Бонкур, и тот, и другой — горячие сторонники Лиги наций и коллективной безопасности. Точно сторожевые псы, они не спускали глаз с Лаваль, чтобы он не вздумал поддержать итальянскую агрессию.

Лаваль, по соображениям внутренней политики, собрался занять прямо противоположную позицию. Ожидаемое нашествие на Абиссинию раскололо Францию на два непримиримых лагеря. С одной стороны, был Народный фронт, решительно требовавший отпора агрессии; с другой — французская реакция, выступавшая за соглашение с диктаторами. Французские правые партии шли в поход с воплями, что левые начали идеологическую кампанию, которая неминуемо приведет к войне. Лаваль надеялся, оперируя этим лозунгом, благополучно дожить со своим кабинетом до выборов 1936 года.

Во время этой кампании французские правые партии заняли резко антибританскую позицию. Газеты, известные своими связями с Лавалем, ежедневно открывали ураганный огонь по Великобритании. Их нападки напоминали по ожесточенности дни Фашоды в 1898 году, когда Англия и Франция были на волосок от войны. Фашистский еженедельник «Гренгуар» поместил наделавшую много шума

статью Анри Бери, в которой говорилось: «Англия должна быть низведена на положение раба... Придет день, когда мир будет достаточно силен и мудр, чтобы обратить в рабство тирана, пользующегося репутацией непобедимости. Только согласие между континентальными державами может спасти Европу и с нею весь мир. Кто знает? Быть может, этот день уже близок».

Это писалось в 1935 году. В свете позднейших событий статья Бери приобретает особое значение. А тогда каждое слово в этой статье было оплачено чистым золотом. В течение долгого времени «Гренгуар» регулярно получал субсидии от Муссолини. Один из высших чиновников с Кэ д'Орсэ говорил мне, что во время абиссинского конфликта агенты Муссолини роздали французским газетам и различным фашистским организациям во Франции больше ста тридцати пяти миллионов франков.

Английское министерство иностранных дел ответило на эту антианглийскую кампанию кампанией против Лаваль. Как выразился тогда в телеграмме корреспондент одной из американских газет, «в Уайтхолле утвердилось мнение, что Лаваль сам недалеко ушел от фашизма».

В начале октября итальянские войска вторглись в Абиссинию. Лига наций приняла постановление о ряде санкций против Италии. Лаваль три месяца всячески интриговал и маневрировал против эффективного применения санкций. «Санкции означают войну», — кричали французам руководящие правые газеты. Мишенью особенно бешеных нападок они избрали единственную меру, которая могла изменить ход итало-абиссинской войны, — нефтяные санкции. Как только возобновлялся разговор о нефтяных санкциях, итальянский посол Черутти наносил визит Лавалю. И всякий раз после его визита как бы сами собой распространялись слухи о том, что, по словам Черутти, Италия ответит на применение нефтяных санкций объявлением войны. Лаваль и его газетные прихвостни продолжали этот шантаж угрозой войны до тех пор, пока победа Италии не была окончательно обеспечена.

Левые обвиняли Лаваль в том, что он продал Абиссинию еще во время своей получасовой беседы с Муссолини в Риме. Он упорно отвергал это обвинение. «Ни в состоявшемся соглашении, ни в переговорах, которые предшествовали ему или следовали за ним, не было ничего, что

могло бы поощрить Италию к войне», — сказал он в речи, произнесенной в палате депутатов.

Лаваль отправил даже специального посланца в Рим — просить, чтобы Муссолини снабдил его документальным подтверждением того, что в римских переговорах Франция в его лице не приняла на себя никаких обязательств по абиссинскому вопросу. Письмо от Муссолини не заставило себя долго ждать. Но оно было так неудовлетворительно, что Лаваль не дерзнул опубликовать его.

Правду о римских переговорах раскрыли два ближайших сотрудника Муссолини — маршал де Боно и Роберто Фариначчи. Маршал, который предводительствовал итальянскими войсками в Абиссинии на первой стадии войны, писал в своей книге об абиссинской кампании «Год шестнадцатый»: «Около этого времени (в январе 1935 года) в Риме происходили переговоры с Лавалем, которые дали нам основание рассчитывать, что в случае, если нам придется предпринять операции в Восточной Африке, Франция не будет чинить нам никаких препятствий».

Роберто Фариначчи, бывший генеральный секретарь фашистской партии, заявил в «Лаворо фашиста», что во время как римских, так и стрезских переговоров, Лаваль предоставил Муссолини полную свободу действий в Абиссинии.

Таким образом, лавалевские опровержения имели не больше цены, чем клочок бумаги.

Сенатские выборы в октябре 1935 года показали явный сдвиг влево. Впервые в верхнюю палату Третьей республики вступили два сенатора-коммуниста. В те же самые дни обе конфедерации труда, реформистская и унитарная, слились в одну организацию, насчитывающую полтора миллиона членов. Массы определенно левели. Если правые хотели остановить этот поворот влево, то нельзя было больше терять времени.

31 октября наша газета получила сведения, согласно которым полковник де ла Рок сообщил Лавалю, что его организация закончила приготовления к путчу. На совещании со своими союзниками де ла Рок заявил, что на этот раз ничто его не остановит. Теперь, когда во главе правительства стоит решительный и твердый Лаваль, а не тряпка Думерг, успех переворота обеспечен.

В третий раз за два года Париж был на волосок от жестокого и кровавого мятежа. Найденные впоследствии

документы показывают, что полковник де ла Рок действительно завершил все приготовления, вплоть до мельчайших подробностей. Опираясь на армию и на поддержку Лаваль, он имел очень большие шансы на успех. Враждебные ему массы были невооружены. Он рассчитывал сломить их сопротивление в Париже в течение четырех-пяти дней.

Но ему не пришлось начать бой. В последний момент Лаваль отменил выступление. В первых числах ноября Лаваль провел целую ночь у себя в кабинете, совещаясь со своими ближайшими сподвижниками: делать прыжок в неизвестность или нет? На столе у него лежала кипа донесений со всех концов страны. Эти донесения показывали, что идея Народного фронта прочно утвердилась в среде рабочего класса и значительной части мелкой буржуазии. Генеральная конфедерация труда, а также социалистическая и коммунистическая партии обратились к своим сторонникам с призывом быть готовыми к нападению врага. Ответом на всякую атаку было бы немедленное объявление всеобщей забастовки. При тогдашнем настроении рабочих забастовка, по всей вероятности, была бы полной — на все сто процентов. Имелись также признаки брожения в армии. Большинство офицеров сочувствовало «Боевым крестам» и другим фашистским лигам, но рядовые солдаты были настроены иначе. Их симпатии определялись теми настроениями, которые господствовали у них дома — в их родных городах и деревнях. Это были по большей части сыновья крестьян, а родители твердили им, что экономическая, в частности сельскохозяйственная, политика Лаваль не улучшила, а ухудшила положение в деревне.

Вот почему, несмотря на то, что, по мнению полковника де ла Рока, все преимущества были на его стороне, Лаваль протрубил отбой. Годовщина «дня перемирия» прошла в крайне напряженной атмосфере, но без каких-либо серьезных инцидентов. Фашистские организации проиграли еще один раз.

Считаясь с настроением избирателей, конгресс радикал-социалистов решительно высказался в пользу «мощного сплочения всех сил страны, твердо намеренных преградить путь врагам республики». Казалось, что кабинет Лаваль погиб.

Но его спас сюрприз, преподнесенный Лавалем палате депутатов. Во время горячих дебатов баскский депутат Жан Ибарнегарэ, парламентский представитель «Боевых крестов», выступил с заявлением, что его организация готова разоружиться, если то же самое сделают военизированные организации левых. Этот жест был рассчитан очень удачно. Все ожидали, что Ибарнегарэ набросится на левых с безудержной, яростной бранью. Это была его обычная манера. Вместо того он выступил с совершенно неожиданным предложением о перемирии.

Тотчас же после его речи Леон Блюм от имени социалистов и Морис Торез от имени коммунистов заявили о своем согласии на это предложение. Они действовали без всякой хитрости, без всякой задней мысли. У левых не было никакого оружия и никаких военизированных организаций. Что же касается «Боевых крестов», то они, разумеется, и не подумали сдать свое оружие властям. Но театральный маневр Ибарнегарэ влил новую жизнь в лавалевский кабинет.

Перепалка между Англией и Францией по вопросу об Абиссинии вступила тем временем в новую фазу. Обе державы старались свалить друг на друга ответственность за банкротство Лиги наций. Лондон поставил Лавалю вопрос в упор: может ли английский флот, если он подвергнется нападению в Средиземном море, рассчитывать на помощь французского флота? Ответ Лавалю был «слишком многословным, чтобы его можно было принять за «да». Но в то же время его нельзя было толковать как «нет».

Эта дипломатическая игра закончилась после парламентских выборов в Англии. Лондон обратился к Лавалю с предложением, чтобы обе демократические державы Запада наметили план посредничества с целью прекращения итало-абиссинской войны. Но этот план, по существу, полностью отдавал Абиссинию на произвол Муссолини. Большая часть Абиссинии должна была отойти к Италии, а в остальных районах Италия получала экономические преимущества. Это давало Муссолини возможность проглотить остатки Абиссинии, когда ему заблагорассудится.

План разрабатывался под покровом тайны. Нельзя было разглашать ничего, пока Муссолини не даст письменного согласия, ибо тогда и негусу Хайле Селассие, который

попадет под жесточайшее давление, не останется ничего другого, как принять предложенный план.

Предполагалось опубликовать план только после того, как на него согласятся обе стороны. А тогда, сколько бы ни возмущалось общественное мнение, сделка будет осуществлена.

Хор был до такой степени уверен в успехе, что поехал отдыхать в Швейцарию. Лаваль сидел в Париже, с нетерпением ожидая ответа из Рима.

Но все тщательные расчеты были опрокинуты двумя французскими журналистами. Пертинакс и Женевьева Табуи опубликовали план Хора—Лавалья до ответа Муссолини. Лаваль утверждал, что они получили информацию от одного из высших чиновников французского министерства иностранных дел. В журналистских кругах считали, что секрет сознательно выдал один из собственных министров Лавалья. Ходили также слухи, что Муссолини сам позволил этим сведениям просочиться в печать. Таким путем он хотел отомстить за санкции, которые крайне раздражали его, хотя они и были неэффективными и применялись весьма слабо.

Но так или иначе, опубликованный в газетах план вызвал бурю негодования.

Лаваль покинул палату с улыбкой на устах. Он наскреб жалкое большинство в двадцать голосов. «Ну и хватит, чтобы продержаться до выборов», — сказал он мне в кулуарах.

Но не прошло и месяца, как кабинет Лавалья пал; это было в январе 1936 года. Подчиняясь настроением, охватившим страну, Эррио вышел в отставку. Это решило судьбу правительства Пьера Лавалья.

## ДВА ЭДУАРДА

Кабинет Лавалья был четвертым кабинетом, который Эдуард Эррио взорвал в течение своей политической карьеры.

Во всех четырех Эррио представлял партию радикал-социалистов. Я должен еще раз подчеркнуть, что эта острая партия, сидящая между двух стульев, отнюдь не является ни радикальной, ни социалистической. Подобно самому Эррио, радикализм состарился, скрипит и любит комфорт.

В декабре 1935 года, когда сэр Сэмюэль Хор попал в Англии под жестокий обстрел и вышел в отставку, Эррио сложил с себя обязанности председателя радикал-социалистской партии — пост, который он занимал много лет подряд. Эррио не был особенным поклонником Народного фронта. В последнюю годовщину взятия Бастилии лионские радикал-социалисты не демонстрировали бок о бок с социалистами и коммунистами. Эррио, мэр города Лиона, предпочел, чтобы они держались особняком. А теперь он чувствовал, что настал момент, когда председательский пост в партии должен перейти к Эдуарду Даладье, лидеру того крыла радикал-социалистов, которое тяготело к Народному фронту.

Даладье был учеником Эррио, сначала на школьной скамье, а потом и в политике. Но примерно в 1928 году их пути разошлись. Даладье, снедаемый честолюбием, сбросил с себя опеку: он желал сам сделаться лидером партии. Когда он впервые стал премьером, Эррио отнесся к этому в высшей степени критически.

Соперничество между обоими лидерами оказало большое влияние на судьбу французской радикал-социалистской партии. Начиная с 1933 года, Даладье и Эррио, как правило, занимали противоположные позиции по всем вопросам — шла ли речь о внутренней или о внешней политике. Даладье, вернувшегося после короткого ухода на сцену, февральские беспорядки толкнули влево. Он сделался признанным глашатаем Народного фронта у радикал-социалистов. «В случае тревоги идите налево!» — таков был его лозунг. Впрочем, впоследствии он сделал вольт и круто повернул в обратную сторону. Но тогда налево под влиянием событий пошел Эррио. В течение целого года казалось, что эти два деятеля обменялись политическими плащами.

Критические месяцы, пережитые Францией, показали полнейшую несостоятельность обоих лидеров в момент кризиса. У этих двух людей, столь различных по характеру, по всему их облику и по складу ума, была одна общая роковая черта: безволие. Оба они были радикал-социалистами. И это в конечном счете говорит о них больше, чем самая подробная биография или психологический этюд.

Во внешнем облике двух друзей-врагов едва ли можно найти что-либо общее.

Эррио родился в семье армейского офицера. Но в его

наружности нет ничего, напоминающего солдата. У него массивная голова и массивный живот; глазки маленькие, но взгляд острый и пронизательный. Голос Эррио знает все тембры, регистры и полутона. По ораторскому таланту он не уступает никому из парламентских деятелей новейшей истории Франции. Когда Эррио всходит на трибуну конгресса радикал-социалистской партии, он может заставить слушателей плакать или корчиться от смеха, может зажечь их огнем энтузиазма. В течение пятнадцати лет он в буквальном и переносном смысле, как башня, возвышался над конклавом своих партийных коллег. Он мог повернуть их направо или налево — по своему усмотрению. А когда его красноречие давало осечку, он ошестинивался и угрожал отставкой. Радикал-социалистский конгресс без очередного заявления Эррио об отставке считался скучным. В палате депутатов его прозвали «тенором демократии» — в знак восхищения и сардонической насмешки.

Эррио окончил с высшим отличием «Эколь нормаль», из которой вышли многие представители французской политики и культуры. Он с большим успехом занимался преподавательской деятельностью. Но политика привлекала его с ранних лет, и вскоре он стал своим человеком на политической арене. Задолго до 1914 года он был избран мэром Лиона, третьего по величине города Франции и центра ее шелковой промышленности. Совсем молодым человеком он был избран в сенат. Аристид Бриан взял его в качестве министра общественных работ в свой кабинет, образованный во время мировой войны. После войны Эррио изменил сенату ради палаты депутатов. Победа «левого блока» на выборах 1924 года вознесла его на вершину власти в качестве премьера. Ему пришлось тогда скрестить шпагу с финансовыми магнатами Франции. Они опрокинули его правительство. Он вступил в правительство Пуанкаре, которое сменило его собственный кабинет и приняло резко выраженную правую программу. В 1932 году, после еще более решительной победы блока, состоявшего из его партии и социалистов, он второй раз занял пост премьера. После семи месяцев всяких дрызг его кабинет пал. Приняв участие в министерской комбинации Думерга, он снова поддержал своим авторитетом правительство с явно антилиберальными, антидемократическими тенденциями.

Эррио мерещилась либеральная Европа, сплотившаяся



в Лиге наций вокруг английской и французской демократий. Он надеялся осуществить этот идеал при помощи кампании в пользу разоружения и уступок германской Веймарской республике. Но он прекрасно понимал, какую опасность для Франции представляет рост реакционных и ультранационалистских сил в Германии. Еще тогда, когда Франция была первой военной державой европейского континента и ее экономическая мощь была прочно ограждена от возможных посягательств со стороны соперников, Эррио терзал страх при мысли о падении рождаемости во Франции и о грандиозных военных и промышленных возможностях Германии. Он стремился противопоставить этим опасностям соглашение с СССР и более тесное сближение с США. Он видел Францию в роли стража либеральных принципов в Европе, связанного союзом с Англией и поддерживаемого с флангов потенциальными союзниками в лице СССР и США.

Ради этой концепции — либерализм, разоружение и французская безопасность — Эррио не щадил трудов. Но его сила воли далеко не соответствовала широкому и проникательному уму. При первом же сопротивлении у него опускались руки. Он мог бы пробиться сквозь «золотую стену»; мог бы ослабить петлю плутократии, душившую французскую политическую жизнь.

Его противники не стеснялись пускать против него в ход все, что могло бы восстановить против него общественное мнение. У Эррио нехватало духу ответить тем же: он уступал. Он не решался призвать на помощь внепарламентские силы — рабочий класс Франции и демократически настроенную мелкую буржуазию, стоявшую за его спиной. Он довольствовался словесными обличениями и в страстных филиппиках укорял обладателей золотых мешков в том, что они парализуют действия всякого работоспособного французского правительства. Но вместо того чтобы сражаться с этими своими противниками всеми имеющимися в его распоряжении средствами, он вступал с ними в компромиссы. Он клеймил плутов и взяточников, но чувствовал себя неспособным бороться с злоупотреблениями. Его имя ни разу не было замешано в какой-либо скандал или сомнительную историю. Но сам он брал под свою защиту многих коллег по партии, которые, как ему прекрасно было известно, пользовались депутатским званием для устройства личных дел.

Он твердо верил в коллективную безопасность. Но он хранил молчание, когда руководящие деятели его партии, Даладье и Боннэ, пускали ее ко дну. Он говорил мне, что, по его убеждению, победа республиканского правительства в Испании имеет жизненно важное значение для национальных интересов Франции. В частных разговорах он ожесточенно клеймил политику невмешательства, а в то же время он не отказывал в своем молчаливом благословении кабинетам, проводившим эту политику. Он заложил основание для франко-советского пакта о взаимной помощи. Но когда Даладье и Боннэ превратили пакт в клочок бумаги, он позорно капитулировал перед «реалистами». Были моменты, когда один жест Эррио, одно его слово, простой публичный выкрик против зловещих махинаций «пятой колонны» мог бы повлиять, хотя бы временно, на курс французской политики. Жест оставался несделанным; слово оставалось произнесенным.

Эррио любил, слишком сильно любил легкую привольную жизнь Третьей республики. Литератор и знаток искусства, он писал хорошие книги о Бетховене, о мадам Рекамье, о прекрасном городе Лионе и... о прекрасной французской демократии!

Эррио любит поест, как другие любят выпить. Мне часто казалось, что Эррио в состоянии опьянеть от еды. Он особенно бывал в ударе после изысканной и в то же время обильной трапезы в духе лучших традиций французской кухни. Его речь сверкала тогда, как фейерверк. Он развивал свои планы с непоколебимой авторитетностью и страстным убеждением. Собеседники, как зачарованные, прислушивались к модуляциям его голоса.

В чем была главная беда Эррио? Эррио всегда оставался заядлым пессимистом. Он сказал мне однажды, что не верит в возможность решительного изменения французской политики. Свою собственную слабость он принимал за национальное свойство. Его личное обаяние, авторитет и блестящая культура скрывали за собой пустоту безверия и пессимизма. Он не принадлежал к лагерю «умиротворителей». Он был противником фашизма. Но его колебания, его любовь к комфорту, к легкой жизни, его стремление всегда идти по линии наименьшего сопротивления, его разъедающий пессимизм и, наконец, недостаток мужества в решающие минуты — все это в нема-

лой степени способствовало крушению французской республики. Его прекрасные слова так и оставались словами.

Небольшого роста, коренастый, с бычьей шеей, Эдуард Даладье никогда не принадлежал к числу выдающихся французских ораторов. Ему не дано было зажигать слушателей энтузиазмом, царить на конгрессах и ослеплять парламент фейерверком красноречия. Даладье — аппаратный работник *par excellence*. Эррио проверял и укреплял свое влияние в партии на ее конгрессах; Даладье предпочитал заниматься подготовкой конгрессов. Он всегда благоволил к людям, достаточно честолобивым, чтобы добиваться влияния, и достаточно раболепным, чтобы не соперничать с «патроном». Эррио сам выдвигал деятелей, вроде Даладье и Шотана, которые потом предали его и отняли у него руководство партией; Даладье же поощрял лишь людей смиренного, секретарского типа.

Даладье любил покрасоваться в роли «человека из народа», который добился всего благодаря своим врожденным талантам. Он охотно рассказывал о своей тяжелой юности и о том, как он проложил себе дорогу без всякой поддержки. Он часто называл себя продуктом французской демократии, где «каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл».

Молчаливость и подозрительность Даладье не располагали к общению с ним. Его окружали всегда лишь несколько человек — скорее официальные сотрудники, чем близкие друзья.

Он служил в войсках во время первой мировой войны, служил с отличием и вышел из армии в чине капитана. Когда в 1919 году Даладье был избран в палату депутатов, он специализировался на военных вопросах. Вскоре он сделался главным представителем радикал-социалистской партии в военной комиссии. Когда он стал премьером, он взял также портфель военного министра. Это совмещение поста премьера с другим министерским постом было характерной чертой французской парламентской системы.

Даладье — человек рядовых вкусов и простых привычек, он сам набивает себе папиросы и изредка курит трубку. Он питает особое пристрастие к определенному сорту абсента, так называемому «*pastis*». Это в течение многих

лет давало богатую пищу шутникам и карикатуристам. Возможно, рассказы насчет его злоупотребления абсентом преувеличены, но не подлежит сомнению, что он им увлекается больше, чем следовало бы. Как-то раз, по поручению редакции, я поехал в военное министерство, чтобы получить у Даладье очень срочную и чрезвычайно важную информацию. Один из его секретарей посоветовал мне не настаивать сейчас на приеме: «Напрасно вы не пришли перед аперитивом. После аперитива премьер всегда бывает в очень плохом настроении».

Даладье часто выходил из себя и устраивал бешеные сцены. В таких случаях он бывал невероятно груб со своими сотрудниками. Вместе с тем он никогда не старался публично воздать им должное. Он был человеком настроений, и припадки веселья сменялись у него жестокой хандрой. Подчас он воображал себя сильным человеком, маленьким Наполеоном, а потом вел себя, как жалкий трус.

В каком бы положении вы ни наблюдали Даладье, он всегда производил впечатление безнадежной посредственности. Мне часто приходилось наблюдать его, но я не помню, чтобы когда-нибудь я слышал от него хоть одну меткую фразу, хоть одну формулировку, проникающую в самую суть вопроса.

Даже оруженосцы Даладье называли его посредственностью. Как-то раз мне пришлось завтракать с радикал-социалистским депутатом Альбером Шишери, который во время последнего премьерства Даладье был его «подручным» в палате депутатов. Шишери весьма пренебрежительно отзывался о своем шефе. «Я бы не доверил ему должность управляющего моей фабрикой», — заявил он в присутствии по крайней мере десятка слушателей. Но пост премьерера Франции он ему доверил.

Был также случай, когда несколько депутатов осаждали при мне Даладье, настойчиво указывая ему на результаты национал-социалистской пропаганды во Франции. Они требовали энергичных контрмер. «Хорошо, — сказал Даладье, — я подумаю. Но только вы, господа, преувеличиваете. Французов нельзя одурачить пропагандой. Все это выдумка литературных салонов». Это было типичное суждение провинциала, который терпеть не мог Парижа и никогда не чувствовал себя там, как дома.

Клемансо однажды сказал, что панически боится фи-

листеров, ибо они самые лживые из всех человеческих существ. Эта характеристика вполне подходит к Даладье. Внешне он производил впечатление человека прямого и откровенного, но, вне всяких сомнений, был одним из величайших лицемеров, подвизавшихся на арене французской политики. Именно лицемерие помогло ему сделать карьеру.

Его излюбленным приемом было валить с больной головы на здоровую. Во время войны в Испании Даладье в моем присутствии неоднократно высказывался за поддержку республиканского правительства. Он утверждал, что был бы рад снабжать республиканцев оружием, но ему запрещает это Леон Блюм. А когда он сделался премьером, он тотчас же — это был один из первых актов его правительства — герметически закрыл франко-испанскую границу, так что ничего нельзя было переправить республиканцам.

Я слышал, как Даладье метал громы и молнии против Жоржа Боннэ, которому он в 1938 году дал в своем кабинете портфель министра иностранных дел. Он не раз драматически восклицал, что выгонит его в двадцать четыре часа. Но Боннэ оставался его министром иностранных дел в течение полутора лет.

Даладье называл себя «последним якобинцем». Но у него не было ни огня, ни искренней убежденности якобинцев. Он разглагольствовал о «Франции, последнем прибежище свободы». Но не кто иной, как он способствовал ее поражению. Один из виднейших французских публицистов назвал его однажды «зловещим комедиантом». Это, на мой взгляд, вполне справедливая и точная характеристика Эдуарда Даладье.

## КАБИНЕТ НУЛЕЙ

Политическое поражение Лаваля свидетельствовало о полном провале его иностранной политики. Оно воочию показало разрыв между главой правительства и общественным мнением. Оставленное Лавалем наследство было далеко не завидным. Год назад он заявлял: «На свете существуют пять или шесть человек, от которых зависит дело мира. В их число судьба включила и меня».

Теперь, когда он временно ушел с политической арены,

оставленный им баланс выдавал его с головой. Он оставил за собой груды развалин. Лига наций получила смертельную рану, от которой она уже никогда не оправилась. Коллективная безопасность потерпела крушение. Лаваль надеялся на сближение с Италией и Германией. Вместо этого обе эти державы настолько сблизились между собой, что год спустя после падения Лавалья ось Рим — Берлин была уже свершившимся фактом. Франко-английские отношения были холодней, чем когда бы то ни было. Франко-советские отношения, такие многообещающие год назад, тоже в значительной мере потускнели и увяли.

Когда Лаваль скрылся со сцены, его политические противники сочли этот уход окончательным. Однако ему суждено было еще вернуться. Потребовался длительный срок, чтобы история произнесла свой окончательный приговор.

Вред, причиненный Лавалем, мог быть исправлен только сильным правительством. Лаваль был человеком без принципов, без моральных устоев, лишенным понимания исторической ситуации. На смену ему должен был прийти истинно демократический деятель, глубоко принципиальный, с тонким знанием сил и возможностей Франции, изучивший ее нужды и достаточно энергичный, чтобы претворить свои убеждения в действия. Но человек, выдвинутый президентом Лебреном в руководители кабинета, был пресловутый старый боевой конь радикал-социалистской партии — Альбер Сарро. Он сформировал центристский кабинет, состоявший в большей своей части из нулей.

Все, и в том числе Сарро, знали, что его кабинет был лишь временным выходом из положения, затычкой, то есть как раз наименее подходящим типом правительства для переживаемого Францией момента. Новый министр иностранных дел, Пьер-Этьен Фланден, начал с заявления, что он вполне солидарен с Лавалем в абиссинском вопросе. Сарро и Фланден — в переживаемый страной критический момент!

Как только кабинет приступил к работе, стало выясняться, что Гитлер намерен оккупировать Рейнскую область. Эта пограничная с Францией область, согласно Версальскому договору и Локарнскому пакту, была объявлена демилитаризованной зоной.

На заседании совета сразу же обнаружилось, сколько в кабинете Сарро засело «лавалистов». Их лидером был че-

ловек мрачного нрава, «неосоциалист» Марсель Деа, который, совместно с Адриеном Марке и тридцатью другими депутатами, покинул ряды социалистической партии, выбросив лозунг борьбы за «порядок, власть и нацию». Деа решительно заявил, что вопрос о ремилитаризации Рейнской области не стоит крови хотя бы одного французского солдата, тем более, что эта область, в конце концов, принадлежит Германии. Кроме того, он восстал против предложения Сарро — ускорить бесконечно оттягиваемую парламентом ратификацию франко-советского пакта.

Агенты Гитлера, открыто циркулировавшие по Парижу, — пресловутый Отто Абетц нанес длительный визит французской столице зимой 1936 года, — получали от завсегдатаев гостиных и националистских политиканов постоянные заверения в том, что Франция не будет противиться ремилитаризации Рейнской области. Французские гости в Берлине подтверждали это. Один из наших корреспондентов в Берлине сообщил мне, что некий французский депутат на завтраке во французском посольстве, в присутствии высоких лиц с Вильгельмштрассе, заявил, что война не популярна во Франции и что нынешнее правительство не сможет поднять общественное мнение Франции против ремилитаризации Рейнской области.

Французский посол Франсуа Понсе со своей стороны давно подготовлял почву для специальной договоренности в вопросе о ремилитаризации. В этом смысле он не раз высказывался в Берлине. Принимая во внимание эти факты, Гитлер не имел оснований опасаться серьезных последствий предпринятого им шага.

Крайняя правая пресса, заранее стремясь воспрепятствовать Сарро ратифицировать франко-советский пакт, повела против этого яростную кампанию. Генерал Луазо, посетивший советские военные маневры осенью 1935 года, докладывал французскому генеральному штабу: «Я считаю Красную Армию первой в мире по танковым войскам». Но правая пресса кричала, что Красная Армия слабо оснащена технически, что это, в лучшем случае, армия оборонная, не имеющая значения для Франции в случае германского вторжения.

В палате депутатов ораторы правых партий, не щадя доводов и сил, отчаянно боролись против ратификации пакта. Вождем противников пакта был Жак Дорио, изгнанный из рядов партии коммунист, перебежавший в

лагерь фашистов. За сценой ревностно орудовал Пьер Лаваль.

Франко-советское соглашение было ратифицировано в палате 353 голосами против 164.

7 марта 1936 года германские войска вступили в Рейнскую область. Версальскому договору был нанесен второй удар.

На заседании совета министров Жорж Мандель потребовал мобилизации. Деа, Фланден и большинство министров возражали ему. Окончательным решением было — потребовать созыва сессии Совета Лиги наций и совещания держав, гарантирующих Локарнский договор.

В тот же вечер Сарро произнес решительную речь: «Я не собираюсь начинать переговоры, пока Страсбург находится в сфере действия германских орудий», — сказал он. После этого он пригласил к себе трех министров обороны и главнокомандующих армией, флотом и воздушными силами. Все они, кроме военного министра Поль-Бонкура, высказались против мобилизации. Единственным принятым решением было усилить гарнизоны линии Мажино несколькими полками колониальных войск. Громовая речь Сарро оказалась очередной декларацией, оставшейся без последствий.

Конференция локарнских держав не дала никаких результатов.

Та же судьба постигла совещание Лиги наций, происходившее в Лондоне.

По возвращении в Париж Фланден нашел у себя на столе статью из «Кандида», еженедельника фашистского направления. В ней было сказано: «23 января т. г. мы предупреждали, что ратификация франко-советских отношений автоматически повлечет за собой оккупацию левого берега Рейна. Но вы помешались на франко-советском пакте. Последние три месяца вы пытались потопить Италию. Вы выставляли Муссолини каким-то вырожденком. Вы провоцировали революцию в его стране. Вы подлец! Убийца! Убийца!»

Скоро стало ясно, что Гитлер намерен закрепить свою победу на Рейне. 21 марта был открыт знаменитый Коричневый дом на улице Рокепен в Париже и почти сейчас же он сделался штаб-квартирой фашистского шпионажа во Франции. Подрывная деятельность «пятой колонны» была в полном разгаре.



В апреле генерал Гамелен был направлен в Лондон для совместной консультации с английским генеральным штабом. Встреча не дала никаких результатов, если не считать утверждения генерала, что Франция, под надежным прикрытием линии Мажино, выдержит любую атаку Германии. Однако многие государственные деятели и военные эксперты Европы не разделяли мнения генерала Гамелена. Один из наиболее осведомленных иностранных корреспондентов телеграфировал своей газете: «Никогда еще, со времени окончания франко-прусской войны, Европа не имела так мало доверия к способности Франции отстоять себя».

Таково было положение в стране к моменту выборов. Народ, давно жаждавший покончить с реакцией, отдал свои симпатии Народному фронту и обеспечил ему блестящую победу.

Народный фронт получил 5 500 000 голосов (в том числе 1 900 000 за социалистов, 1 500 000 за коммунистов, свыше 1 400 000 за радикал-социалистов). 4 300 000 голосов было подано за партии правых и центра. В палате Народный фронт был представлен 375 депутатами из общего числа 618.

Движение Народного фронта пронеслось над страной как освежающее дыхание ветра после невыносимо долгого периода гнета и застоя. Народ, измученный до последних пределов, испытывавший на себе снижение заработной платы, падение цен на сельскохозяйственные продукты и рост безработицы (до трех миллионов человек) из-за ничем не оправданной политики дефляции правительств Думерга и Лавала, приветствовал перемену.

В момент, когда Народный фронт впервые пришел к власти, Франция, ослабленная политической борьбой последних лет, запуганная реакционными политиками, которые ничего не предпринимали, чтобы остановить рост фашизма и разрядить атмосферу, — Франция была на пороге гражданской войны. Народный фронт был первым в истории Франции объединением различных партий, которые пришли к выборам с четкой, решительной программой.

Он требовал свободы печати, охраны мира, реорганизации государственных финансов, всеобщей амнистии, ра-

зоружения фашистских организаций и тесного сотрудничества государств, входящих в Лигу наций, чтобы усилить санкции против стран-агрессоров. Леон Блюм характеризовал свою политику как «разоруженный мир». Программа предусматривала запрещение частной торговли оружием. Что касается Французского банка, то он должен был быть реорганизован в государственный банк.

Как и следовало ожидать, победа Народного фронта посеяла панику в лагере реакционеров. Они не могли примириться с тем, что в состав коалиции входило большое количество коммунистов, и с тем, что их традиционные привилегии будут урезаны. Появились признаки паники. Как армия после ужасного разгрома, капиталисты беспорядочно бежали из Франции.

Но у Леона Блюма отсутствовало как раз то качество, которого требовала острота момента. Ему не хватало той решительности и мужества, которые обеспечили бы успех его программе. Его врожденная мягкотелость всегда подводила его в решительный момент, когда малейший признак слабости мог посеять панику. Несмотря на то, что он прекрасно знал, насколько опасны реакционные группы, он медлил целый месяц, вместо того чтобы сразу взять власть в свои руки.

В народе, который приветствовал победу Народного фронта, немедленно началось брожение. Распространились слухи, что к маю фашистские организации, при поддержке армии и с молчаливого согласия президента республики, готовят решительный удар. Падение Аддис-Абебы усилило волнение. Это был такой момент, когда Блюм, обладая он той предприимчивостью, какой от него требовали обстоятельства, мог бы быстро захватить власть и провести в жизнь намеченные им реформы. Этим он сразу успокоил бы сторонников Народного фронта.

Вместо этого он произносил речи. Он выступал в Американском клубе в Париже и на специальном конгрессе социалистической партии. И постоянным лейтмотивом его выступлений было — терпение. Он призывал к терпению ударившиеся в панику «200 семейств». Он требовал того же от избирателей Народного фронта, которые хотели видеть наглядные доказательства его намерений провести основные реформы. И, что хуже всего, он обходил абиссинский вопрос, который в данный момент делил Францию на два лагеря.

Парижская биржа начала понемногу успокаиваться, зато волновался народ. Росли подозрения, что реакционеры саботируют формирование правительства Блюма в расчете на фашистский переворот. По всей стране прокатилась волна забастовок, переходивших в занятие предприятий рабочими.

В начале июня прекратили работу фабрики, крупные торговые фирмы, универмаги, типографий и частные пароходства. Но вместе с тем, даже в самый острый момент стачек, коммунальное обслуживание шло нормально.

Забастовки породили множество толков и злостных слухов; пресса искажала истинное положение дел. Я ежедневно, часто в компании британских и американских коллег, обходил фабрики и магазины, где бастовали продавщицы. Мы ни разу не могли пожаловаться на грубость или насилие. Покупателей встречали у дверей магазина с приветливой улыбкой, предлагая принять участие в пожертвованиях. Стаечный комитет строго следил за тем, чтобы не было допущено никакого нарушения порядка. Бастующие имели вид беззаботных солдат после одержанной победы или накануне битвы, в исходе которой они уверены.

4 июня в забастовке принимало участие до 800 тысяч человек. Наконец к вечеру этого дня было сформировано первое правительство Народного фронта с Леоном Блюмом во главе.

## НАРОДНЫЙ ФРОНТ В ДЕЙСТВИИ

Председатель палаты Эдуард Эррио опустил молоток:  
— Слово имеет председатель совета министров!

На трибуну поднялся Леон Блюм, чтобы зачитать правительственную декларацию. Это было 6 июня 1936 года.

Фигура Блюма, должно быть, пробуждала в депутатах множество воспоминаний и размышлений. Они видели его не впервые. Его седые волосы, продолговатое лицо в очках и обвисшие моржовые усы, тощая сутулая фигура и жилистые руки, которыми он, как цепями, взмахивал во время речи, — все это было для многих членов парламента привычным зрелищем. Они довольно часто слышали тонкий, девический, как кто-то назвал его, голос Блюма. Они знали его извилистую, запутанную ар-

гумантацию, его пристрастие к *mot juste*<sup>1</sup>, все его слабости и достоинства.

Леону Блюму было шестьдесят четыре года, когда он стал французским премьером. Он вступил на политическую арену в сравнительно позднем возрасте. По словам одного из старых друзей Блюма, семья прочила его в писатели или адвокаты. Но никто не предсказывал ему политической карьеры.

Сын богатого еврейского торговца шелком и лентами, молодой Леон не обнаруживал большого интереса к занятиям отца. Он получил среднее образование, после чего кончил курс в «Эколь нормаль» — этом питомнике стольких будущих государственных деятелей Франции, в том числе и Эдуарда Эррио.

Еще в юности Леон Блюм обнаружил страсть к театру. Много лет подряд он писал статьи о театре для одного из самых снобистских изданий во Франции — «Ревю Бланш». Он сотрудничал также в «Матэн» и позже в «Комедия» — одном из ведущих театральных журналов. Он был своим человеком и на театральной премьере, и в элегантной толпе любителей скачек в Лонгшане.

Блюм был в свое время видной фигурой так называемого «розового десятилетия» в литературной и художественной жизни Франции. Он написал смелую книгу о браке, тонкий критический анализ романов Стендаля и бесчисленное количество статей об остроумцах и денди девяностых годов.

Юрист по образованию, он поступил на гражданскую службу. Здесь он достиг самого высокого положения: он стал советником Верховного суда Франции по делам, относящимся к конституции.

Ученый библиотекарь «Эколь нормаль», профессор Люсьен Герр, впервые познакомил Блюма с идеями социализма. Он же свел его с Жаном Жоресом. Более десяти лет Леон Блюм провел в тени этого великого трибуна.

Когда Жорес основал газету «Юманите», Блюм стал одним из ее сотрудников. Но он не покинул искусства. Он остался верен привычкам своей юности. Он сохранил свою склонность к изысканному, свою любовь к утончен-

---

<sup>1</sup> Отточенные обороты речи.

ному, характерную для «элиты». Он был хорошим фехтовальщиком и последний раз дрался на дуэли в 1912 году.

Жан Жорес заплатил жизнью за свою борьбу против войны. В первый день мировой войны, в августе 1914 года, он был убит озверелым фанатиком из роялистской «Аксион франсез». Во время этой войны Блюм добился первых реальных успехов в своей политической деятельности. Он стал начальником канцелярии Марселя Самба — социалистического министра общественных работ в кабинете «национального единения». С тех пор каждый миг его жизни принадлежал политике.

В 1919 году Блюм был избран членом парламента. Через два года он возглавил группу социалистов, отколовшуюся от партии на Турском съезде, большинство которого высказалось за принятие коммунистической платформы. Вместе с меньшинством Блюм покинул заседание. Вскоре после этого он стал лидером реорганизованной социалистической партии и редактором ее официального органа «Попюлер».

Тайна блюмовского влияния в социалистической партии заключалась в его «стратегии синтеза». Когда разные группы внутри социалистической партии скрещивали шпаги, отстаивая противоположные, иногда, казалось бы, непримиримые, предложения, Леон Блюм всегда находил формулу, приемлемую для обоих споривших лагерей. Но здесь таилась и слабость Блюма. Стоило совещанию кончиться, как каждая группа тут же возвращалась к своей, особой, точке зрения. Синтез выручал на совещании, но никогда не уничтожал до конца разногласий, приводивших социалистическую партию к частым расколам и делавших ее неспособной к действию.

Левое крыло партии симпатизировало коммунистам, а правыми руководил Поль Фор, который в вопросах международной политики в основном разделял взгляды Лаваля, Фландена и Боннэ.

Склонность к компромиссу — преобладающая черта в характере Блюма. Может быть, она проистекает у него из необходимости синтезировать влечения, сохранившиеся от юности, с политической деятельностью зрелого возраста. Между личными вкусами Блюма и его общественными обязанностями всегда оставался разрыв.

Движение Народного фронта возникло не из стремления партий к компромиссу, а из активного желания масс

добиться перемен в политике. Леон Блюм, призванный стать носителем этого чувства масс, казался удрученным и, как показывают некоторые его речи, даже напуганным этой миссией. Он предпочитал дебаты на высокие темы в привычной обстановке зала заседаний и не любил накаленной атмосферы больших митингов. Очень редко возникало у него ощущение органической связи с массами, которыми он руководил. В его отношении к простому народу была какая-то отчужденность, даже бессознательное высокомерие.

Успех правительства Народного фронта зависел от того, удастся ли ему сохранить тесный контакт не только со своими парламентскими сторонниками, но также — и в особенности — со своими избирателями. Министерство Народного фронта не было простой парламентской комбинацией, подобной тем, которые имели место в прошлом. Оно могло расширить свои завоевания и защищать их от неизбежных нападений только в том случае, если правительство имело твердую поддержку не только своих парламентских представителей, но также и всей массы избирателей за пределами парламента. Это было «министерство масс». Утеря связи с избирателями делала его уязвимым. Тогда, подобно своим предшественникам, оно становилось игрушкой парламентских комбинаций и теряло устойчивость. Долг Блюма заключался в том, чтобы поддерживать этот контакт, это обоюдное взаимодействие, которое одно только могло обеспечить его правительству и Народному фронту успех. В этом он потерпел большую неудачу. Как мы увидим, он в самом начале войны в Испании порвал с большой группой своих избирателей. С этого момента он потерял способность согласовывать волю народа с волей правительства. Через год после падения кабинета Блюма все, что дал стране Народный фронт, было фактически упразднено. В основном это было вызвано отрывом правительства Леона Блюма от его избирателей.

Сформированный Блюмом кабинет состоял из социалистов и радикал-социалистов. Эдуард Даладье занял пост заместителя премьера и военного министра. Неожиданностью явилось новое назначение на Кэ д'Орсэ: министром иностранных дел стал новый человек — Ивон Дельбос. Он принимал в свое время активное участие в борьбе против иностранной политики Лавалья. Журналист,

он выдвинулся в радикал-социалистской прессе, а позже в парламенте. Он специализировался на внешних сношениях и занимал в нескольких кабинетах второстепенные посты. В период кабинета Лавалья он приобрел репутацию пламенного поборника коллективной безопасности. Однако, замкнутый, боязливый, колеблющийся, Ивон Дельбос был лишен энергии, необходимой для того, чтобы возвести новое здание иностранной политики на развалинах, оставшихся после Лавалья и Фландена. Вместо того чтобы смело возглавить новый курс в международной политике Франции, Дельбос робко следовал направлению, взятому его собственной партией и ведущему назад, на путь Лавалья.

Под давлением многочисленных стачек, сопровождавшихся занятием предприятий рабочими, парламент спешно провел ряд предложенных правительством Блюма реформ. За два с половиной месяца законодательной сессии было принято 65 законопроектов. Были введены 40-часовая неделя и оплачиваемые отпуска; коллективные договоры стали обязательными. Возраст, в котором детям разрешается прекращать посещение школы, был увеличен до 14 лет. Была декретирована национализация военной промышленности. Правление Французского банка было реорганизовано. Над представителями «200 семейств» был поставлен генеральный совет, состоящий из директора, двух вице-директоров и двадцати советников, в состав которых девять человек назначались правительством, шесть избирались из списка лиц, выдвинутых профсоюзами, крестьянскими группами, торговыми палатами, кооперативными обществами, ремесленными объединениями и коммерческими организациями; один член совета назначался Национальным экономическим советом и лишь двое избирались персоналом банка и двое — владельцами акций. Сенат внес в законопроект только две незначительные поправки. Когда он стал законом, печать Народного фронта приветствовала его как крупную победу. В состав генерального совета банка был введен руководитель Всеобщей конфедерации труда Леон Жуо, человек с солидным брюшком и тщательно подстриженной бородкой клинышком. Один старожил из числа служащих банка позже признавался: «Сперва у меня мурашки по спине забегали,

когда я в первый раз увидел, что Жуо входит в зал заседаний Французского банка. Но потом мы отлично работали», — прибавил он, подмигнув.

По другому законопроекту распускались вооруженные лиги. На основании этого закона министр внутренних дел Роже Салангро, — старый социалист и мэр города Лилля, — объявил о роспуске «Боевых крестов» и нескольких других групп. Однако это не остановило деятельности фашистских организаций. Полковник де ла Рок переименовал свою лигу во «Французскую социальную партию». Под этим невинным названием она продолжала ту же линию, что и запрещенные «Боевые кресты». Закон привел к простой перемене вывески — и только. Несмотря на требование со стороны некоторых членов его партии, премьер отказался прекратить деятельность нового детища де ла Рока. Последователи де ла Рока продолжали маршировать по улицам Парижа, выкрикивая угрозы по адресу Народного фронта. В кабинете премьера Блюма, в особняке Матиньон, было подписано первое типовое соглашение между профсоюзами и организацией нанимателей. Оно предусматривало повышение заработной платы для рабочих и служащих в среднем приблизительно на двенадцать процентов и включало признание их надлежащим образом выбранных комитетов на местах. Жуо приветствовал «матиньонское соглашение» «как начало новой эры».

В самом деле, своим социальным законодательством правительство Народного фронта превращало Францию, которая была в этом отношении одной из самых отсталых стран, в одну из самых передовых. Особым новшеством была должность помощника министра по вопросам спорта и отдыха, который устроил спортивные площадки и обеспечил приблизительно пятистам тысячам рабочим удешевленный проезд по железным дорогам. Прекрасные летние французские курорты — на Ривьере, Ламанше, в Пиренеях, в Бретани — наполнились рабочими и работницами с заводов и из учреждений. В большинстве своем они в первый раз в жизни покидали свой город, чтобы воспользоваться оплаченным отпуском и посетить какое-нибудь достопримечательное место во Франции.

Эти решительные социальные реформы вызвали огромный энтузиазм. Но первая же декларация кабинета по внешней политике ошеломила многих его сторонников.



Министр иностранных дел Дельбос производил впечатление какой-то растерянности. Во время борьбы против Лавалля Дельбос произнес блестящую речь по вопросу об абиссинской политике правительства. Выступая в первый раз в качестве министра иностранных дел, Дельбос заявил: «Франция была бы рада, если бы усилия Италии можно было привести в гармонию с нашими собственными». Перейдя к Германии, он сказал, что Франция «не имеет намерения сомневаться в словах человека, который в течение четырех лет переживал ужасы войны». Человек, в слове которого Дельбос не сомневался, был Адольф Гитлер.

От министра иностранных дел Народного фронта, пришедшего к власти в борьбе против национального и международного фашизма, это было поистине странно слышать. Один из сотрудников Блюма пытался осветить положение группе журналистов. Он объяснил, что Блюму, как социалисту и еврею, приходится соблюдать в вопросах внешней политики двойную осторожность, и поэтому он договорился с Дельбосом о сдержанной, миролюбивой редакции заявления. «Это понравится англичанам, — сказал он в заключение, — и безусловно произведет хорошее впечатление на итальянцев, которые не питают нежных чувств к Германии».

Краеугольным камнем международной политики Блюма была франко-английская дружба. Она была осью его дипломатии. Он считал, что только самое тесное сотрудничество Франции и Англии может хоть отчасти восстановить престиж, утраченный Лигой наций. Но ради этого сотрудничества он готов был подходить в лайковых перчатках к агрессорам и третировать Советскую Россию. Бесспорно одно: при Блюме отношения между Францией и СССР не испытали какого-либо заметного улучшения. Генеральные штабы обеих стран так и не вступили в переговоры, хотя русские не раз просили об этом. Так франко-советский пакт оказался беспредметным и лишенным почти всего своего значения.

В этом году празднование годовщины взятия Бастилии проходило по всей Франции с большим подъемом. За год до этого три главы коалиции — Эдуард Даладье, Леон Блюм и Морис Торез — шли впереди демонстрантов в

качестве вождей оппозиции правительству Лавалья. Теперь двое из них стояли во главе кабинета, а третий руководил партией, представленной в палате семьюдесятью двумя депутатами. Праздник 14 июля обещал превратиться в огромное всенародное торжество по случаю народной победы. Количество демонстрантов, по разным подсчетам, колебалось от 500 до 700 тысяч человек. Блюм и Торез опять шли в первых рядах процессии. Даладье, сумрачный и строптивый, отсутствовал. Но это была последняя объединенная демонстрация, в которой принимал участие Леон Блюм.

Я не видел этой демонстрации. Мой редактор получил сведения из дипломатических источников, что в Испании ожидается военный мятеж. Меня командировали в Мадрид. В день демонстрации в Париже я был принят испанским премьер-министром Кирога. Я спросил его о наводнивших Мадрид тревожных слухах, согласно которым генералы в ближайшие дни собираются поднять оружие против республиканского правительства. Кирога не видел в этом ничего серьезного. «Уверяю вас, — отвечал он, глядя мне прямо в глаза, — армия лояльна. До тех пор, пока конституция уважается, ждать чего-нибудь плохого от армии не приходится. От всей души приглашаю вас проехать по Испании. Поглядите сами».

Через четыре дня генерал Франко, при поддержке национал-социалистской Германии и фашистской Италии, поднял восстание. Оно потрясло не только Испанию, но и всю Европу.

Есть старая испанская пословица: «Мир дрожит, когда шевелится Испания». Она оказалась пророческой.

За неделю до этого Австрия и Германия заключили соглашение, по которому национал-социалисты гарантировали независимость Австрии. Если эта «гарантия» не предвещала в будущем ничего доброго для Австрии, то она показывала, как далеко ушло вперед взаимопонимание между Италией и Германией. Одного этого соглашения было бы достаточно, чтобы рассеять иллюзии, питаемые даже искренними антифашистами в Париже, относительно того, будто Италия вернется к Стрезе. Люди не замечали того факта, что, каковы бы ни были личные чувства Муссолини, он оставался связанным с Гитлером общностью

судьбы. А поскольку диктаторы ставят свои собственные интересы выше всего, раньше или позже Муссолини должен был выступить совместно с Гитлером.

За день до начала войны в Испании произошел «холодный» национал-социалистский путч в Данциге. 17 июля национал-социалистская партия стала тоталитарным хозяином вольного города. «Кто владеет Данцигом, — заметил однажды Фридрих Великий, — тот имеет больше веса в Польше, чем сам польский король». Но загадочный министр иностранных дел Польши, полковник Бек, хранил невозмутимое молчание.

Мятеж генерала Франко поставил правительство Блюма в трудное и сложное положение. Его внешняя политика подверглась первому серьезному испытанию. В течение долгих десятилетий франко-испанская граница считалась безопасной. Принадлежащие Испании Балеарские острова господствовали над коммуникациями между метрополией и ее северо-африканскими владениями. Национальные интересы Франции недвусмысленно требовали, чтобы ни одной чужеземной силе не было позволено влиять на испанское правительство, не говоря уже о том, чтобы господствовать над ним. Испанский кабинет опирался на Народный фронт, который одержал решительную победу на выборах в феврале 1936 года. Сношения мятежных испанских генералов с национал-социалистскими и итальянскими фашистами давно были секретом полишинеля. Кэ д'Орсэ располагал сведениями о том, что генерал Санхурхо, которому внезапная смерть при воздушной катастрофе помешала принять командование над мятежниками, зимой и весной 1936 года был в Берлине. Он закупал там оружие и получал советы. Стратегические соображения и демократические принципы в равной мере требовали, чтобы Франция оказала поддержку дружественному демократическому правительству, избранному на основе конституции и ставшему жертвой фашистского заговора.

Первые выстрелы в Испании отдались во Франции грохочущим эхом. Общественное мнение было наэлектризовано. Сторонники Народного фронта немедленно же высказались в пользу защитников испанского республиканского правительства, правые партии стали на сторону генерала Франко. Реакционные органы «Жур» и «Гренгуар» рисовали самые чудовищные картины воображаемых жестокостей, якобы совершаемых сторонниками республики. Гене-

рал же Франко изображался рыцарем в лучезарных доспехах, светлым избавителем цивилизации от безбожной кровожадной черни. Для французских правых ничего не значило, что во время мировой войны испанские генералы, высокие прелаты и крупные дельцы поддерживали Германию и Австро-Венгрию, в то время как левые в Испании держали сторону Франции и даже дрались за нее. Для «Жур», «Гренгуар» и их друзей сброд оставался сбродом, даже если он был профранцузским.

Блюм спешно отправился в Лондон.

Опубликованное после окончания переговоров коммюнике, по выражению одного французского депутата, произвело впечатление «упавшего с луны». Оно неясно упоминало о планах относительно новой локарнской конференции, заявляя, что «если бы на этой встрече локарнских держав мог быть сделан какой-то шаг вперед, то можно было бы перейти к обсуждению других, связанных с миром в Европе вопросов».

Уж не начиналась ли снова эра беспочвенных деклараций и «клочков бумаги»? Не собиралось ли правительство Народного фронта повторять внешнеполитическую игру своих предшественников?

Было похоже на это. Меры, предпринятые французскими министрами по возвращении из Лондона, были направлены отчетливо в эту сторону.

Пока министр иностранных дел Дельбос коллекционировал уверения итальянского и германского правительств в том, что они воздержатся от вмешательства в испанскую борьбу, пять итальянских военных самолетов, на своем пути к генералу Франко, сделали вынужденную посадку на французской территории в Северной Африке. Германский самолет, принявший мадридский аэродром за пункт, занятый франкистами, приземлился на нем во время полета к мятежному генералу. Он попал в руки сторонников испанского правительства.

Между тем правая пресса начала обвинять правительство Блюма в секретной отправке оружия и самолетов правительству Испании. Главной мишенью нападок был молодой министр авиации Пьер Кот. «Пьер Кот — убийца! Пьер Кот — торговец войной!» «Cot — la guerre!» — визжали газеты. Единственным ответом кабинета Блюма было невнятное заявление, что никакого оружия мадридским властям не передается. И в самом деле, после отправки

нескольких самолетов, организованной Пьером Котом, поставка оружия республиканскому правительству Испании прекратилась.

Во много раз превосходя Франко численностью людского состава, милиция Испанской республики была вынуждена отступать перед фашистскими колоннами из-за недостатка оружия, снаряжения и подготовленных, опытных командиров. Первые сообщения из Испании нарисовали картину того, что происходило в деревнях и городах, захваченных войсками Франко. Стала известной резня в Бадахосе, где мятежники убили две тысячи человек гражданского населения. Поднялся вопль негодования. Казалось, по всему Парижу громкоговорители кричат: «Оружия для Испании! Самолетов для Испании!»

Возмущение и крики были напрасны. Самолеты и оружие текли из Германии и Италии в лагерь Франко. Испанская республика была покинута, оставлена демократическими странами на произвол судьбы. По мнению специалистов, в тогдашней обстановке пятьдесят самолетов могли бы расстроить планы Франко. Сам он рассчитывал на быструю победу и был сильно встревожен.

Напрасно испанское правительство требовало выполнения заказов на самолеты и оружие, размещенных во Франции еще до начала гражданской войны. 8 августа правительство Блюма официально запретило вывоз самолетов и вооружения в Испанию. В коммюнике сообщалось, что французский совет министров обратился к некоторым другим правительствам с предложением договориться об аналогичной линии поведения, и добавлялось, что полученные до сих пор ответы позволяют надеяться на скорое соглашение с Германией и Италией по этому вопросу. Политика «невмешательства» появилась на свет!

Вскоре после заседания кабинета, на котором были приняты эти решения, я встретил одного министра-социалиста. Он был в ужасе. «Это конец! — сказал он. — Запомните хорошенько эту дату. Это, в сущности, падение кабинета Блюма. Да, я знаю, внешне он попрежнему у власти. Но то правительство Блюма, которое мы знали, — оно перестало существовать. Когда мы пришли к власти, для Франции началась новая эра. Сегодня она кончилась. Мы возвращаемся к старому».

В то время эта нервная вспышка показалась мне преувеличенной. Но последующие события доказали, что мой

собеседник был прав. Вот вкратце то, что он сообщил мне о заседании кабинета и что позже было подтверждено многими другими источниками.

Дельбос изложил совету министров свой план политики невмешательства. По этому плану, Германия, Италия, Франция и Англия должны были взять на себя обязательство «игнорировать» гражданскую войну в Испании и запретить экспорт всех видов оружия для обеих сторон. Он заявил, что итальянские и германские правительства обнаружили готовность принять этот план.

Тут поднялась буря. Большинство кабинета высказалось против плана. Блюм был вынужден вмешаться в спор, пустив в ход свой авторитет премьера. Дельбос притрозил своей отставкой, если его предложение не будет принято. Его целиком поддержали два министра-социалиста — черствый; сардонический Поль Фор и Шарль Спинас, возглавлявший министерство народного хозяйства. Они доказывали, что всякая другая позиция вовлечет Францию в войну.

Прямолинейный Пьер Кот выступил от той группы членов кабинета, которая требовала поддержки республиканского правительства Испании. Он обрисовал стратегическую опасность, которая возникнет для Франции, если Испания будет покорена франкистами.

Заседание трижды прерывалось. Президент Лебрен, который поддерживал план Дельбоса, выступил посредником и в конце концов убедил Пьера Кота и его сторонников уступить «перед лицом реальности». В течение всего словесного сражения Даладье почти не раскрывал рта.

Решение кабинета было принято при полной осведомленности о широкой национал-социалистской и фашистской интервенции в Испании. Относительно планов Гитлера и Муссолини сомнений быть не могло. Их замыслы были общеизвестны. О них с достаточной ясностью говорили многочисленные статьи и книги, появившиеся в Германии и Италии, где всякая публикация находится под строжайшим контролем цензуры; при этом очень много внимания уделялось стратегическому значению Балеарских островов, испанского сектора Средиземного моря и испанских портов в Атлантическом океане. Особенно исчерпывающе немецкие военные журналисты освещали испанскую проблему в течение последних шести месяцев. Что же касается Леона Блюма, то разве он перед этим не заявлял в многочисленных речах, что невозможно полагаться на слова

диктаторов? Разве он и его правительство не обещали противодействовать прямой и косвенной агрессии? Вступив на роковой путь невмешательства, они не могли ссылаться на собственную неосведомленность в замыслах диктаторов.

Позже, в беседе с одним испанским министром, Леон Блюм старался разъяснить, почему он не мог проводить другой политики в испанском вопросе. Он сослался на тот факт, что гражданская война в Испании привела к резкому политическому размежеванию во Франции. Левые — представители Народного фронта — были пламенными сторонниками республиканцев; правые — «200 семейств», фашистские группы, «избранное общество» парижских салонов и часть армии — были столь же горячими сторонниками Франко.

Это правда, что война в Испании расколола всю Европу на два непримиримых лагеря. Но черту, отделявшую правых от левых, нельзя было снести лживыми компромиссами. Об этом говорил опыт. Никогда левые не были так объединены, а правые так обескуражены, как в первые недели существования правительства Народного фронта. Когда началась гражданская война в Испании, Блюма поддерживала единая сплоченная масса. Народ только что восторженно приветствовал социальные реформы; народ высказывал полную решимость защищать внешнюю политику, основанную на сопротивлении агрессорам. Блюму невозможно было выдумать такую внешнюю политику, которая удовлетворяла бы и правых и левых. Такой политики не могло быть. Но он мог вести линию, отвечающую чувствам французского Народного фронта и, тем самым, национальным интересам Франции. И в этом случае он оказал бы помощь дружественному правительству и потенциальному союзнику. Не было ни одного шанса объединить правых и левых. Но был страшный риск, что политика невмешательства подорвет и расчленил Народный фронт, что она внесет смятение в его ряды и непоправимо их расколет. В форме монолитной массы Народный фронт мог держаться в течение многих лет; разъединенный, он должен был быстро пасть жертвой происков правых. Реакционеры сидели в засаде и глазами хищников следили, когда Народный фронт обнаружит первые признаки слабости.

Стремясь к национальному единству в испанском вопросе, Блюм гнался за призраком, одновременно забывая

о прочной реальности Народного фронта. Он тянулся за тенью и пренебрегал сущностью. Его блок держался общностью надежд и идеалов. Кто хотел напасть на Францию, тот должен был сначала разрушить это препятствие. Гитлеровская опасность была одним из тех элементов, которые цементировали Народный фронт. Если чем можно было ослабить дух этого объединения, так только действиями — или бездействием — его вождей. Политика невмешательства противоречила основным стратегическим интересам Французской республики. Но еще более разрушительна она была по своим последствиям для фронта самих масс, которые одни только были способны помешать осуществлению агрессивных замыслов фашизма.

В соглашении о невмешательстве не содержалось ни одной из колоритных черт мюнхенского пакта, который должен был появиться на свет через два года. Но его драматическая значительность и трагические последствия для судеб Франции были не менее ужасны, чем последствия Мюнхена. Оно отличалось все той же характерной особенностью: несправедливой выдачей демократической страны на милость диктатора. Политика уступок объяснялась и оправдывалась — как это было и позже, в Мюнхене — соображениями необходимости сохранить мир.

Сторонникам тоталитаризма из Рима и Берлина, в момент подписания соглашения о невмешательстве, приписывались мирные намерения и верность договорам, точно так же, как это делалось и после Мюнхена. Без этого пакта о невмешательстве — который на деле санкционировал интервенцию в Испании — было бы невозможным и торжество Гитлера в Чехословакии. Из Испании прямая дорога вела в Мюнхен.

Реакционные газеты и правые партии шумно приветствовали решение кабинета Блюма. Еще больше радовали их доходившие до них сведения о закулисной стороне дела. Лидеры правых увидели воочию, что социалистическая партия — самая большая партия во Франции — стоит перед глубоким расколом, так же, как это не раз бывало с радикал-социалистами, когда они брали бразды правления в свои руки. Правые понимали, что «реальные» требования правительственной практики уже производят свое действие на Блюма. С этого дня они могли смелее вести против него борьбу. Им удалось вбить клин в руководство Народным фронтом.



Потребовалось некоторое время для того, чтобы расколоть и более широкие массы. В августе 1936 года подавляющее большинство социалистов и значительная часть радикалов присоединились к руководимой коммунистами кампании помощи Испанской республики. Решение правительства было воспринято народом как предательский удар в спину. Народ инстинктивно чувствовал, что борьба по ту сторону Пиренеев была борьбой против врага, подобного его собственному. «Нейтралитет» по отношению к сторонникам правительства в Испании казался народу в высшей степени нечестным, невероятно ошибочным. Многие, особенно социалисты, довольно долго считали, что предложение о невмешательстве со стороны Блюма — лишь уловка: он хочет удержать немцев и итальянцев от посылки вооружения Франко, а между тем сам собираются быстро и щедро снабдить республиканцев оружием, необходимым для подавления мятежа.

Правительство долгое время держалось — или, по крайней мере, уверяло, что держится — того мнения, что итальянцы и немцы строго соблюдают условия соглашения. Если это была иллюзия, то иллюзия трагическая.

Делегация испанских республиканцев явилась к Блюму с просьбой о помощи. Блюм ответил, что «вся имеющаяся информация говорит о прекращении национал-социалистами и фашистами посылки оружия Франко». После этого премьер заплакал. Госпожа Блюм прервала беседу, гневно воскликнув: «Какое право вы имеете так волновать моего мужа!»

Представителям профсоюза французских рабочих-металлистов Блюм сказал: «За кого вы меня принимаете? Мои усилия добиться нейтралитета и невмешательства в дела Испании только начали давать плоды. Неужели же вы ждете, что я поверну свою политику вспять?»

В сентябре, на партийном митинге в парижском Луна-парке, Блюм публично высказал то, что ранее говорил каждой делегации в отдельности. Он заявил перед большой массой слушателей: «Насколько я знаю, нет ни одного доказательства, ни одного наглядного факта, который говорил бы, что соглашение о невмешательстве, после его подписания, кем-либо нарушалось».

Эти слова были сказаны 16 сентября 1936 года. В то же самое время группа английских парламентариев, ездивших в Испанию, привезла к себе на родину осязательное

доказательство — в виде неразорвавшихся немецких и итальянских бомб — того, что римско-берлинская интервенция продолжается. Французская разведка имела в своем распоряжении список рейсов германских и итальянских судов, доставивших Франко оружие в период с 1 по 12 сентября, в то самое время, когда Блюм делал свое заявление. Но слова премьера не могли не произвести глубокого впечатления на известную часть его последователей. Если Леон Блюм гарантирует, что делу республиканцев не причиняется несправедливости, — они готовы были поверить этому. Многие из них к тому же были сильно взволнованы другой частью заявления Блюма, где речь шла о военной опасности. По его уверениям, эта опасность, в случае помощи со стороны Франции республиканскому правительству, должна была возрасти. Он чрезвычайно красноречиво описывал ужасы войны, апеллируя к глубоко укоренившимся мирным симпатиям французских масс.

Он вовсе не был в этом оригинален. До него Лаваль действовал так же. Инспирированная Лавалем пресса кричала: «Санкции — это война!» В те времена Блюм настаивал на том, что сопротивление агрессорам и коллективная безопасность означает сохранение мира. А теперь он сам прибег к аргументации Лавалья. Правда, при помощи этого тезиса он толкнул часть своих последователей в лагерь сторонников невмешательства. В этом смысле он имел успех. Зато теперь трещина, разделившая Народный фронт, лишила его первоначальной силы. В то время как правые, за немногими исключениями, были по этому вопросу единодушны, левые раскололись. Коммунисты, профсоюзы, а также часть социалистов и радикалов требовали помощи правительству Испании; другие социалисты и радикалы были против. И эта трещина чем дальше, тем больше углублялась, пока, наконец, давление реакционеров не привело к тому, что разногласия превратились в полный разрыв. Политика невмешательства была для Народного фронта началом конца.

Она имела также последствия в области внешней политики. Румынский министр иностранных дел Николай Титулеску, блестящий государственный деятель с лицом химеры, был сторонником коллективной безопасности и тесного сотрудничества Румынии с Францией и Советской Россией. В июне он предложил Блюму во время их пребывания в Женеве расширить Малую Антанту, превратив ее в

военный союз группы входящих в нее стран с Францией и Советским Союзом. В августе Пьер Кот был послан на юг Франции для того, чтобы обсудить это предложение с Титулеску. В конце концов предложения Титулеску были французским правительством отвергнуты. 31 августа он был без всяких церемоний уволен в отставку румынским королем Каролом, который начал затем проводить свою политику «сближения» с Берлином и Римом.

Точно так же отвергнуты были предложения турецкого правительства, напуганного итальянским захватом Абиссинии. Турки хотели в той или иной форме участвовать в франко-советском пакте. Равным образом были отклонены и предложения советского правительства, сделанные еще до соглашения о невмешательстве. Русские были готовы обсудить пути и способы помощи республиканской Испании и договориться о необходимых мероприятиях на тот случай, если оказание помощи Испании привело бы к всеобщему конфликту.

В Бельгии политика невмешательства заставила правительство сделать заявление, что оно намерено денонсировать франко-бельгийский союз. Осенью 1936 года встревоженный бельгийский король Леопольд отказался от Локкарнского соглашения, по которому Бельгия была обязана оказать помощь Франции в случае, если последняя подвергнется нападению. Он заявил, что его страна возвращается в состояние «абсолютного нейтралитета». Уже в течение многих месяцев поступали сведения, что влияние национал-социалистов как на королевский двор, так и среди наиболее видных политических деятелей Бельгии усиливается. Бельгийский нейтралитет односторонне гарантировался Францией и Великобританией. Рейхсканцлер Гитлер дал бельгийскому монарху новую «гарантию», которая, по выражению одного французского депутата в комиссии по иностранным делам, «смаживала на смертный приговор».

Среди смятения, охватившего Францию в связи с войной в Испании, в Париж впервые со времен Второй империи приехал с визитом германский министр. Гитлеровский маг и волшебник по экономической части доктор Яльмар Шахт был принят Леоном Блюмом в тот самый день, когда фюрер удвоил срок военной службы в Германии. Разумеется, тяжеломерно церемонный германский министр поспешил объяснить, что эта мера направлена не против

Франции, а против большевистской опасности. Впоследствии Блюм сообщил, что первыми его словами, обращенными к Шахту, были: «Вы знаете, что я еврей и что я несогласен с антисемитскими мероприятиями в Германии. А теперь мы можем приступить к беседе». Это сообщение интересно тем, что показывает, как Блюм представлял себе фашизм. Он, наверно, думал, что такой «разговор начистоту» подготовит почву для взаимных объяснений. Как будто доктор Шахт приехал для откровенных объяснений!

По пятам за доктором Шахтом в Париж явился преемник Пилсудского, — художник, ставший воином, — маршал Рыдз-Смиглы. Он приехал отдать визит генералу Гамелену, который ездил в Польшу с целью установить, в какой степени она подготовлена к войне. По своем возвращении Гамелен доверительно говорил своим коллегам, что он крайне разочарован и огорчен состоянием польской армии и, как он выразился, «нелепыми стратегическими представлениями польского генерального штаба». Маршал Рыдз-Смиглы был награжден французским военным займом не больше, не меньше, как в сто миллионов долларов.

Осенью французские правые партии перешли в контратаку по всему фронту. Уже в самом начале, вотируя внесенные правительством Блюма законы, члены сената с трудом скрывали свою враждебность. Теперь они больше не находили нужным стесняться. Раскол в рядах Народного фронта ускорил новое нападение руководящих коммерческих групп на курс франка. Возобновилось в огромных размерах бегство капиталов из Франции. Финансовое положение правительства стало непрочным. Блюм решился на внезапный маневр — девальвацию франка.

После бессонной ночи, которую министр финансов Ориоль провел у телефона в переговорах с Лондоном и Вашингтоном, девальвация была объявлена. Она была связана с так называемым тройственным валютным соглашением между Францией, Великобританией и Соединенными Штатами.

Но достаточно было правительству Блюма присоединить к девальвации законопроект, вводивший скользящую шкалу заработной платы, чтобы Блюм получил против себя в сенате подавляющее большинство голосов. Это было первое крупное поражение, которое правительство потер-

пело от реакционеров и которое свидетельствовало о том, что за четыре месяца положение кабинета Блюма значительно пошатнулось. Это поражение содействовало, кроме того, обострению разногласий внутри Народного фронта, поскольку коммунисты и большая часть профсоюзов возражали против девальвации франка.

Очередной съезд радикал-социалистов уже отчетливо показал, что внутри партии имеются значительные силы, готовые взорвать Народный фронт. Самая шумная группа возглавлялась двумя друзьями Жоржа Боннэ — Эмилем Рошем и Пьером Домиником, редакторами газеты «Репюблик». На съезде, происходившем в нескольких милях от испанской границы в живописном курортном городке Биаррице, многие делегаты требовали открытого разрыва с коммунистами в связи с их позицией в испанском вопросе. Этого удалось избежать лишь с большим трудом. Правая пресса ликовала.

Между Биаррицем и франко-испанской границей курсирует трамвай. Пограничный город Хендей и город Ирун на испанской территории соединены мостом. Когда радикалы съезжались в Биарриц, над Ируном уже развевался флаг Франко. Мятежники вступили в этот город в сентябре. Республиканские отряды, израсходовав последние патроны, отступили по Интернациональному мосту во Францию. Войдя в Хендей, они увидели у вокзала шесть грузовиков с испанским военным снаряжением. Оно было послано защитникам Ируна из Каталонии через французскую территорию законным испанским правительством. Французское правительство задержало эти боевые припасы чуть ли не на расстоянии полета камня от осажденного, истерзанного города.

Газетная война вокруг Испании была прервана на несколько дней. Печать посвятила первые страницы самоубийству французского министра внутренних дел, Роже Салангро.

Имя Салангро было связано с декретом о роспуске фашистских лиг. Этого фашисты не могли простить; Салангро должна была постигнуть жестокая кара. Фашистский еженедельник «Гренгуар» открыл кампанию травли против социалиста — министра внутренних дел, обвиняя его в том, что он будто бы дезертировал на сторону вра-

га во время мировой войны. Газета утверждала, что может доказать это, что у нее есть свидетельские показания шести солдат, служивших вместе с Салангро. Мало того, Салангро обвинялся в еще более страшном преступлении: в выдаче военных тайн германскому командованию. Данные об этом якобы находятся в распоряжении германского правительства.

Клеветническая кампания велась с неслыханным озлоблением не только в «Гренгуар», но и в некоторых других реакционных газетах.

Дело разбиралось в палате депутатов. Салангро был оправдан подавляющим большинством. Генерал Гамелен присоединился к защитникам Салангро — он даже клятвенно заверил, что министр внутренних дел не дезертировал.

Я встретил Салангро вскоре после заседания парламента. Я поздравил его. Но он не принял моих поздравлений.

— Я конченный человек, — пробормотал он. — Этих подлых негодяев не остановишь. Их надо проучить...

— Как проучить? — спросил я.

— Вот об этом я как раз и думаю.

Через два дня он покончил с собой.

Смерть Роже Салангро произвела в стране тяжелое впечатление. Министр, член правительства, которое всего несколько месяцев тому назад пришло к власти в результате победы Народного фронта, такой человек не сумел найти защиты от реакционеров, которые считались побежденными. Всем было ясно, что самоубийство оказалось для Салангро единственным способом прекратить клеветническую кампанию фашистской газетки. Значит, эта газетка была более могущественна, чем правительство Народного фронта.

Палатой был принят закон, карающий за клевету. Но распространение клеветы не прекратилось. «Гренгуар» продолжала свою кампанию. Не было ни одного видного сторонника Народного фронта во Франции, который не подвергался бы неслыханным оскорблениям и нападкам по тому или иному поводу. «Гренгуар» оперировала материалами все тех же архивов бывшего префекта полиции Кьяппа, — его зять был владельцем этого гнусного листка, финансируемого итальянским фашизмом. Фантазия ее издателей была неистощимой. Во Франции не было более гряз-

ной газетки, которая причинила бы столько вреда французской демократии.

Макс Дормуа, верный помощник Блюма, сменил Салангро на посту министра внутренних дел.

Пока Лига наций занималась регистрацией призывов о помощи испанского республиканского правительства, произошло рождение оси Рим — Берлин.

19 октября граф Чиано, министр иностранных дел Италии и зять дуче, приехал в Берлин. Его сопровождала его жена Эдда, любимая дочь Муссолини. Насколько можно было выяснить, достигнутое соглашение касалось общей политики обеих стран в Испании, их согласованной позиции в отношении Лиги наций и общей тактики на Балканах, стремящейся подорвать положение Франции и Великобритании в этой части Европы. Были сделаны дальнейшие предложения для координации национал-социалистской и фашистской иностранной пропаганды и обмена дипломатической и внешней информацией, касающейся России и западных демократий; целью Чиано и Гитлера было изолировать Францию, причем Берлин и Рим надеялись, что эта изоляция окажется полной, когда Франция будет иметь своим соседом франкистскую Испанию. Если такое окружение станет действительностью, Франции ничего не останется, как итти в ногу с фашистами или быть раздавленной.

Секретное сообщение, полученное вскоре после этого на Кэ д'Орсэ, содержало не только сведения об этом соглашении, но также и детали, касающиеся денежной сделки, заключенной, по всем данным, между графом Чиано и маршалом Герингом. В донесении со всей ответственностью утверждалось, что граф Чиано, имевший много долгов, получил подарок в несколько миллионов марок. Эти сведения два года спустя подтверждены были одним католическим журналистом после его визита в Ватикан. Новых подтверждений этого факта больше уже не появлялось. Характерно, что сообщения эти проникли во французскую прессу только после вступления Италии в войну.

Вскоре после возвращения Чиано в Рим Муссолини произнес в Милане речь, во время которой он впервые употребил выражение «ось Рим — Берлин». Сообщение об этом событии усиленно распространялось итальянским бюро пропаганды. Значение его было подчеркнуто присут-

ствием большого количества высших германских чиновников, одетых в форму, на трибуне, предназначенной для высоких гостей. В своей речи Муссолини называл национал-социалистскую Германию «великой нацией, которая за последнее время привлекла к себе горячие симпатии итальянского народа». Он заявил, что берлинское соглашение охватывает «специфические проблемы, часть которых приобрела особую остроту». Подразумевал ли он только Испанию, или также и Австрию? Повидимому, заключая соглашение, Муссолини уже изменил свое решение об Австрии. Он обратил свои взоры исключительно на бассейн Средиземного моря, мечтая о захватах в Африке и на Балканах и об укреплении своего положения в Испании. Теперь, в свете последующих событий, становится понятным, что эти две державы оси уже точно наметили вчерне сферы своих интересов, если не в пакте, то, по крайней мере, в джентльменском соглашении, если это выражение уместно в применении к ним.

В октябре советский делегат, посол Майский, сделал заявление, что его правительство считает себя связанным пактом о невмешательстве не в большей мере, чем другие державы.

Франко наступал на Мадрид, плохо снаряженная народная армия была вынуждена отступать. Французские правые с уверенностью ожидали быстрого окончания войны в Испании после предполагаемого падения Мадрида. Победа Франко! Какой это будет удар для французского Народного фронта! 7 ноября 1936 года большинство реакционных французских газет напечатали восторженное описание вступления генерала Франко в Мадрид. Поток профранкистской литературы наводнил Францию; большая часть этой литературы была выпущена так называемым «Антикоминтерновским бюро» в Женеве, организованным несколько лет перед этим национал-социалистами. Гитлер и Муссолини признали бургосское правительство как единственное правительство, представляющее Испанию, надеясь тем самым ускорить победу, которую они считали вполне обеспеченной. Так нетерпенье рождает заблуждение!

Восторженные репортажи о победе мятежников под Мадридом пришли в столкновение с трезвой действительностью. Продвижение войск Франко было приостановлено у ворот Мадрида несколькими тысячами человек испанской



народной армии и добровольцами-интернационалистами при поддержке русских самолетов и танков. Одному предприимчивому французскому журналисту уже рисовался Франко, вступающий в Мадрид на белом коне. Это было почти за два с половиной года до того, как франкистская армия на деле проникла в город.

В конце 1936 года кабинет Блюма был на волосок от падения. Во время дебатов по испанскому вопросу коммунисты отказались поддержать политику правительства и воздержались от восторга доверия. Блюм огласил решение правительства предоставить державам оси действовать по их усмотрению. Он цитировал Меттерниха: «Я никогда не посылал ультиматума, не имея за собой достаточных вооруженных сил». В то время, когда он произносил эти слова, большие отряды германских войск уже были на пути в Испанию.

Новый год начался неожиданной вспышкой французской энергии, которая погасла так же быстро, как и возникла. Пока Ивон Дельбос был в отпуску, заместитель министра иностранных дел Пьер Вьено получил сообщение, что германские войска в количестве 6 тысяч высадились в Кадиксе в Испании. Они должны были быть переброшены через несколько дней в Испанское Марокко, граничащее с Французским Марокко.

После совещания с премьером и генеральным штабом (чи секретные агенты подтвердили сообщение) заместитель министра вызвал к себе представителей французской дипломатической прессы. Он огласил эти сведения и предложил опубликовать их с очень решительными редакционными комментариями. В то же самое время французскому посланнику в Берлине было приказано сделать энергичный демарш германскому правительству, заявив, что Франция не потерпит присутствия германских войск в Марокко.

Перед такой твердостью французов Гитлер отступил. Германские войска были направлены обратно в Испанию.

В объединенном коммюнике, подписанном Гитлером и французским послом, сообщалось, что никакой отправки германских войск в Марокко не предполагалось. Таким образом Гитлер сохранил видимость правоты и в то же время заставил Вьено отречься от своих слов. Немедленно вся реакционная пресса обвинила Вьено в намерении

втянуть Францию в войну с Германией, для того чтобы спасти кровавый большевистский режим в Испании. Это была первая большая кампания правых против «fausses nouvelles»<sup>1</sup>. С этого времени ко всякой нежелательной для реакционеров статье левой прессы приклеивали ярлык «ложные сведения». Посол Франции Понсе, доверенное лицо Комитэ де Форж, несомненно не упустил из виду и этой стороны дела, когда он составлял свое коммюнике. Для него самая мысль о существовании министра иностранных дел правительства Народного фронта, даже такого слабого, как Дельбос, была невыносимой.

За исключением эпизода с Марокко 1937 год прошел без всяких сенсаций для французской иностранной политики. Война нервов, с маленькими острыми ежедневными уколами, шла своим ходом. Гитлер ждал окончания испанской войны или, по крайней мере, решительной победы Франко как прелюдии к своему окончательному торжеству. Но неожиданно героическая защита Мадрида привела к тому, что борьба в Испании затянулась дольше, чем это предвидели державы оси. Два месяца тому назад желанный исход казался уже так близок, а теперь не видно было конца войне.

Главной мишенью атак правых в следующем году были Народный фронт и франко-советский пакт о ненападении.

Стратегия французских реакционеров заключалась в том, чтобы разбить коалицию социалистов с радикал-социалистами, а затем отделить социалистов от коммунистов. Правые в этот период считали еще преждевременным создание «национального правительства» во главе с Думергом и Лавалем. Время еще не созрело для выставления на показ перед французским народом таких людей, как Лаваль. Появление дискредитированных, обесчещенных и презираемых людей перед судом общества укрепило бы все более распадающийся Народный фронт. Вместо этого правые предпочитали сначала провести «чистый» радикал-социалистский кабинет.

Подобное правительство, порвав с социалистами, стало бы зависеть от поддержки правых и сделалось бы их пленником, в то же время являя видимость левого кабинета.

---

<sup>1</sup> Ложные сведения.

Этим и объясняется перемена отношения реакционных групп к Даладье и Шотану, которых всего год тому назад правая пресса величала убийцами и предателями.

В самом начале 1937 года начался второй отлив капиталов из страны. На этот раз он принял скандальные размеры: миллиард франков в день.

Столкнувшись с такой жестокой атакой «200 семейств», правительство Блюма должно было выбирать между контратакой и умиротворением. В первом случае пришлось бы вступить на путь принятия закона против «бегства капиталов». Такие мероприятия назлектризовали бы страну; они могли бы пробудить силы национального фронта от летаргического сна и собрать их снова вокруг правительства. Контроль биржи — иными словами, запрещение покупки и продажи иностранной валюты без правительственного разрешения — был бы основным моментом такого законодательства. В более молодые годы Блюм отстаивал такие мероприятия. Но сейчас, под давлением высших французских финансовых кругов и лондонского Сити, он избрал путь умиротворения. В феврале 1937 года он объявил с трибуны парламента о необходимости «паузы» — передышки. Никаких новых социальных или финансовых законов! Никаких расширений бюджета! В этой части осуществление программы Народного фронта должно было быть отложено до лучших времен.

Надежды правительства Блюма сосредоточивались в это время на Парижской международной выставке, которая должна была открыться в мае. В начале марта один министр объяснял мне, что парижская выставка поможет правительству пережить начавшийся 1937 год без особых затруднений. Ожидалось огромное количество посетителей — это означало бы не только большой прилив золота, но и повышение национального престижа Франции за границей. Национал-социалистская агентура в Европе и Америке изображала на страницах своих газет Францию Народного фронта как страну, идущую к гибели, погрязшую в беспорядке, внутренних разногласиях и хаосе. Выставка покажет иностранцам картину упорядоченной и спокойной Франции. Париж, — заключил он, — снова займет свое доминирующее культурное положение в Европе.

Но прежде чем открылась выставка, правительству Блюма пришлось столкнуться с «инцидентом в Клиши».

В Клиши, промышленном предместье Парижа, управля-

емом социалистическим мэром, толпа народа устроила контрдемонстрацию против собрания «Боевых крестов», которое было разрешено министром внутренних дел. Полиция, охранявшая собрание, открыла огонь по рабочим, убив шесть человек и ранив несколько сот. В списке жертв оказался Андре Блюмель, личный секретарь премьера, который помчался в Клиши, как только услышал о беспорядках. Блюм и Дормуа посетили место инцидента позднее — по возвращении с какого-то гала-концерта.

Расследование обнаружило, что не было никакого основания открывать огонь по демонстрации, которая проходила вполне организованно. Расстрел был явно преднамеренным шагом, имевшим целью создать новые и серьезные затруднения для правительства Блюма. Парижская левая печать требовала сурового наказания виновных. В речи, произнесенной в палате, Блюм гарантировал «самое тщательное и беспощадное расследование». Но результаты следствия так и не были нигде оглашены.

Незаконченная, со многими еще не достроенными павильонами, парижская выставка официально открылась в мае. Она производила незабываемое впечатление.

Казалось, французская культура, прежде чем покинуть свой престол, стремится показать миру последнюю и неизгладимую картину своей гениальности и величия. Здания выставки были размещены на узком пространстве вдоль реки Сены; но ограниченная площадь была использована с таким умением, что перед вами открывалась огромная, казавшаяся бесконечной, панорама многоцветных сооружений, представлявших весь современный мир. По вечерам море огней заливало территорию выставки, привлекая миллионы посетителей. Большая часть выставки была посвящена французским провинциям, продукция которых была представлена со вкусом и гордостью. Для иностранного посетителя, блуждающего среди французских павильонов, они должны были служить символом культуры и мощности Франции.

Но, увы, успех этого зрелища не остановил развития политических событий. В июне несколько банкиров собрались в задней комнате Лярю, знаменитого ресторана у церкви Мадлен. Почетным гостем у них был Жозеф Кайо, председатель финансовой комиссии сената. Несколько дней спустя началось новое бегство капиталов. Французская валюта снова оказалась в опасности. Учетная ставка Фран-

цузского банка подскочила с четырех до шести процентов. Было очевидно, что приближался последний штурм правительства.

Блюм пытался остановить лавину; он потребовал у палаты права издания чрезвычайных декретов. Правда, сам он всегда боролся против подобных требований своих предшественников. Однажды во время прений по аналогичному поводу он даже вскричал: «Уж лучше король, чем правительство с чрезвычайными полномочиями!»

Из 375 депутатов, составлявших правительственную коалицию, 346 голосовали за предоставление правительству права издать чрезвычайные декреты. Оппозиция собрала только 247 голосов. Но это было не все — сокрушительный удар исходил от сената.

Кайо только и ждал этого момента. Честолюбивый, заносчивый, мстительный, он не забыл, что год тому назад сенат должен был капитулировать перед энергичным выступлением народных масс. Он знал также, что никогда не будет больше занимать высоких постов в правительстве. Но если он не мог быть главным лицом в правительстве, то он хотел, по крайней мере, быть его палачом.

С неизменным моноклем в глазу, подчеркивая свое презрение нарочито-развязной позой и резкой интонацией голоса, Кайо в своей речи в сенате отчитал премьера, забросав его оскорблениями. «Я не могу, — говорил он, издеваясь, — голосовать за вотум доверия правительству. Оно недостойно этого. Я не знаю, кто сейчас возглавляет Францию, совет министров или — правительство масс». Он даже не был уверен, желает ли правительство придерживаться своей парламентской платформы.

Лаваль, слушая, решил, что для него пришло время прервать свое длительное молчание, и присоединился к Кайо.

Кабинет Блюма потерпел поражение в сенате, получив в пользу законопроекта лишь 72 голоса из 260.

Это еще не означало обязательной отставки кабинета. По французской конституции, законопроекты, прошедшие три раза в палате, становились законом даже при несогласии сената. Блюм мог вернуться в палату и вынудить сенат капитулировать. Он все еще имел решающее большинство в палате. Если бы Блюм сделал такой шаг, то с влиянием сената на французскую политику и его ролью тормоза в решениях палаты было бы покончено раз и навсегда.

Блюм должен был принять в эти часы чрезвычайно ответственное решение. Он находился в том же положении, в каком оказался Даладье после беспорядков на площади Согласия. Непреклонная позиция сената была новой демонстрацией все тех же мятежных элементов. Но Леон Блюм последовал примеру Эдуарда Даладье. Он ушел в отставку.

Официально отставка Блюма была объяснена тем, что он хотел на время снять со своей партии бремя правительственной ответственности. «Я готов, — говорил Блюм, — на время уступить роль первой скрипки радикалам, чтобы после этой передышки наше возвращение было еще более мощным».

Но два года спустя Блюм сделал драгоценное признание: «Не финансовые затруднения победили нас, — заявил он, — и даже не голосование сената. Ничто бы нас не свергло, если бы не было у нас ощущения, что рабочий класс не идет больше с нами».

### ШОТАН: ИНТЕРМЕДИЯ

За 10 месяцев, прошедших после отставки Леона Блюма, сменилось четыре кабинета министров. Во главе двух из них стоял мастер парламентского маневра, человек с лицом кобальда — Камиль Шотан. Он сменил Блюма на посту премьера. Новшеством в его кабинете было возвращение Жоржа Боннэ на пост министра финансов. Желая избавиться от этого опасного противника, Блюм во время своего пребывания у власти назначил его послом в Соединенные штаты. Теперь Боннэ и его супруга с триумфом возвращались во Францию, строя грандиозные планы на будущее.

В правительстве Шотана Блюм занял пост вице-премьера, Даладье получил портфель военного министра, а Ивон Дельбос — министра иностранных дел. Опять тасовалась та же колода карт!

Во время шотановской интермедии французская демократия вернулась на свою проторенную колею. Никаких новых реформ не намечалось, не проявлялась инициатива и в области внешней политики. Диктаторы лихорадочно готовились к тем выступлениям, которым суждено было наложить свой отпечаток на весь предстоящий год. А между тем Камиль Шотан продолжал жить в мире мелочных инт-

риг и ничтожных парламентских комбинаций, разрабатывая свои эфемерные мероприятия, обреченные на более чем короткую жизнь.

Шотановская интермедия была для Франции периодом затишья, когда спала волна всеобщего напряжения. Но не так обстояло дело за пределами Франции.

В том же сентябре стены здания союза французских предпринимателей, расположенного вблизи Елисейских полей, были разрушены взрывом. Наконец-то обнаружился тот «коммунистический заговор», то «преступление Народного фронта», которого с таким нетерпением дожидались правые! В прессе развернулась яростная, непревзойденная по своей ожесточенности кампания против Народного фронта в целом и против коммунистов в частности. Национал-социалистские газеты поддерживали ее с особым удовлетворением. Казалось, все готово для нанесения последнего удара силам левого лагеря.

У правых был тщательно разработанный план фашистского переворота: сначала серия взрывов и покушений; затем провоцирование столкновений во время октябрьских провинциальных выборов; вслед за этим беспорядки и антисемитские эксцессы во французских владениях в Северной Африке. Примерно к середине ноября предполагалось распустить слух о предстоящем коммунистическом перевороте. Наконец в декабре, когда напряжение дойдет до предела, появится на арене «Комитет тайного революционного действия» (сокращенно CSAR). Он-то и должен будет разогнать правительство и заменить его диктаторской хунтой.

Вначале события развивались точно по намеченному плану. Но вдруг произошел один из тех сюрпризов, которыми всегда была богата политическая жизнь Франции. Как это ни странно, о подготовке фашистского переворота сигнализировал правительству не кто иной, как... полковник де ла Рок, руководитель «Боевых крестов».

За истекший год его организация значительно укрепилась и выросла во всей стране за счет других правых партий. В политических кругах предсказывали, что ближайшие выборы принесут де ла Року около ста мест в палате и выдвинут его на роль политического лидера правых. Но, будучи в гораздо большей мере воякой, чем политиком, человек грубый и бесцеремонный в обращении, полковник де ла Рок, слывший в «порядочном обществе»

«хулиганом», ухитрился восстановить против себя целый ряд влиятельных лиц. Бывшего премьера Тардые он обозвал политическим трупом; он обливал руганью Пьера-Этьена Фландена; он не скупился на оскорбления по адресу многих правых депутатов. Де ла Рок приобрел одну из крупнейших парижских газет «Пти журнал» с тиражом в несколько сот тысяч экземпляров. Разумеется, в глазах других реакционных газет это был нелойальный шаг. Они поспешили примкнуть к лагерю противников де ла Рока. Владельцы и редакторы газет «Жур», «Матэн», «Журналь» и «Пти паризьен» образовали мощную фалангу для борьбы с не в меру ретивым полковником, позволявшим себе легкомысленно третировать настоящих хозяев страны. По всему Парижу шли слухи о том, что деньги на покупку «Пти журнал» — круглая сумма в 9 миллионов франков — были получены де ла Роком от Пьера Лавала, считавшего его организацию наиболее крупной и дисциплинированной из всех могущих быть пущенными в ход против Народного фронта.

Первым в этой домашней свалке между реакционерами выступил против де ла Рока герцог Поццо ди Борго, корсиканец, свирепо жаждавший власти. Он опубликовал статью, в которой утверждал, что полковник де ла Рок в течение ряда лет получал субсидии из секретных фондов министерства иностранных дел. Де ла Рок возбудил против Поццо ди Борго уголовное преследование за клевету. Но на суде это обвинение полностью подтвердил Тардые, горевший желанием свести с де ла Роком и Лавалем старые счеты. Тардые заявил, что он лично передавал полковнику деньги. По его словам, он использовал де ла Рока как наемного агента для борьбы против «левой опасности» и одновременно в целях его, Тардые, личной рекламы. Как видно из показаний Тардые в лионском суде, так же использовал де ла Рока и Лаваль, плативший полковнику за устройство «демонстрации народного энтузиазма» в его честь. «Я считал разумным, — пояснил Тардые суду, — противопоставить могущественным силам беспорядка силы порядка. Мне приходилось считаться с возможностью выступления 400—500 тысяч коммунистов. «Боевые кресты» очень хорошо выполняли мои задания. Они обеспечивали порядок везде и всегда, когда бы я их об этом ни просил».

Через несколько дней после этого судебного разбирательства на частную квартиру одного из министров Шотана



явился человек средних лет. Он отказался назвать свое имя и всячески старался подчеркнуть секретный характер своей миссии. Когда он ушел, в руках у министра осталась папка с бумагами, разоблачающими во всех деталях планы так называемого «Комитета тайного революционного действия». Неизвестный посетитель был, как это легко понять, подослан де ла Роком.

Документы были переданы Шотану. Тому не оставалось ничего другого, как согласиться на принятие немедленных мер.

На следующий день было выдано около 500 ордеров на производство обысков. Полиция совершила облавы в сотнях частных квартир, учреждений и торговых помещений. Ее усилия были вознаграждены поистине богатой добычей. 500 тяжелых и 65 легких пулеметов, около 30 орудий противотанковой и противовоздушной обороны, две тонны взрывчатых веществ, не говоря уже о громадном количестве винтовок и больших запасах всякого другого военного снаряжения. Замаскированные форты и укрепленные огневые точки были обнаружены под помещениями гаражей и в уединенных помещичьих имениях. Были захвачены также мощные передаточные и приемные радиоустановки и секретные телефонные линии.

Конфискованное оружие было германского, итальянского, франкистско-испанского производства. Весьма внушительный список арестованных возглавлялся генералом Дюсенвером, бывшим начальником военно-воздушных сил, а также крупным землевладельцем графом Юбером Пастре. Среди арестованных были правительственные чиновники, антикварные торговцы, офицеры действительной службы, механики, шоферы.

Раскрытая полицией тайная организация была построена по военному образцу. Во главе ее стоял генеральный штаб с четырьмя разведывательными группами. Силы организации были разбиты на дивизии, бригады и батальоны. Существовал план общей мобилизации личного состава. Полиция обнаружила карты Парижа и важнейших провинциальных городов, так же как и тщательно подобранные материалы об отдельных офицерах и частях регулярной армии. Был заготовлен список руководящих политических деятелей, подлежащих аресту. Наряду с этим специальный план предусматривал порядок захвата редакций левых га-

жет, правительственных учреждений и частных квартир членов кабинета.

Республиканский режим предполагалось свергнуть и заменить диктатурой, причем имела в виду и возможность восстановления монархии. В директорию, предназначенную править страной, должны были войти маршал Петэн, генерал Вейган, Жан Кьяпп и Жак Дорио. Изгнанный в 1934 году из коммунистической партии, Дорио основал «Народную французскую партию» фашистского типа. Он был ловким оратором и обладал бычьей глоткой. В течение некоторого времени французские фашисты рассчитывали использовать Дорио как организатора «массового движения». Левые депутаты палаты неоднократно обвиняли Дорио в получении субсидий из Берлина; Дорио ни разу не осмелился возбудить против своих обвинителей дело о клевете.

Один из бывших министров как-то доверительно сообщил мне, что *Sûreté Nationale*<sup>1</sup> располагает документами, доказывающими, что Дорио находится на жаловании у Берлина и что на эти деньги он купил для себя большое имение в Бельгии.

Другие преданные гласности документы свидетельствовали о том, что заговорщики из CSAR получали щедрые субсидии от различных французских промышленных магнатов и от одной иностранной державы. Ни фамилии этих промышленников, ни название этой державы не были обнародованы. Все указывало на национал-социалистов, на оружейного магната Шнейдера и на короля каучуковой промышленности Мишлена.

Заговорщиков прозвали «кагулярами», так как на своих тайных сборищах они появлялись в капюшонах (*caçoul*).

Заседание кабинета, на котором обсуждался вопрос об этом заговоре, было очень бурным. Блюм, Дормуа и Пьер Кот потребовали, чтобы страна была поставлена в известность о всех деталях преступного заговора. Они настаивали на том, чтобы были преданы гласности установленные факты связи между кагулярами и национал-социалистами и произведено следствие для выяснения связей между Петэном и Вейганом, с одной стороны, и организаторами заговора — с другой. Однако большинство членов кабинета и президент республики энергично выступили против столь

---

<sup>1</sup> Французская тайная полиция.

резких мероприятий. Боннэ и Шотан пригрозили отставкой в случае, если драгоценное для Франции имя Петэна будет скомпрометировано и облито грязью. Блюм, Дормуа и Кот уступили дружному нажиму своих коллег.

Требования многих левых деятелей о роспуске всех фашистских организаций были положены под сукно. Дормуа заверил палату депутатов, что «нет нужды вводить чрезвычайные законы; законы республики достаточно сильны, чтобы обеспечить безопасность республиканского режима».

На протяжении ряда месяцев правые газеты упорно и систематически вели кампанию за освобождение генерала Дюсеньера, графа Пастре и других руководителей заговора. Впоследствии кагуляры были освобождены. Им даже не было предъявлено обвинения. После их освобождения друзья чествовали их как победителей.

В декабре Шотан и Дельбос посетили Лондон, где они совещались с английским премьер-министром Чемберленом. После свидания английских и французских министров было опубликовано коммюнике, скромно утверждавшее, что «политика невмешательства в Испании всецело себя оправдала».

Вслед за этим Ивон Дельбос предпринял поездку по восточной и юго-восточной Европе. Это была бледная, невыразительная копия поездки Барту в 1934 году. Барту руководствовался политической концепцией, что Гитлер может и должен быть остановлен мощной коалицией. Движимым же мотивом поездки Дельбоса было опасение, что французская политика колебаний, наряду с последовательными победами Гитлера, отпугнет союзников Франции. Но Дельбос в своей поездке отнюдь не руководился желанием выработать такой политический курс, который мог бы остановить Гитлера. Дельбос предоставил Варшаве новые займы на вооружение. Польский министр иностранных дел полковник Бек принял эти займы и продолжал свою прогитлеровскую политику. Румыния также получила французские кредиты на военные заказы. Румынский король с жадностью взял эти кредиты, но они не смогли устранить его подозрений, что предполагаемое вторжение Гитлера в Австрию, о котором тогда уже все громче и громче шептались во всех канцеляриях, не встретит противодействия со стороны западных демократий.

В Белграде Дельбосу был оказан восторженный прием. Десятки тысяч югославских граждан приветствовали его возгласами: «Да здравствует Франция, да здравствует демократия!» Однако полиция, применяя грубую силу, разогнала встречающих Дельбоса. Один человек был убит, многие тяжело ранены. «Тан», обычно отражающая точку зрения Кэ д'Орсэ, поместила статью, осуждавшую этих демонстрантов и восхвалявшую профранцузские чувства югославского премьера Стоядиновича. Между тем он более, чем кто-либо другой, нес ответственность за вовлечение Югославии в орбиту влияния держав оси.

По прибытии в Прагу Дельбос был уведомлен, что французская полиция раскрыла заговор, имевший целью организовать на него покушение во время его пребывания в Чехословакии. Французской прессе дано было официальное указание ничего не сообщать об этом факте.

В Праге Дельбос мог наблюдать проявления народного энтузиазма и тревожные настроения официальных кругов. В течение многих месяцев национал-социалистская пресса публиковала статьи о тяжелом положении угнетенных судетских немцев. Учителю гимнастики Конраду Гейнлейну удалось обеспечить поддержку большинства судетского населения для его Судето-немецкой партии, организованной по фашистскому образцу.

В частной беседе с Дельбосом Эдуард Бенеш, президент Чехословацкой республики, высказал серьезные опасения по поводу планов национал-социалистов. Он раскрыл досье, составленное чехословацкой тайной полицией. Имевшиеся в нем материалы показывали, что подготовка национал-социалистов к аннексии Австрии близится к завершению. «После Австрии, — сказал Бенеш, — наступит наша очередь; что намерена в связи с этим предпринять Франция?»

Дельбос предложил пойти на компромисс с Гейнлейном. «Вы должны отнять у Гитлера всякий предлог для выступления», — посоветовал он.

Скоре после этой беседы один из чехословацких министров рассказал французскому журналисту, что президент Бенеш «был потрясен тем непониманием психологии Гитлера, какое обнаружил Дельбос».

В то время как в официальных заявлениях Дельбос выражал удовлетворение результатами своей поездки, его информация в иностранной комиссии палаты имела совер-

шенно обратный смысл. Он высказал надежду, что Франция «не будет поставлена в один прекрасный день перед необходимостью сделать выбор между Англией и своими юго-восточными союзниками».

На этом же заседании бывший премьер Фланден выступил с речью, в которой настаивал на тактике «отсиживания в окопах», при которой Франция, укрепившись за линией Мажино и сосредоточив все внимание на своих колониальных владениях, сможет спокойно глядеть в лицо любым событиям в Европе. «Судьба Франции, — вещал он, — связана с ее империей». Как будто жизнь или смерть французской империи не зависела от положения Франции на европейском континенте.

Некоторое время спустя было созвано совещание виднейших французских промышленников и банкиров. Они указали Шотану, что присутствие социалистов в его правительстве подрывает доверие к национальной валюте. Они особенно подбирались к министру внутренних дел, социалисту Дормуа, располагавшему опасными документами, разоблачающими покровителей кагуляров. Как бы для того, чтобы подчеркнуть всю многозначительность этих советов, сделанных премьеру, было организовано новое «бегство капиталов».

Шотан понял намек. На заседании палаты, на котором обсуждались новые финансовые мероприятия, он совершенно неожиданно выступил с яростной речью против коммунистов, рассчитывая, что это повлечет за собой выход министров-социалистов из правительства. Они подали в отставку, и это явилось прелюдией к отставке всего правительства, происшедшей в середине января 1938 года. Все было разыграно, как по нотам.

Шотан вскоре вернулся на пост премьера, но на этот раз он уже возглавлял кабинет, состоявший из радикал-социалистов. Социалисты в него не входили.

«200 семейств» добились своего. Это означало, что вбит первый клин в коалицию партий Народного фронта.

В конце января 1938 года французский посол в Берлине предупредил свое правительство, что в ближайшие недели Германия выступит против Австрии. Германский министр иностранных дел, барон фон Нейрат, лично информировал об этом Франсуа Понсе.

Угроза самостоятельности Австрии, как меч, нависла над всей Европой.

Австрийский канцлер Курт фон Шушниг, человек художавый и мрачный, был приглашен в Берхтесгаден, в виллу Гитлера, где ему пришлось выслушать в полном молчании двухчасовую речь фюрера. Несколько раз Гитлер вызывал в комнату из расположенной рядом приемной своих военных советников, всячески стараясь создать у несчастного Шушнига впечатление, что все уже подготовлено для нападения на Австрию. Австрийский канцлер был оглушен всем этим и в результате оказанного на него давления и той пытки, которой подверглись его нервы, он согласился реконструировать свое правительство и назначить гитлеровского приспешника, доктора Артура Зейс-Инкварта, вице-канцлером. Имени Зейс-Инкварта было суждено в скором времени сделаться синонимом слова «предатель».

После этой злополучной поездки Шушниг попытался найти совет и помощь у традиционного доброжелателя Австрии — Муссолини. Но ему так и не удалось установить телефонную связь с дуче.

С этого момента события развивались с головокружительной быстротой. Из Франции Гитлер получил повторные заверения, что его выступление против Австрии не встретит противодействия.

Обращаясь к палате, Фланден дал волю язвительной насмешке: «Версальский мир на смертном одре... Политика, ориентирующаяся на Лигу наций, коллективную безопасность и взаимную помощь, вышла из моды и устарела». Он просил палату «не становиться в героическую позу по случаю того, что Австрия будет унифицирована». В заключение он сказал: «Ныне мы находимся под защитой линии Мажино. Если мы подвергнемся нападению, то мы достаточно сильны, чтобы продержаться, пока свободолубивые государства Европы не подспеют нам на помощь, как это было в 1914 году».

Молодой радикал-социалистский депутат Андре Альбер обнажил гнойные язвы французской политики, когда он указал, что изменение позиции многих бывших французских националистов может быть объяснено лишь тем, что «они подпали под влияние Гитлера».

По сравнению с предательским заявлением Фландена речь министра иностранных дел была бледной и маловыразительной. Меньше всего она была рассчитана на то,

чтобы произвести впечатление на Гитлера. Дельбос указывал, что «независимость Австрии имеет существенное значение для равновесия сил в Европе». «Что касается наших обязательств, данных Чехословакии, — добавил он, — то они будут честно выполнены, если дело дойдет до испытания». Шотан в своей речи заявил: «Франция не нарушит своего союза с Чехословакией». Это различие, сделанное между Австрией и Чехословакией, едва ли могло обескуражить Гитлера.

Ровно за два дня до вступления Гитлера в Австрию Камиль Шотан попросту сбежал. Он потребовал у палаты чрезвычайных полномочий. Во время прений он внезапно вышел из зала. Некоторые из его коллег по кабинету даже не поняли смысла его маневра, до того они были застигнуты врасплох. Шотану пришлось дать им знак последовать за ним. Уже во второй раз после прихода Гитлера к власти Шотан подавал в отставку, не дожидаясь голосования. Он спешил взвалить на своего преемника всю ответственность за создавшееся критическое положение.

12 марта, когда Гитлер вторгся в Австрию, во Франции уже снова не было правительства.

Позорное наследство досталось Леону Блюму. Ему понадобилось четыре дня для образования кабинета. Планы Блюма сводились к созданию широкого национального правительства — от Мориса Тореза, лидера коммунистов, до Луи Марена, главы правого крыла республиканцев. Блюм был вынужден отказаться от этого проекта, так как правые наотрез отказались от сотрудничества. Обращаясь к группе правых депутатов — в день триумфального въезда Гитлера в австрийский город Линц, — Блюм заклинал их войти в правительство совместно с коммунистами. «В случае войны, — указывал он, — вам придется наравне со всеми мобилизовать и коммунистов. Ведь как-никак коммунисты представляют 1 500 000 рабочих, крестьян и мелких торговцев. Вы не имеете права сбрасывать их со счетов. Они понадобятся вам, когда вы захотите усилить производительность военной промышленности. Вы будете нуждаться в их помощи так же, как и в помощи Всеобщей конфедерации труда... Чего вы боитесь? Вы опасаетесь, что они будут оказывать слишком сильное давление на внешнюю политику? Вспомните, что, являясь главой правительства, я сохранял полную независимость в вопросе об Ис-

пании. Некоторые из вас говорят, что вхождение коммунистов во французское правительство произведет дурное впечатление за границей. Это порочный и недопустимый аргумент, ибо Франция не может допустить, чтобы какая-либо иностранная держава диктовала ей свою волю».

За несколько часов до этого, на заседании парламентской фракции радикал-социалистов, Эдуард Даладье спрашивал: «Что вы сделаете с коммунистами в день всеобщей мобилизации,— пошлете их в армию или в концентрационные лагеря?»

Из двухсот тридцати с лишним правых депутатов лишь пятеро поддержали предложение Блюма. Националист Эмиль Бюре не без иронии писал в «Ордр»: «Долой Барту! Долой Делькассэ! Вперед под знаменем идеологического крестового похода, хотя бы на собственную гибель!»

Второй кабинет Блюма состоял из социалистов и радикалов. Даладье занимал в нем пост вице-премьера и министра обороны, Поль-Бонкур — министра иностранных дел. Ни Шотан, ни Боннэ, ни Дельбос не участвовали в этой комбинации.

В период вторичного пребывания Блюма у власти генерал Франко добился новых быстрых успехов. Войскам мятежников удалось, выйдя к Средиземному морю, разрезать территорию республиканцев на две части. Испанский премьер Хуан Негрин вылетел в Париж и обратился к Блюму с отчаянным призывом о помощи. Призыв этот не захотели услышать. Никакой существенной помощи из Франции Испания не получила. Был лишь слегка ослаблен контроль на франко-испанской границе, что позволило переправить в Испанию кое-какое русское снаряжение, застрявшее во французских портах. Этого оказалось недостаточным, чтобы удержать наступление Франко на реке Эбро. Но этого было слишком мало, чтобы изменить ход событий.

Второе правительство Блюма продержалось три недели. Палачом его явился все тот же заносчивый повелитель сената Жозеф Кайо. Сенат отклонил требование правительства о предоставлении ему неограниченных полномочий. Палата снова проголосовала доверие правительству; Леон Блюм снова отказался от дальнейшей борьбы.

Но теперь уже было очевидно, что «200 семейств» достигли первой намеченной ими цели: внутри Народного фронта произошел окончательный раскол.



## МЮНХЕН

На Эдуарде Даладье, преемнике Леона Блюма, лежит ответственность за ряд самых черных страниц в истории Франции.

За период его пребывания во главе французского правительства была удушена независимая Чехословацкая республика, была зверски замучена Испанская республика, было подготовлено ужасное поражение Франции.

Между новым правительством, сформированным Даладье, и кабинетом, находившимся у власти 6 февраля 1934 года (когда Даладье и его коллеги поспешно подали в отставку в панике перед угрозой фашистского бунта), существовало зловещее сходство. Снова появились на сцене прежние персонажи. Изворотливый Камиль Шотан, французский чемпион парламентской акробатики, стал вице-премьером; тощий, с землистым цветом лица, Жорж Бонне — министром иностранных дел; усталый, вечно брюзжащий селадон Альбер Сарро — министром внутренних дел; бесцветный мэр Реймса Маршандо — министром финансов; протеже Даладье, его бывший начальник канцелярии, высокий, смуглый, элегантный Ги ла Шамбр — министром авиации; другой из ставленников Даладье, миллионер Раймон Патенотр, — министром народного хозяйства. Словом, все те же лица, не исключая и неизменного министра земледелия, маленького, хитрого Анри Кэйля. «Это нечто вроде старого семейного альбома», — шутил Фланден. Подобными шутками он прикрывал свое недовольство тем, что сам он остался вне этой комбинации.

Единственными новыми лицами в этом третьем кабинете Даладье были Поль Рейно, получивший портфель министра юстиции, но метивший на пост Даладье, министр труда, честолюбивый Людовик-Оскар Фроссар, лелеявший такие же планы, и, наконец, министр колоний, Жорж Мандель, — человек, чья память делала его ходячей картотекой.

Этот кабинет был весьма подозрительно встречен левыми; правые же заранее потирали руки. Четыре года назад еженедельник «Гренгуар» писал о Даладье: «Это человек с лицом лжемонаха, с руками, запекшимися в крови». Газета «Жур» клеймила его «зловещую фигуру чиновника, готового продать и перепродать свою душу». Теперь оба листка пели Даладье дифирамбы, именую его «нашим лойяльным министром обороны, сделавшим так много для безопасности Франции».

Правые отлично понимали, что рано или поздно это правительство будет вынуждено обратиться к ним за поддержкой и тем самым окажется у них в плену. Впереди маячила перспектива изменения соотношения сил в палате. Радикалы снова склонялись к повороту вправо. Надвигающиеся события уже ощущались в отбрасываемых ими длинных тенях. Палата единодушно проголосовала свое доверие Даладье 577 голосами против одного. Один хорошо информированный журналист заметил по этому поводу: «Никто не был удовлетворен правительством, поэтому все голосовали за него».

Влиятельная провинциальная газета «Депеш де Тулуз», являвшаяся органом Сарро, нарисовала весьма мрачную картину состояния страны в тот период. «Мы буквально окружены,—жаловалась газета,—и вынуждены довольствоваться самыми скромными возможностями стратегической обороны. Мы занимаем оборонительную позицию на сухопутных границах, на море и в наших колониях».

Правительственная декларация, изобиловавшая банальностями и общими местами, не содержала никаких указаний на трагичность ситуации. «Правительство,—твердила она с монотонностью церковной литании,—не допустит, чтобы создавалась угроза для безопасности наших границ, наших коммуникационных линий и колоний. Оно не позволит, чтобы чужеземные влияния или происки нежелательных иностранцев в какой-либо мере связывали его свободу действий». Первая фраза была рассчитана на успокоение левых, во второй правительство расшаркивалось перед правыми. Под «нежелательными иностранцами» подразумевались отнюдь не национал-социалисты, нагло циркулировавшие по Парижу, сея разложение и заразу. Нет, здесь имелись в виду те французы, которые настаивали на оказании помощи республиканской Испании.

И вот Жорж Боннэ засел в министерстве иностранных дел. Он действовал быстро и со знанием дела. Боннэ всегда верил в магическую силу плотно набитых «конвертов», раздаваемых нужным людям. Из его канцелярии полился золотой дождь субсидий в карманы политических деятелей и в кассы газетных редакций. За спиной Боннэ стоял один из самых мощных французских банков «Братья Лазар». Когда иссякали ведомственные фонды Боннэ, банк братьев Лазар протягивал ему свою щедрую руку.

В своем обращении с прессой и общественным мне-

нием Даладье проявлял не меньше ловкости, чем Боннэ. Он часто муссировал слухи о своих разногласиях с министром иностранных дел. Он так мастерски играл свою роль, что ему удалось провести даже такую старую лису, как министра колоний Жоржа Манделя.

Не раз и не два Мандель говорил мне, что Даладье гораздо лучше, чем Боннэ, что он за политику сопротивления и что его длинноносый министр иностранных дел вот-вот получит отставку. Но, подобно многим другим, Мандель был обманут Даладье.

Почти одновременно с образованием кабинета Даладье правые газеты развернули кампанию против Чехословакии. «Гренгуар» вышел с жирным заголовком: «Хотите ли вы умереть за Чехословакию?» Это наделало много шума. Первый этап кампании достиг своего апогея, когда «Тан» поместила статью профессора Жозефа Бартелсми, доказывавшего, что договор о взаимопомощи между Францией и Чехословакией потерял силу, поскольку Гитлер денонсировал Локарнский договор, с которым связан франко-чехословацкий пакт. Эррио назвал эту статью «ударом кинжала в спину Бенеша».

Впрочем, когда Стефан Осусский — чехословацкий посланник в Париже — бросился за разъяснениями к Боннэ, его заверили, что правительство глубоко возмущено статьей и что оно будет лойяльно и без колебания выполнять свои обязательства по отношению к Чехословакии.

На следующий день я встретился с посланником и предупредил его, что не следует относиться с излишним доверием к словам Боннэ. Да и не я один говорил ему об этом. Некоторые из моих коллег журналистов, опасавшихся за судьбу Чехословакии, решились на то, чтобы сказать чехословацкому посланнику, что Боннэ ведет с ним двойную игру. Но самоуверенный Осусский не обратил внимания на эти предостережения, исходившие из различных кругов. До самой последней минуты, даже после того, как он был предупрежден отдельными членами кабинета, он сохранял уверенность, что Даладье и Боннэ выполнят свои обязательства, вытекающие из договора.

В конце апреля, накануне отъезда Даладье и Боннэ в Лондон для переговоров с англичанами, состоялось заседание французского кабинета. На заседании произошла

неприятная стычка между министрами, и закончилось оно в чрезвычайно напряженной атмосфере. Мандель, поддерживаемый рядом других министров, настаивал на том, чтобы в Лондоне не было сделано никаких уступок, которые могли бы противоречить обязательствам Франции, вытекающим из франко-чешского и франко-советского пактов. Боннэ разыграл оскорбленную невинность. Ничего подобного ему бы и в голову не пришло, — утверждал он с укоризной. А если кабинет примет какое-либо решение в этом роде, то уезжающие в Лондон министры будут ограничены в свободе действий. Но Мандель упорно настаивал на своем, и в конце концов инструкции, данные Даладье и Боннэ, были составлены в духе его предложений.

Перед отъездом в Лондон Даладье пригласил Осусского и снова заверил его, что Франция с честью выполнит свои обязательства.

И вот два человека, имена которых неразрывно связаны со злосчастным периодом «умиротворения», встретились в Лондоне.

Даладье и Чемберлен во многих отношениях отличаются друг от друга. В самом деле, какой контраст: тощий, мертвенно-бледный купец из Бирмингама, с подагрической ногой и носом, смахивающим на ястребиный клюв, — и породный сын пекаря, с меланхолическим лицом, которому он тщетно пытается сообщить хмурую важность Наполеона. Один из них — сын блестящего Джозефа Чемберлена, сводный брат всесильного министра иностранных дел, человек, перед которым гостеприимно открывались все двери. Другой — скромный школьный учитель, которому приходилось с трудом пролагать себе путь сквозь извилистые лабиринты французской политики. И все же что-то общее в характере странно сближало обоих деятелей. Оба тщеславные и нетерпимые, они не выносили никаких противоречий. Оба они верили в магическую силу разговоров с глазу на глаз с фашистскими диктаторами. Оба они считали себя призванными спасителями существующего социального строя. Оба были лишены всякого воображения. Наконец обоих ужасала мысль, что мир может измениться; Чемберлена — потому что он был плотью от плоти правящей верхушки Британии; Даладье — потому, что инстинкт «маленького человека», сделавшего карьеру, заставлял его цепляться за те привилегии, которые отделяли его от низших классов.

Вот почему, когда эти два человека встретились в сопровождении своих министров иностранных дел — Галифакса и Боннэ, — они сумели договориться без особого труда. Уже во время этой первой встречи была намечена та политика, которая привела их к Мюнхену.

Разумеется, политика эта была намечена далеко не во всех деталях, и весьма возможно, что сами ее творцы не предугадывали, как далеко она заведет их в ближайшие несколько месяцев. На многие второстепенные вопросы Даладье и Чемберлен смотрели по-разному. Это было обусловлено рядом обстоятельств, в частности, различием географического положения, экономических интересов и внутренних проблем обеих стран. Чемберлен мог рассчитывать на надежное большинство господствующей в парламенте партии. Даладье же приходилось считаться с коалицией представителей нескольких партий, придерживающихся по ряду вопросов различных взглядов. Но не это решало дело. Основным было то, что у обоих министров было полное единомыслие в главном вопросе — в вопросе о необходимости притти к соглашению с диктаторами. Это вытекало из их убеждения, что такое соглашение необходимо для сохранения существующего порядка в Европе. Общность их взглядов в этом вопросе и предопределила их совместный путь в Мюнхен. Если они не предвидели всех последствий своей политики и всех своих будущих уступок, то во всяком случае они уже тогда были готовы максимально пойти навстречу диктаторам. А уж поскольку они стали на этот путь, им не оставалось ничего иного, как ковылять по нему от одного дорожного столба к другому.

Во время этой исторической встречи в Лондоне Чемберлен сумел убедить Даладье и Боннэ, что победа генерала Франко — дело ближайших дней или недель. Они объединили свои усилия, чтобы заглушить призыв Испанской республики о помощи, с которым она должна была обратиться к предстоящей сессии Лиги наций.

В Лондоне Даладье изъявил готовность продолжать политику своих предшественников по отношению к Советской России. Это означало отказ санкционировать переговоры между французским и русским генеральными штабами.

В мае Совет Лиги наций заслушал горячий призыв Испанской республики. Просторное здание зала Совета Лиги наций, построенное в новейшем архитектурном стиле, было переполнено до отказа. От имени Испанской республики выступил министр иностранных дел Альварес дель Вайо. Большинство министров (их было тринадцать) и делегатов, к которым обращался дель Вайо, даже не старались делать вид, что слушают. Республиканская Испания требовала применения 16-й статьи устава лиги, предусматривающей коллективную помощь против агрессии.

Лорд Галифакс в весьма холодном тоне заявил, что Великобритания не намерена присоединиться к предложению испанского делегата. Жорж Боннэ, облаченный в обычный темносиний двубортный сюртук, по существу присоединился к приговору Галифакса. Он говорил тоном приторной слащавости и еще более приторного сожаления. Отчаянная, уже заранее обреченная борьба продолжалась в течение трех дней. Это было зрелище, исполненное пафоса и трагизма.

Наконец резолюция, предложенная Совету сеньором дель Вайо, была поставлена на голосование. «Нет», произнесенное среди мертвой тишины лордом Галифаксом и Жоржем Боннэ, прозвучало, как пощечина. Напряжение в зале становилось невыносимым. Один только советский представитель поддержал республиканскую Испанию. Рядом со мной слышались рыдания корреспондентки одной швейцарской газеты. Сеньор дель Вайо и его спутник вышли из помещения смертельно бледные, но с высоко поднятой головой. Я ринулся к телефону сообщить новости в редакцию.

У входа в отель Боннэ, явно смущенный, пытался объяснить обступившим его журналистам, что он не мог поступить иначе. «Но Франция не допустит, чтобы Испания сделалась добычей захватчиков!» Кто-то воскликнул: «Вы умертвили Испанию!» Побледневший Боннэ поспешно ретировался.

Несколько дней спустя он убедился, что не так-то легко войти в доверие тоталитарных держав. Выступив с речью в Генуе, дуче напрямик заявил, что Франция и Италия «находятся на противоположных сторонах баррикады». Он явно намекал на Испанию. Это должно было бы отрезвить всех французских комментаторов, которые так часто предсказывали неминуемое ухудшение итало-германских

отношений. С наименьшей откровенностью Муссолини подчеркнул, что со времени итальянской мобилизации на Бреннере в 1934 году до марта 1938 года немало «утекло воды под мостами Тибра, Дуная, Шпрее, Темзы и даже Сены. Все те дипломатические и политические события, которые были связаны со Стрезой, канули в прошлое и погребены навек, и поскольку это зависит от нас — никогда более не воскреснут».

Но если дуче похоронил стрезский фронт, то далеко не так обстояло дело в некоторых французских кругах. Хотя выступление Муссолини ошеломило его почитателей в Париже, они быстро оправались и возобновили свои интриги. Даже визит Гитлера в Рим, где он был встречен как триумфатор и где оба диктатора продемонстрировали прочность оси Рим — Берлин, не отрезвили парижских поклонников Муссолини. Поистине, надежда никогда не умирает!

Новые события приковали внимание к национал-социалистской Германии. Гитлер сосредоточил на германо-чешской границе огромную армию. Нападение на Чехословакию казалось неизбежным. 21 мая 1938 года чехословацкое правительство объявило частичную мобилизацию.

Во французском министерстве иностранных дел, куда я направился, меня принял один из высших чиновников. Он изложил мне содержание телеграмм, полученных от французского посла в Берлине. В них подтверждались сведения о крупных военных приготовлениях Германии на чешской границе. Последняя телеграмма извещала о том, что английский посол предложил личному составу посольства демонстративно готовиться к отъезду из Германии.

В течение нескольких ближайших часов мир висел на волоске. Столкнувшись с фактом столь неожиданного сопротивления, Гитлер отступил.

21 мая могло стать поворотным пунктом в истории Европы, но благодаря Даладье и Боннэ оно осталось лишь случайной датой, мимолетным происшествием, не имевшим последствий. Через два дня национал-социалистские газеты обрушились на «поджигателей войны», распространяющих «ложные сведения о мобилизации в Германии». А вскоре к этому же аргументу стали прибегать Даладье и Боннэ.

Даладье с нескрываемым раздражением говорил не-

скольким посетившим его депутатам парламента, что 21 мая, в результате безответственного поведения Бенеша, Европа очутилась на грани войны. Бенеш, — сказал он, — не только объявил мобилизацию, но он помимо того отказался рассмотреть «приемлемые», в конце концов, требования Гейнлейна.

Такая «тактика» Даладье не могла не отразиться на позиции Чехословакии. 10 июня чешское правительство согласилось принять требования Гейнлейна за основу для переговоров.

Боннэ и Даладье снова занялись Испанией. В начале июня у Боннэ было длительное совещание с бывшим премьером Фланденом. После этого Фланден выступил с весьма многозначительным заявлением: «Война в Испании, — сказал он, — является величайшей угрозой для мирной жизни Франции»; и: «политика, направленная против Франко, противоречит французским интересам и диктуется Москвой». В заключение Фланден воскликнул: «Французский народ не позволит Народному фронту, причинившему уже столько бедствий, прибавить к ним еще ужасы войны».

Два дня спустя Даладье отдал приказ окончательно закрыть франко-испанскую границу. Была установлена полная блокада республиканской Испании. На заседании исполнительного комитета своей партии Даладье заявил: «Мы будем попрежнему придерживаться метода невмешательства, поскольку мы хотим, чтобы судьба Испании решалась самими испанцами».

Между тем, войска республиканцев, сдерживая напор мятежников, форсировали Эбро и перешли в тщательно подготовленное контрнаступление. Один из радикальных депутатов утверждал, что когда Жорж Боннэ узнал об этом блестящем успехе республиканцев, он чуть не заболел от ярости.

В течение нескольких дней июня проблемы Испании и Чехословакии уступили место на первых страницах газет другому — более мирному — событию. Ожидался визит английского короля и королевы в Париж. Город Света надел свой самый пышный наряд. Он был украшен флагами и сверкал яркими красками. Сотни тысяч зрителей со смешанным чувством гордости и любопытства толпились на улицах, чтобы приветствовать гостей. Но министра



внутренних дел Альбера Сарро интересовала не столько торжественная встреча, сколько вопрос о мерах безопасности, которые надлежало принять. Бедняга не забыл про марсельские убийства. Он распорядился произвести тысячи арестов, преимущественно среди немецких и итальянских эмигрантов-антифашистов. Когда король Георг и королева Елизавета проезжали по ярко разукрашенным улицам Парижа, взорам королевской четы представились десятки тысяч солдат и полицейских и сотни тысяч добрых парижан. Но население не могло лицезреть высокопоставленных гостей, так как их заслоняла непроницаемая стена вооруженной охраны.

Парады, торжества и великолепные приемы следовали один за другим. Наиболее пышный банкет был устроен на Кэ д'Орсэ. Сбылась мечта Одетты Боннэ: она принимала у себя в гостях королевскую чету. Но за этой яркой завесой празднеств и банкетов шли обычной чередой политические будни. На той же неделе Даладье и Боннэ, встретившись с Чемберленом и Галифаксом, договорились о кандидатуре того человека, которому предстояло сыграть в Праге роль посредника между правительством суверенной Чехословакии и оппозиционной группой Гейнлейна, явно руководимой извне. Английские министры предложили кандидатуру лорда Уолтера Ренсимена. Он был известен своими прогерманскими взглядами. Во время первой мировой войны он входил в либеральное правительство Асквита. Богатый промышленник, лорд Ренсимен был тесно связан с германскими магнатами. Очевидно, эти обстоятельства и побудили Чемберлена остановить на нем свой выбор.

События нарастали. Гитлер отдал приказ о мобилизации более полутора миллионов человек, причем они были призваны на срок не менее трех месяцев.

Около полумиллиона немцев были буквально подняты с постели и за одну ночь переброшены к западной границе Франции. Они понадобились для того, чтобы ускорить строительство «Западной стены», или так называемой «линии Зигфрида». Национал-социалистская пресса уделяла подчеркнутое внимание этой мобилизации и фортификационным работам, проводимым лихорадочными темпами. «Война нервов» была в полном разгаре. Чем же

ответила на это Франция? Мобилизацией? Нет, — речью Даладье.

21 августа премьер выступил по радио. Его речь менее всего могла успокоить чехов. В ней не было ни слова, которое могло бы ободрить чешский народ, внушить ему мужество в его тяжелом испытании. Он произнес роковые слова: «Как все ветераны войны, я готов пойти на все, лишь бы только предотвратить гибель европейской цивилизации». Разумеется, эти слова менее всего могли ослабить угрозу агрессии.

Эта радиоречь Даладье явилась поворотным пунктом также и во внутренней политике Франции. Она знаменовала полный разрыв Даладье с левыми. Даладье говорил в своей речи о том, как страдает деловая жизнь страны, какие жертвы несут средние слои, и, наконец, обратившись к рабочим, он категорически заявил: «Франция должна снова взяться за работу».

Он разъяснил, что означает эта загадочная фраза: уничтожение в самой основе недавних социальных реформ и 40-часовой рабочей недели. Он призывал покончить с этим драгоценным завоеванием французских рабочих. Отныне Франция должна будет работать 48 часов в неделю, а если необходимо, то и больше. Сверхурочная работа, подчеркнул Даладье, не может более оплачиваться «по нынешним раздутым расценкам» и не может быть поставлена в зависимость «от пустых формальностей».

Даладье занимал пост вице-премьера в правительстве Блюма, которое ввело 40-часовую неделю. Теперь же он примкнул к хору французских реакционеров, вопивших, что социальное законодательство Народного фронта нанесло непоправимый ущерб французской промышленности.

Даладье хорошо усвоил излюбленную теорию промышленных дельцов: если капиталистам предлагают внести свой вклад в дело быстрее вооружения Франции, то им должен быть обеспечен высокий процент прибыли. Он закрывал глаза на саботаж, который они практиковали. Как раз в это время Конфедерация профсоюзов составила весьма детально разработанный меморандум, доводы которого звучали более чем убедительно. В нем приводились данные, свидетельствовавшие о том, что предприниматели прибегали ко всяким ухищрениям, чтобы доказать, что национализация военных заводов уменьшила их производительность. После того как производство воору-

жения перешло под контроль государства, большинство прежних владельцев и директоров остались во главе предприятий. Никто из них по-настоящему не заботился о том, чтобы повысить производительность на их предприятиях. А между тем у Даладье не нашлось по их адресу ни одного слова критики. Он не проронил ни слова о хаосе и дезорганизации, царивших, в особенности, на авиационных заводах, где у рабочих целые дни и недели бывал простой из-за того, что без конца переделывались чертежи. Он не проронил ни слова о неуклонном наступлении «200 семейств» на курс франка, ни о их потворстве диктаторам.

Даладье отлично знал, что во Франции насчитывалось не менее трех миллионов безработных, в том числе большое количество квалифицированных рабочих. Казалось бы, не было более благодарной задачи, чем предоставление работы этим людям. Вместо этого Даладье провел закон об удлинении рабочей недели.

Даладье, очевидно, решил порвать со своими левыми союзниками, которые расчистили ему путь к власти. Народный фронт был для него лишь ступенью для возвращения на политическую арену. Теперь Даладье решил показать, что хозяином является он. Его ни в какой мере не устраивали напоминания о той программе, которую он поклялся защищать, о тех обязательствах, которые он принял на себя. Для него программа была клочком бумаги — и только; единственной его целью была политическая власть. Даладье рассчитывал, что Народный фронт сделает его и его партию самыми мощными факторами политической жизни Франции. Возвышение Блюма и социалистов он принял внешне вполне лояльно, но это не помешало ему затанцевать чувство досады и озлобления.

Уже в первые месяцы своего пребывания на посту премьера Даладье убедился, что политическая ситуация дает ему в руки немало выигрышных карт. Правые только и ждали человека, который мог бы с успехом противостоять Народному фронту и воспрепятствовать его возрождению. Прием, оказанный ему печатью правого лагеря, свидетельствовал о том, что они готовы видеть в нем «героя дня». Правда, правые надеялись сделать его своим пленником, но и он в свою очередь был не прочь столкнуться с ними. Он понимал, что правые нуждаются в нем не менее, чем он нуждается в них. Они-то не будут доса-

ждать ему булавочными уколами, напоминая о программах и обещаниях изрядной давности. Что было, то прошло. Они не будут мешать ему ни в чем, лишь бы только он расправился с левыми. В данной обстановке у правых не было никого другого, кто мог бы взять на себя эту миссию. Он, Даладьё, чувствовал себя в силах выполнить ее.

В сущности, Даладьё всегда был ближе к правым, чем к левым. В силу обстоятельств он стал одним из видных деятелей левого лагеря и козлом отпущения правых. Уже во время своего первого премьерства в 1933 году он сделал попытку избавиться от социалистов и прийти к соглашению с правыми. Но тогда ситуация для этого еще не созрела. Иное дело теперь. Ему представилась возможность примкнуть к тем, к кому он всегда испытывал влечение. Теперь он мог привести радикалов в правый лагерь и при этом обеспечить за собой первое место. Впервые во всей истории радикал-социалистская партия могла позволить себе роскошь сменить ориентацию и тем не менее сохранить первенствующее положение.

Многие политики-радикалы были настроены подобно Даладьё. Народный фронт был им крайне в тягость. Национал-социалистская пропаганда, поддерживаемая внутри Франции сторонниками «умиротворения», достигла немалых успехов в руководящих верхах радикал-социалистской партии. Ее нынешние лидеры сделались, по существу, самыми яркими пропагандистами «умиротворения».

Итак, Даладьё завершил свой разрыв с левыми. Тот факт, что он избрал именно этот момент крайнего обострения международной обстановки для того, чтобы нанести удар рабочему движению Франции, свидетельствует о том, что он уже тогда решил подчиниться требованиям Гитлера. Ведь полководец, собирающийся повести войска в бой, не оповещает их накануне битвы о том, что он намерен сократить рацион их довольствия и жалованье. Между тем это именно и означала речь Даладьё.

Доктор Геббельс сумел правильно оценить смысл выступления Даладьё. Говорят, что, прослушав речь французского премьера по радио, он сказал Гитлеру: «После этого я не представляю себе, как он сможет нам сопротивляться».

Впоследствии, благодаря нескромности одного из посвященных, стали известны те обстоятельства, которые побудили Даладьё выступить со своей речью. Мысль о

ней зародилась на заседании, на котором, кроме Даладье, участвовали Жозеф Кайо, Анатоль де Монзи и бывший депутат радикал-социалистской партии Марино Депла. Кайо весьма обстоятельно разъяснил Даладье, что положение в стране категорически исключает всякую возможность для Франции ввязаться в войну, даже во имя защиты союзного чехословацкого государства. Тонем, не допускающим возражения, Кайо заявил, что французы не будут воевать ради спасения чехов и, следовательно, необходимо во что бы то ни стало договориться с Гитлером. Он добавил, что сложившиеся обстоятельства необходимо использовать не только для прояснения франко-германских отношений, но также, как он выразился, и для того, «чтобы навести порядок во французском доме». Напряженная международная обстановка показалась Кайо весьма подходящей для того, чтобы уничтожить социальное законодательство Народного фронта, столь ненавистное сенату.

Даладье не без колебаний принял эти предложения Кайо. Он опасался, что наступление на 40-часовую неделю вызовет ожесточенное противодействие рабочего класса и повлечет за собой волнения, весьма нежелательные в нынешних условиях. В конце концов он дал согласие и поручил Марино Депла вчерне подготовить текст речи, которую он должен был произнести по радио.

Эта речь вызвала сильнейшее потрясение в стране. Французский народ воспринял выступление Даладье как удар ножом в спину. Всеобщее недовольство было так велико, что министры труда и общественных работ подали в отставку. Даладье заменил их членами той же партии — социально-республиканского союза. Новым министром труда был назначен Шарль Помарэ, успешно делавший карьеру с помощью своей очаровательной супруги. Портфель министра общественных работ получил блестящий, но беспринципный адвокат, неизменно преуспевающий Анатоль де Монзи. Друг Лавала, поклонник Муссолини и яростный враг чехов, де Монзи принадлежал к числу самых коварных интриганов среди политических деятелей Франции. Его вхождение в кабинет само по себе знаменовало целую программу. Оно значительно усилило позиции сторонников «умиротворения».

В это время Жорж Боннэ предпринял следующий хитроумный маневр. 4 сентября в Пуэнт-де-Грав состоялось торжественное открытие памятника американским солда-

там, прибывшим во Францию в 1917 году. Выступая на торжестве, американский посол Буллит сказал: «Если в Европе снова вспыхнет война, то еще неизвестно, будут ли вовлечены в нее Соединенные Штаты, или нет». После Буллита слово получил Боннэ, который произнес фразу, произведшую немалое впечатление в Соединенных Штатах. Упомянув о дружбе между Америкой и Францией, он воскликнул: «Каждый из друзей обязан поспешить на помощь своему партнеру, если тот находится в опасности». Подобное заявление звучало более чем рискованно в устах французского министра иностранных дел; в особенности в устах Жоржа Боннэ, который потратил немало усилий, пытаясь доказать, что в случае войны Франция не может рассчитывать на помощь Америки. Что же побудило Боннэ отважиться на такой шаг?

Поль Рейно утверждал, что Боннэ произнес эту фразу, желая спровоцировать официальное американское опровержение своих слов. Получив таковое, Боннэ смог бы использовать его для соответствующего давления на тех своих коллег по кабинету, которые принадлежали к «поджигателям войны». Примерно то же самое я слышал и от другого его коллеги-министра.

В той же речи Боннэ счел нужным указать, что Франция честно выполнит свои обязательства по отношению к Чехословакии. Это заявление он сделал под энергичным нажимом Жоржа Манделя, который в противном случае грозил отставкой.

За время пребывания Даладьё у власти это была уже седьмая по счету официальная декларация о «верности Франции своим договорным обязательствам».

5 сентября линия Мажино была укомплектована людьми. Около 80 тысяч специалистов было призвано в армию. Но буквально на следующий день весь эффект от речи Боннэ и этого военного мероприятия был сведен к нулю появлением статьи Эмиля Роша.

В своей газете «Републик» Рош писал: «Если чехи и немцы не могут ужиться в рамках централизованного чешского государства, их надо изолировать друг от друга». Связь Роша, возглавлявшего радикал-социалистскую партию в Северном департаменте, с Даладьё и Боннэ была общеизвестна. Без субсидий из секретных фондов этих двух

политических деятелей газета Роша не могла бы просуществовать и дня. Это была одна из так называемых «конфиденциальных газет», — которую читали только в политических кругах, так как она считалась неофициальным органом премьера.

13 сентября, в тот самый день, когда ждали выступления Гитлера в Нюрнберге, в Париже заседал французский кабинет. На этом заседании Жоржу Боннэ удалось склонить большинство министров к политике капитуляции перед Гитлером. Он представил на рассмотрение кабинета документ, представлявший, по его словам, «резюме» меморандума генерала Гамелена о состоянии вооруженных сил Франции. Из этого «резюме» явствовало, что французская армия настолько уступает германской, в особенности в отношении авиации, что Франция не может пойти на риск вооруженного конфликта с Германией. Отсюда делался вывод, что положение Франции в случае войны безнадежно.

На вопрос, не представлена ли в резюме только одна сторона картины, Боннэ ответил, что «резюме» отражает «все существенные пункты» доклада Гамелена.

Естественно, что документ произвел сильнейшее впечатление на членов правительства. Лишь шесть министров выступили против капитулянтской позиции Боннэ. Большинство кабинета поддержало его. Даладьё ни в какой мере не пытался смягчить ошеломляющее впечатление от доклада Боннэ. Президент Лебрен полностью поддержал министра иностранных дел.

В этот же день произошли и другие не менее странные события. Даладьё дважды беседовал с английским послом, Эриком Фиппсом. Пригласил его к себе и Боннэ, сообщивший сэру Эрику, что Франция не в состоянии воевать. В подтверждение он дал ему прочитать знаменитое «резюме».

Наконец в этот же день парижский банк, о котором было известно, что он тесно связан с Боннэ, дал своим агентам предписание скупать фунты стерлингов.

Вечером того же дня Даладьё по телефону вызвал Чемберлена и предложил английскому премьер-министру войти в непосредственные переговоры с главой германского государства.

14 сентября было объявлено, что Чемберлен вылетит в Берхтесгаден для личной встречи с Гитлером.

15 сентября в Берхтесгадене Гитлер потребовал от Чемберлена проведения плебисцита во всех округах Чехословакии с преобладающим немецким населением по вопросу присоединения этих территорий к Германии. Чемберлен обещал в течение недели самолично доставить Гитлеру устраивающее его решение.

18 сентября Муссолини публично заявил, что на случай конфликта «выбор Италии уже сделан».

В этот же день на состоявшемся в Лондоне совещании Чемберлен, Галифакс, Даладье и Боннэ договорились о том, что те округа Чехословакии, в которых немецкое население превышает пятьдесят процентов, должны быть переданы Гитлеру без плебисцита.

На следующий день после этого совещания Эмиль Рош, герольд Даладье, писал в «Республик»: «Если чехи захотят отклонить лондонский план, то пусть действуют на свой риск. Насколько нам известно, нет такого договора, который мог бы заставить нас в этом случае вмешаться». Леон Блюм писал в социалистическом органе «Попюлер»: «Война, повидимому, предотвращена. Но она предотвращена на таких условиях... что я не могу испытывать никакой радости; я ощущаю лишь чувство трусливого облегчения и стыда».

Французский кабинет на своем заседании согласился с лондонскими предложениями. Но, по настоянию Мандела и Рейно, было решено не оказывать никакого давления на чешское правительство. После заседания кабинета Боннэ пригласил к себе чешского посланника. Час спустя Стефан Осусский вышел из здания на Кэ д'Орсе совершенно разбитым. Ожидавшим его журналистам он сказал: «Вы видите перед собой человека, который только что выслушал свой смертный приговор». Никто даже не дал себе труда его выслушать. Это было поистине трагическое зрелище.

Вот как было выполнено решение «не оказывать давления» на чехов.

19 сентября лондонские предложения были изложены в официальной ноте чешскому правительству. Французский народ узнал о полном объеме этих предложений лишь неделю спустя.

20 сентября чешское правительство отклонило лондонские предложения. Вечером этого дня английский посланник Ньютон сообщил чешскому правительству, что «в слу-



чае, если оно будет упорствовать, английское правительство перестанет интересоваться его судьбой». Французский посланник де Лакруа полностью поддержал это заявление.

21 сентября, в 2 часа ночи, президент Бенеш был поднят с постели приходом обоих посланников; это был уже их пятый демарш на протяжении одних суток. Они очень спешили, так как недельный срок ответа Чемберлена Гитлеру был на исходе. Они поставили ультиматум: «Если война возникнет вследствие отрицательной позиции чехов, Франция воздержится от всякого вмешательства, и в этом случае ответственность за провоцирование войны полностью падет на Чехословакию. Если чехи объединятся с русскими, война может принять характер крестового похода против большевизма, и правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне».

Содержание этого ультиматума было после Мюнхена оглашено чешским министром пропаганды.

Бенеш предложил посланникам Англии и Франции изложить свои заявления в письменном виде, после чего он созвал заседание кабинета. Оказавшись перед таким ультиматумом, исходящим от союзной Франции, правительство Чехословакии приняло лондонские предложения.

В тот же день Боннэ доложил французскому кабинету, что чехи согласились принять англо-французские предложения без всякого давления извне. В то время, когда Боннэ выступал на этом заседании, на улицах Праги маршировали толпы демонстрантов, кричавших: «Долой Францию!»

У дверей французского посольства выросла целая гора брошенных там в знак протеста французских орденов и медалей. Глава французской военной миссии генерал Фоше подал в отставку. Он отослал во Францию все свои военные ордена и вступил в чешскую армию.

Ряд французских министров, в том числе Рейно и Мандель, вручили Даладьё прошения об отставке, предоставив ему право огласить ее в момент, какой он сочтет наиболее удобным.

Французская реакционная пресса праздновала победу. Газеты запестрили передовыми, восхвалявшими Жоржа Боннэ. Орган левого крыла радикал-социалистов, газета «Эвр», долгое время выступавшая против «скатывания радикалов вправо», с самого начала чешского кризиса примкнула к сторонникам «умиротворения». Редактор га-

зеты Жан Пио в пространной статье превозносил Боннэ как «миротворца». Вечером, в кафе, он признался своим собутыльникам, что получил за эту статью двадцать тысяч франков.

22 сентября Чемберлен вылетел в Годесберг на условленное свидание с Гитлером.

Чем дольше продолжались переговоры в Годесберге, тем накалившееся становилась политическая обстановка в Париже. Были сделаны попытки свергнуть правительство. Некоторые из министров, заявивших Даладье о своей отставке, предложили сформировать кабинет президенту сената, старому седобородому Жюлю Жаннене. Такие же переговоры велись с председателем палаты Эррио. Блюм и его бывший министр иностранных дел Дельбос решились даже протянуть щупальцы к крайнему правому Андре Тардье, бывшему премьер-министру.

Казалось, что правительство Даладье обречено. Коммунисты потребовали созыва парламента. Было ясно, что в случае открытого голосования, большинство палаты не захочет или не сможет дать свое одобрение интригам Даладье и Боннэ. В этот решающий момент правительство спас Альбер Шишери, лидер парламентской фракции радикал-социалистов. Он уговорил большинство депутатов радикал-социалистов выступить против созыва парламента.

Есть две версии, объясняющие успех стратегического маневра Шишери. По одной версии, Боннэ просто-напросто подкупил ряд колебавшихся радикалов и предложил им выступить против созыва палаты. Согласно другой версии, Даладье пригрозил распустить палату и объявить новые выборы под лозунгом «Война или мир». При этом он обещал поддержать и субсидировать из секретных фондов лишь тех радикал-социалистов, которые докажут ему свою преданность.

В эти дни под давлением генерального штаба была объявлена частичная мобилизация, и от 600 до 700 тысяч французов стали под ружье.

24 сентября Чемберлен вернулся из Годесберга. Циркулировали слухи, что ему не удалось прийти к соглашению с Гитлером. Казалось, что война снова приблизилась.

В этот день начался великий исход из Парижа. Десятки тысяч парижан, преимущественно из зажиточных слоев населения, в панике покидали столицу. У меня на квартире непрерывно звонил телефон: прощались друзья

и знакомые. В полдень мой редактор обсуждал с сотрудниками план эвакуации газеты в случае объявления войны. Предполагалось, что правительство переедет в Клермон-Ферран или в Тур. Наш администратор вел переговоры с одной типографией в близлежащей провинциальной местности. Редакции больших газет, как передавали, переедут туда же, куда и правительство.

Положение выглядело достаточно мрачно.

В этот же день Боннэ выработал стратегический план контрнаступления. Как это впоследствии разоблачил Фланден, Боннэ совместно с ним наметил программу действий: Фланден обращается к французскому народу с призывом о сохранении мира; с таким же обращением выступает Андре Дельма, руководитель весьма влиятельного союза учителей. Дельма обязался уговорить исполком своего союза опубликовать составленное в энергичных тонах антивоенное воззвание, с тем чтобы распространить его по всей стране. Деньги на опубликование обращения Фландена предоставил Боннэ.

25 сентября французское правительство собралось на заседание, чтобы наметить линию поведения Даладье и Боннэ в Лондоне, куда они были вновь приглашены Чемберленом. Было решено, что французские министры согласятся с первыми лондонскими предложениями о передаче Германии всех округов Чехословакии, где немецкое население превышает пятьдесят процентов. Вместе с тем министрам было поручено настаивать на том, чтобы дальнейшее давление на Чехословакию было прекращено. Боннэ получил также инструкцию добиться прекращения враждебных выступлений Польши против Чехословакии.

Несколько позже Боннэ сообщил одному из сопровождавших его журналистов, что в случае, если положение обострится, к посредничеству будет привлечен Муссолини.

«Я убежден, что войны не будет,—настойчиво повторял Боннэ,—вам незачем эвакуировать семью из Парижа». Журналист, с которым я был дружен, тут же позвонил мне, так как мы оба предполагали отправить наших жен в деревню.

Агентство Гавас принесло известие, что Гитлер назначил всеобщую мобилизацию на 2 часа дня 28 сентября.

Ранним утром 28 сентября была объявлена мобилизация английского флота. Мне сообщил об этом по телефону один из высших чиновников Кэ д'Орсе.

— Значит, будет война? — спросил я.

— Похоже на это, — ответил он.

— А что думает Боннэ?

— Он настроен оптимистически. Он как раз совещается в министерстве с Франсуа Пьетри и начальником своей канцелярии Жюлем Анри.

Из этих совещаний с Пьетри — присяжным почитателем Муссолини — и Анри — присяжным поклонником Боннэ — ничего хорошего выйти не могло. Я позвонил нескольким знакомым журналистам, чтобы узнать их мнение. Результат был таков: 75 шансов против и 25 за то, что война неминуема. Я взял такси и отправился к одному из министров, находившемуся в оппозиции к Боннэ. Он все еще работал в своем кабинете. Вот что он мне сказал: «Большинство палаты за политику сопротивления. Внушительное большинство! Даладье должен будет с этим считаться». Он так верил в это большинство, что в течение получаса говорил об этом. «На сей раз, — уверял он меня, — Гитлер попал впросак».

— А возможно ли посредничество Муссолини? — спросил я.

— Лишь в том случае, если Гитлер попросит его об этом. Ни Франция, ни Англия не могут обратиться с просьбой о посредничестве к человеку, который десять дней тому назад заявил, что Италия сделала свой выбор на случай конфликта.

— Но газеты не перестают говорить об этом.

— Газетная болтовня! — ответил он тоном, не допускающим возражений.

Пока мы вели эти разговоры — ранним утром 28 сентября — телефон между Парижем, Берлином и Лондоном работал с полной нагрузкой. Боннэ передавал новые инструкции в Берлин Франсуа Понсе и в Лондон Шарлю Корбену. Первому были даны полномочия сделать Гитлеру новые, еще дальше идущие, предложения, которые фактически означали принятие годесбергских требований. Корбену же было поручено убедить англичан в необходимости начать через английского посла в Риме переговоры с Муссолини о посредничестве.

Бегство из Парижа достигло высшей точки. В общем итоге свыше двухсот пятидесяти тысяч парижан оставили столицу.

В полдень 28 сентября война казалась неизбежной...

Днем 28 сентября стало официально известно о капитуляции демократических держав. Чемберлен сообщил в палате общин, что при посредничестве Муссолини премьер-министры Англии и Франции приглашены Гитлером в Мюнхен для личного свидания.

На следующий день Даладье и Чемберлен вылетели в Мюнхен, где они встретились с Гитлером и Муссолини. Вечером был подписан мюнхенский договор, и судетские округа Чехословакии перешли к Гитлеру.

Даладье на следующий день вернулся на самолете в Париж. Передают, что он готов был повернуть обратно, когда увидел громадную толпу, собравшуюся вокруг аэродрома Де Бурже. Но тут он услышал крики: «Да здравствует Даладье! Да здравствует мир!» Он принял диктаторскую позу, вышел из самолета и важно проследовал с Жоржем Боннэ к ожидавшей их машине. Когда машина ехала по городу к военному министерству, Даладье встал, приняв позу à la Гитлер. Боннэ, сидевший с ним рядом, смотрел на ликующую толпу, и на его тонких губах блуждала усмешка.

Другой анекдот, распространившийся немного позже, идет из английского министерства иностранных дел: Даладье якобы держался в Мюнхене очень хорошо — до обеда, но затем он нагрузился и, вернувшись в зал заседаний, не мог уже проявлять даже видимости сопротивления.

Роль, которую сыграл Даладье в этот последний месяц, приведший к Мюнхену, оценивалась различно. Некоторые изображали его в виде горячего патриота, который после жестокой внутренней борьбы, наконец, согласился на мюнхенский пакт ради Франции. Но истина заключается в том, что в самые критические моменты Даладье целиком поддерживал тактику Боннэ. Он ни разу не опроверг лживую информацию своего министра иностранных дел, приведшую к таким катастрофическим последствиям.

Когда Боннэ по своему «резюме» знакомил членов кабинета с меморандумом Гамелена, никто не мог с большим правом, чем министр национальной обороны Даладье, заставить его замолчать, никто лучше его не мог сказать кабинету всю правду. Даладье знал, что генеральный штаб пришел к выводам, совершенно обратным тем, которые излагал Боннэ. Он знал, что Гамелен подчеркивал следующие факты:

1. Глава германского генерального штаба, генерал Бек, 3 сентября отказался от занимаемой им должности, ибо «не желал вести армию к катастрофе». 2. Германская «Западная стена» далеко не закончена, и, согласно сообщению французского военного атташе в Берлине, «ее так же легко прогрызть, как кусок сыра». 3. Германская армия еще ни в какой мере не готова, и ей потребуется не меньше года самых напряженных усилий, прежде чем она решится начать войну. 4. Оценка, данная Красной Армии французским генеральным штабом, резко расходилась с той оценкой, которой оперировал Боннэ; штаб считал русские танки и самолеты равными германским. 5. Прекрасно вооруженная чешская армия, насчитывающая 40 дивизий, тысячу самолетов и полторы тысячи танков, могла бы сопротивляться самое меньшее 2—3 месяца, даже если бы сражалась одна.

Все это Даладье знал, но он предпочитал молчать. Даладье не мешал Боннэ делать свое грязное дело.

Даладье знал, что его министр иностранных дел занимался крупными спекуляциями на фондовой бирже, успех которых зависел от уступок Гитлеру. Тайная полиция снабдила Даладье копиями всех ордеров, которые банк учитывал для себя и для Боннэ. Несколько министров, знавших об этих операциях, потребовали ареста директора банка и отставки Боннэ. Но Даладье не хотел об этом и слышать.

Даладье знал о тайных интригах, которые плелись на Кэ д'Орсэ. Многие его министры неоднократно сообщали ему, что Боннэ встречается с группой неофициальных советчиков, с которыми он вместе вырабатывает тактику деморализации населения. Даладье был осведомлен о том, что сигналы о начале подобной кампании давались Кэ д'Орсэ.

Штаб советчиков Бонне состоял прежде всего из быв-

шего премьер-министра Фландена и Жана Мистле, председателя комиссии иностранных дел палаты. Другим членом этого кружка был невзрачный, но честолобивый депутат от Корсики — Франсуа Пьетри. Генеральный секретарь социалистической партии Поль Фор, заядлый враг Леона Блюма, также посещал собрания группы Боннэ. Марсель Деа, который в 1936 году, будучи министром воздушных сил в кабинете Сарро, сыграл такую роковую роль, пользовался особым доверием министра иностранных дел. Депутат Гастон Бержери, адвокат, опасный интриган, был постоянным гостем в этом замкнутом кружке. К нему примыкали также два видных профсоюзных деятеля: Рене Белен, заместитель секретаря Генеральной конференции труда, чью газету «Синдика» Боннэ щедро субсидировал, и Андре Дельма, глава союза учителей.

Этих людей можно было видеть ежедневно и ежедневно на Кэ д'Орсэ в тот критический период. Они снабжали газеты, стоящие за «умиротворение», материалами против так называемых «поджигателей войны» — Жоржа Мандела, Жюля Жаннене, Эдуарда Эррио и англичан — Уинстона Черчилля и Ллойда-Джорджа. Они создавали в стране чувство неуверенности, постепенно подтачивавшее моральное состояние масс. Жоржа Бонне они изображали в виде ангела мира, в то время как Жорж Мандель рисовался мрачным сатаной, подкупленным евреями для того, чтобы воздвигнуть новую, еврейскую Францию на развалинах французского отечества. Даладье превозносился как «сильный человек», желающий спасти Францию от уничтожения. Про Жюля Жаннене, председателя сената, рассказывали, что он от старости выжил из ума. Про Эррио говорили, что он вынашивает в своей утробе чудовищные планы против Франции.

Когда в эти тревожные дни во Францию приехал Уинстон Черчилль, его немедленно объявили «поджигателем войны номер первый». Таковы были отравленные басни, извергавшиеся подобно чернильному фонтану изпод бойких перьев группы Боннэ.

Они распространяли гнусную ложь, будто президент Бенеш сам просил Боннэ усилить на него нажим, чтобы он смог принудить чешский кабинет к капитуляции. От них исходил текст фланденовского воззвания против мобилизации. Они были генеральным штабом тех предателей внутри страны, которые стремились разрушить

Францию. Они были самыми активными из всех агентов Гитлера внутри страны.

Боннэ хлопотал о франко-германской декларации, в которой были бы признаны существующие границы. Это — он был уверен — до такой степени увеличило бы его престиж, что позволило бы ему потребовать пост премьера. В течение нескольких месяцев после Мюнхена он истратил колоссальную сумму из секретных фондов на личную рекламу. Почти повсеместно во Франции целые газетные полосы отводились под восхваляющие его передовицы. Ежедневно появлялись сообщения о «народных» демонстрациях в его честь.

Национал-социалисты знали о претензиях Боннэ и пользовались ими для своих целей. Один депутат рассказал мне о своем разговоре с графом Велчеком, во время которого германский посол доверительно сообщил ему, что Боннэ весьма неумеренно разглагольствовал о своих политических планах. Депутат добавил, что ему было крайне неприятно узнать о хвастовстве Боннэ из такого источника.

Другим претендентом на пост Даладье был Пьер-Этьен Фланден. Его претензии тоже играли роль в расчетах национал-социалистов. Однако его шансы значительно поколебались, когда стало известно, что после Мюнхена он послал Гитлеру поздравительную телеграмму. Это заставило его держаться пока в тени. Социалистический депутат Грумбах зачитал в комиссии по иностранным делам ответ Гитлера Фландену: «Я все время с большим интересом и симпатией следил за вашей прошлогодней деятельностью», — гласила телеграмма Гитлера. Это Даладье, раздосадованный соперничеством Фландена, вручил Грумбаху текст гитлеровского ответа.

Не успело новое большинство палаты проголосовать за Даладье, как эти хозяева положения тут же предъявили счет своему избраннику. Он рассчитывал перехитрить правых — теперь они ему указали его место. Во время одного очень решительного разговора Кайо преподнес ему ультиматум. Он потребовал, чтобы Даладье отправил посла в Италию, где этот пост был вакантным и оставался вакантным уже больше года. Далее он настоял, чтобы премьер осуществил на деле данное им в августовской речи по радио обещание отменить 40-часовую неделю. Он потребовал, чтобы министра финансов Маршандо, заподо-



зренного в приверженности идее хозяйственного планирования и установления контроля над биржей, послали ко всем чертям. Наконец он потребовал роспуска коммунистической партии. За выступлением Кайо последовало требование со стороны группы правых депутатов, которые выразили свои пожелания в весьма недвусмысленной форме. Высший деловой мир тоже привел свои орудия в готовность: несколько миллиардов франков улетучились из страны, чтобы напомнить Даладье о судьбе тех его предшественников, которые не проявили должной уступчивости.

Даладье не заставил просить себя дважды. Французский посол в Берлине Франсуа Понсе получил назначение в Рим. Он был заменен Робером Кулондром, который был до того французским посланником в Советской России. В Москву был направлен дипломат меньшего ранга — Наджиар. Боннэ воспользовался этими дипломатическими перемещениями, чтобы вручить управление бюро печати на Кэ д'Орсэ некоему ничтожеству — Бресси, чья свояченица была на короткой ноге с одним национал-социалистским дипломатом.

На очередном съезде радикал-социалистов в октябре Даладье резко выступил против коммунистов. Собрание вынесло решение, согласно которому Народный фронт официально объявлялся несуществующим. Зарево грандиозного пожара в марсельском универсальном магазине, приведшего к многочисленным человеческим жертвам, послужило как бы зловещим фоном для этого собрания радикалов.

Вернувшись в Париж, Даладье перетасовал свой кабинет. Злополучный министр финансов Маршандо, ровно ничего не подозревавший, перешел в министерство юстиции. Честолюбивый Поль Рейно стал министром финансов. Его приятельница, графиня Элен де Порт, предсказала мне эту перетасовку за четыре дня до того, как она состоялась.

После Мюнхена прогерманская пропаганда во французских политических кругах, в гостиных и редакциях стала развиваться с удвоенной энергией. Франко-германский комитет, в котором заместитель премьера Камиль Шотан обменивался любезностями с Абетцом, наводнил страну роскошными изданиями, восхвалявшими франко-германскую дружбу. Парижские киоски были заполнены гнусными антисемитскими брошюрами. Г-жа Боннэ изощрялась в дешевых антисемитских островах не только в снобистских

салонах, но и у своего парикмахера и во время своих поездок по магазинам. Фавориты Дорио распространяли удешевленное, тщательно подчищенное французское издание книги «Mein Kampf», титульный лист которой гласил, что она отпечатана в Германии. Анτικοминтерновское бюро в Женеве фабриковало тоннами памфлеты против франко-советского пакта.

Искусно сдобривая ложь полуправдой, жонглируя опровержениями и сенсациями самого противоречивого свойства, действуя подкупом, Жорж Боннэ усиленно снабжал правую печать материалом, бичующим так называемых «торговцев войной». Печатались самые невероятные и вздорные выдумки, лишь бы только они были направлены против жалких остатков Чехословакии, против республиканской Испании или против Советской России. Правая печать не теряла времени на рассмотрение ни их правдоподобности, ни источника. Кампания против так называемых «fausses nouvelles» стала неотъемлемой принадлежностью печати сторонников «умиротворения». Председатель сената Жаннене пустил в ход фразу, которую по-французски можно было понять двояко: в том смысле, что Боннэ — величайший опровергатель новостей, и в том, что он — величайший лжец. В парламентских кулуарах без конца толковали о лживости Боннэ. Один депутат, намекая на старую французскую поговорку, утверждающую, что у лжеца нос растет по мере того, как он лжет, постоянно встречал меня словами: «Вы заметили, у Жоржа нос опять вырос!»

Раздраженный личными нападками печати, выступавшей против «умиротворения», и взбешенный недружелюбной позицией большинства иностранных корреспондентов, Боннэ жаждал мести. Он попросил министра внутренних дел выслать трех руководящих английских корреспондентов, в числе которых был и Кэдет из «Таймса». Вина Кэдета заключалась в том, что в одной из своих статей он намякнул на применяемую Боннэ технику лжи. Министр Сарро отказался выполнить требование Боннэ из боязни дипломатических осложнений. Тогда фашистский еженедельник «Гренгуар», щедро субсидируемый Кэ д'Орсэ, стал давать один залп за другим по иностранным журналистам.

Затем выступил со своим предложением Лаваль. В сенатской комиссии по иностранным делам он потребовал, чтобы франко-советский пакт о взаимной помощи, кото-

рый он сам заключил, был денонсирован. Он с сочувствием остановился на замыслах Гитлера, направленных против Советской Украины, которые, по его утверждению, Франция может только приветствовать. Ободренная внушениями Кэ д'Орсэ, газета «Матэн», вскоре поддержанная многими другими газетами, с большим увлечением описывала приготовления Гитлера к украинскому походу. Крошечная столица Прикарпатской Украины (в то время еще принадлежавшей Чехословакии) была наводнена специальными корреспондентами французских газет. Их рассказы изобиловали подробностями о деятельности национал-социалистов в этой отдаленной области, которой предстояло послужить трамплином для нападения на Советскую Украину. Слушая их, можно было подумать, что германо-советская война уже на пороге.

В этой атмосфере нервности и беспокойства новый министр финансов Поль Рейно обнародовал свои чрезвычайные декреты. Они взвалили на плечи народа еще более тяжелый груз. Подоходные и косвенные налоги сильно возросли. Папиросы, автобус и метро, почтовые услуги и телефон вздорожали. 40-часовая неделя была фактически отменена. Сверхурочный труд стал принудительным. Полтора миллиона железнодорожников и государственных и муниципальных служащих оказались в руках так называемого «комитета топора». Не менее ста тысяч человек лишились заработка. Рабочие встретили это новое положение вещей с возросшим негодованием.

Вскоре итальянская палата депутатов оказалась свидетельницей бурного взрыва антифранцузских чувств. Во время речи графа Чиано фашистские депутаты вскочили со своих мест с криками: «Джибути — Корсика — Ницца!» Бледный, окаменевший, глядел французский посол в Риме Франсуа Понсе на это инсценированное требование французской территории, встреченное благосклонными улыбками на правительственных скамьях. Франсуа Понсе не покинул своей дипломатической ложи.

Боннэ поспешно созвал дипломатических корреспондентов. Он умолял их не придавать событию чрезмерного значения. Он утверждал, что оно не выражает официальной итальянской точки зрения. В тот вечер его подручные объехали парижские редакции, чтобы убедиться, что эту

новость замолчат. За немногими, почетными, исключениями, газеты последовали указанию Боннэ.

30 ноября в Париже были мобилизованы полиция и войска. Началась 24-часовая всеобщая забастовка. Профсоюзы с промюнхенским руководством оказали ей лишь прохладную поддержку, и — случай, не имеющий прецедента, — о забастовке было объявлено за четыре дня. Это дало правительству возможность подготовить крутые контрмеры. Все бастующие гражданские служащие были поставлены под угрозу немедленного увольнения; так же поступили и с железнодорожниками. Профсоюзные лидеры не включили коммунальные предприятия Парижа в число бастующих предприятий.

Вечером Даладье выступил по радио. Это была речь победителя. К забастовщикам были немедленно применены суровые репрессии. Тысячи были уволены. Сотни арестованы и осуждены без следствия и суда.

В начале декабря Иоахим фон Риббентроп прибыл во французскую столицу. Подписание франко-германской декларации, содержащей обоюдное признание существующих границ окончательными, было обставлено очень торжественно. Этот новый «клочок бумаги» рекламировался при помощи кинолент, радиовещания и газетных статей.

Мало-помалу происходящие в Италии антифранцузские демонстрации стали известны во Франции, несмотря на все усилия замолчать их. Они вызвали всеобщее негодование. Даже высшие деловые круги, обычно симпатизирующие методам Муссолини, нашли эти претензии на французские владения чрезмерными. Их мысль всегда заключалась в том, чтобы откупиться от диктаторов, предоставив им проглатывать малые страны, хотя подобная политика таит в себе определенную опасность. Но они считали, что требование французских территорий, возникшее столь скоро вслед за Мюнхеном, нарушало молчаливое соглашение. И они насторожились. Суэцкая компания на своем годовичном собрании заняла непримиримую позицию по отношению к посягательствам Италии на канал. Это вызвало следующую остроту Мандела: «Теперь мы можем быть спокойны. Суэцкая компания собирается спасти честь Франции, — разумеется, вместе с дивидендами, как обычно».

Министры — противники Мюнхена — потребовали, чтобы против итальянских провокаций были предприняты официальные шаги. И вот палата оказалась свидетельни-

цей клятвенных заверений «миролюбца» Боннэ. Он обошел молчанием тот факт, что Италия денонсировала римское соглашение, подписанное Лавалем в январе 1935 года. Взамен он заверил, что «ни дюйма французской территории не будет уступлено». Депутаты мрачно улыбались новой шутке, пробежавшей по рядам: «Похоже на то, что Боннэ подкуплен французским правительством!»

Словив общую стачку, Даладье, больше чем когда-либо, чувствовал себя Наполеоном. Он решил теперь совершить поездку по французской Северной Африке. При этом он преследовал двоякую цель: дать косвенный ответ на итальянские требования и укрепить связи между метрополией и колониями. Была у него и еще одна побудительная причина: его триумфальная поездка должна была развеять заветные грезы Боннэ о посте премьера. Как сказал мне секретарь Даладье, «это путешествие, если оно будет иметь тот успех, на который мы рассчитываем, надолго лишит Боннэ попутного ветра».

В течение десятилетий главным центром империи была французская Северная Африка. Были у Франции и другие богатые и экономически развитые колонии: на Дальнем Востоке — Индо-Китай, с его рисом и минеральными богатствами; у южно-африканского побережья — большой, далекий остров Мадагаскар; имеющие стратегическое значение острова в южной части Тихого океана; несколько владений в Америке; на Ближнем Востоке — важные подмандатные территории — Сирия и Ливан. Но главным фундаментом империи была Северная Африка. Алжир, Тунис и Французское Марокко, так же как и остров Корсика в Средиземном море, играли роль обширных резервных складов зерна и вина.

Французская Северная Африка была также резервуаром воинской силы. Как раз путем больших военных наборов среди туземного населения французские военные руководители рассчитывали компенсировать, в случае войны, невыгодное положение Франции, вызванное более низкой рождаемостью в стране.

Этим объясняется также, почему основной задачей французской стратегии на море была охрана средиземноморских коммуникаций с Северной Африкой. В этой части земного шара наиболее угрожающим соперником Франции была Италия с ее великодержавными мечтами.

Маршрут Даладые проходил через Корсику, Тунис и Алжир. Повсюду население устраивало шумные демонстрации в честь демократической Франции. Во время путешествия премьер произнес большое количество речей. Он говорил о твердом решении Франции блюсти целостность Французской империи.

— Мы дадим отпор, — восклицал он, — любому нападению — прямому или косвенному, произведенному при помощи силы или хитрости, — и сделаем это с решимостью и энергией, которым ничто в мире не может противостать.

В то самое время, как он это говорил, полным ходом развертывалось косвенное нападение на Францию в крупном масштабе: войска Франко, итальянские легионеры и национал-социалистские танки двигались на Барселону. Положение испанских республиканцев было отчаянным.

Как обнаружилось из позднейших официальных отчетов, они располагали на передовых линиях всего-навсего 30 000 винтовок. Запасы амуниции пришли у них к концу. Их авиация имела дело с десятикратно превосходящей ее по численности авиацией противника. Испанская республика слала в Париж отчаянные просьбы о помощи. Два парохода с советским оружием и снаряжением уже несколько недель стояли на якоре в одном из французских атлантических портов, ожидая разрешения переплыть франко-испанскую границу. Боннэ сказал «нет». Даладые сказал «нет». Франко продолжал наступление.

Чем ближе подходил он к Барселоне, тем больше росло возбуждение в Париже; даже те депутаты, которые прежде не сочувствовали республиканцам, теперь высказывались за помощь им. Участь отступающих армий, страдания гражданского населения, в течение стольких месяцев выдерживавшего голод и бомбардировку, вызывали глубокое сочувствие. Но Невиль Чемберлен, вернувшись из Рима, где ему был оказан ледяной прием, послал к Даладые и Боннэ своего представителя, чтобы напомнить им о необходимости держать франко-испанскую границу закрытой. И вот, несмотря на растущую волну гнева в левых кругах, Даладые и Боннэ отвергли просьбу испанского министра иностранных дел, который приехал в Париж. Русскому снаряжению пришлось ждать, пока падение Барселоны не стало вопросом дней. Тогда было получено разреше-

ние на его отправку. Разумеется, оно прибыло слишком поздно.

В январе 1939 года Барселона пала. Через две недели войска Франко появились на французской границе. Сотни тысяч бойцов и граждан бежали из республиканской Испании во Францию. Здесь их поместили в лагеря. Они страдали от равнодушия властей, от жестокого холода и плохого питания. Анри де Кериллис писал тогда, что царящий в лагерях для беженцев хаос свидетельствует о позорной неспособности французских гражданских и военных властей что-нибудь должным образом организовать. Правые газеты ответили кампанией против «шантажирования жалостью» и требованием выдачи «испанских преступников» генералу Франко.

История унижения Франции пополнилась новой страницей. Сенатор Леон Берар, кандидат Лавалья на предстоявших президентских выборах, дважды ездил в Бургос для переговоров о признании Францией правительства Франко. Генерал не принял его. Целыми днями Берар сбивал пороги министерства иностранных дел Франко в ожидании аудиенции. Пришлось пообещать Франко все золото, депонированное испанскими республиканцами, и все оружие, которое они сложили на французской границе, прежде чем он удостоил дать согласие на свое признание. Палата вынесла решение о признании незначительным большинством в 323 голоса против 264, при наличии около 20 воздержавшихся. Больше трети депутатов, принадлежащих к партии самого Даладье, голосовали против признания Франко.

В Рим был отправлен эмиссар. Это был друг Лавалья, директор Индо-Китайского банка Поль Бодуэн. В качестве главы франко-итальянского треста, имевшего монополию на добычу соли в итальянской Восточной Африке, Бодуэн был в столице Италии частым гостем. У него были связи с самыми влиятельными лицами в итальянских политических кругах. Деловые интересы и политические симпатии делали его ярким сторонником сближения с Италией. Что предложил он в Риме, об этом можно только догадываться: долю в прибылях Суэцкого канала, новый статут для итальянцев в Тунисе, может быть, порт Джибути — конечный пункт единственной железной дороги в Абиссинии. В то время распространялись рассказы о том, будто Джибути невозможно защищать. Высшие чиновники Кэ

д'Орсэ говорили мне, что они подозревают Боннэ в намерении устроить сделку, уступив Италии Джибути.

В марте Франко занял Мадрид. Правительство Даладье излучало оптимизм. Доказывалось, что, признав Франко, демократические страны получают возможность эффективнее бороться против усиления национал-социалистского и итальянского влияния в Испании и даже уменьшить это влияние. Посол в Мадриде, маршал Петэн, считался крупной фигурой в этой игре. Заключенное в предвидении победы Франко джентльменское соглашение Великобритании с Италией теперь начнет функционировать. А Франция в «очищенной» европейской атмосфере тоже достигнет взаимопонимания с Муссолини.

Всякий, кто пытался предостеречь против такого необоснованного оптимизма, объявлялся «торговцем войной». Газета «Жур» требовала, чтобы «эти негодяи», которые видят тучи в ясном небе, — вроде Пертинакса и Женестьеви Табуи, — были посажены за решетку.

Оптимизм все возрастал. В начале марта Невиль Чемберлен заявил в печати, что все признаки указывают на спокойное политическое будущее и на облегчение экономического положения в Европе. Его рупором во Франции был Пьер-Этьен Фланден. 12 марта он объявил: «Доходящие до нас за последние дни прогнозы Лондона относительно международного положения гораздо более оптимистичны. Итак, пророки, столь упорно трудившиеся и продолжающие трудиться над тем, чтобы встревожить общественное мнение Франции, теперь видят, как их зловещие предсказания одно за другим обнаруживают свою лживость».

15 марта 1939 года, через пять с половиной месяцев после Мюнхена, Гитлер вступил в Прагу.

За этой сенсацией, скоро последовал Мемель. В страстную пятницу Муссолини вторгся в Албанию и включил ее в состав новой Римской империи.

## ПРИБЛИЖЕНИЕ ВОЙНЫ

Говорили, что после событий в Праге Даладье и Чемберлен изменили свою тактику, что они отказались от политики умиротворения. Я плохо верю в это. Злобный провинциал, Эдуард Даладье не так-то легко усваивал



преподанные ему уроки. Обоим не доставало того величия, которое отличает настоящих государственных деятелей и которое выражается в умении признавать собственные ошибки. Даладье вовсе не склонен был признавать, что наделал в прошлом глупостей.

Политика умиротворения не была продиктована мотивами сентиментальности. Она не была порождена и тем умонастроением, которому присуща столь сильная ненависть к войне, что любые жертвы кажутся предпочтительнее. Нет, эта политика вытекала из чисто политической концепции, ясно выраженной французской фашистской газетой «Комба»: «Партии правого крыла страшились войны не только из-за связанных с ней бедствий, не только из-за возможного поражения и опустошения Франции, но, главным образом, из-за того, что поражение Германии означало бы крушение авторитарных систем, которые представляют главный оплот против коммунизма и, пожалуй, большевизации Европы».

Известно, что русское предложение о созыве конференции с участием Франции, Великобритании, России, Польши, Румынии и Турции для обсуждения мер сопротивления дальнейшему развитию агрессии поступило через три дня после падения Праги. Однако оно было отвергнуто как «преждевременное».

К концу марта из Берлина, Варшавы и Данцига начали просачиваться слухи о том, что в Данциге назревает национал-социалистский путч.

Угроза по адресу Данцига, таившая в себе опасность общеевропейской войны, сплотила общественное мнение, особенно в Англии. Надо было что-то предпринимать. Совершенно очевидной становилась необходимость вступить в переговоры с русскими и выдвинуть четкие предложения. Это сделано не было.

В том же месяце было сделано англо-французское предложение России: гарантировать помощь Польше, подобно тому как это сделали демократические державы. Русский ответ пришел через два дня; он содержал предложение немедленно заключить тройственный союз между Францией, Великобританией и Россией.

9 мая последовал ответ на русское предложение — более чем три недели спустя после его вручения. Ответ этот представлял собою слегка измененный вариант первоначального англо-французского предложения.

Русские снова не теряли времени с ответом. По истечении пяти дней они повторили свое требование о тройственном союзе.

Прошло две недели, пока демократические державы приняли решение. За это время немцы и итальянцы закончили переговоры о военном союзе. Кулондр прислал еще одно предостережение из Берлина. На этот раз оно было сформулировано гораздо резче.

27 мая, наконец, были посланы инструкции французскому и английскому послам в Москве вступить в переговоры о тройственном союзе с русскими.

В тот же самый день был подписан военный союз между фашистской Германией и фашистской Италией — так называемый «железный пакт». Переговоры о нем длились ровно двадцать дней.

Смятение во Франции быстро нарастало. Съезд французских социалистов выявил глубокие разногласия внутри партии. Единый фронт между социалистической и коммунистической партиями был нарушен. Генеральный секретарь социалистической партии, Поль Фор, один из советников Боннэ, предостерегал против союза с Россией. «Если державы оси почувствуют себя окруженными, — говорил он, — они начнут войну».

Марсель Деа, другой приспешник Боннэ, открыл в прессе кампанию против «риска во имя Данцига».

Июнь закончился на несколько более спокойной ноте.

Главный агент Гитлера во Франции, Отто Абетц, был выслан. Ловкий и не лишенный культуры человек и бойкий собеседник, он был женат на француженке и блистал во многих парижских салонах. Графиня Элен до Порт, подруга Поля Рейно, и маркиза де Крюссо, приятельница Даладье, приглашали его к себе.

Он имел в своем распоряжении огромные суммы денег. Он покупал журналистов, издателей, рекламную прессу. Он покупал политических деятелей. В донесении из Берлина, погребенном в архивах Боннэ, говорилось, что Абетц однажды, в минуту откровенности, хвастал, что свыше дюжины французских парламентариев у него в хармане.

Последняя неделя августа ознаменовалась новыми ходами и контрходами, по мере того, как перспектива войны вырисовывалась все яснее. Боннэ дал инструкцию французскому послу в Варшаве внушить польскому правительству, что «оно должно воздержаться от какого бы то ни было военного вмешательства в случае объявления Данцигского сената о присоединении вольного города к Германии». Это означало, что Франция решила отдать Данциг Гитлеру.

Оптимистические прогнозы сменялись пессимистическими и наоборот с быстротой чуткого барометра. Сообщали, что Гитлер склонен к переговорам. Сэр Невиль Чемберлен летал из Берлина в Лондон и возвращался всякий раз с новым предложением. Робер Кулондр несколько раз посетил фюрера. Даладьё повторно писал Гитлеру, предупреждая, что Франция выступит на стороне поляков, если на тех нападут.

Миллионы французов были призваны в армию. Сотни тысяч жителей покинули Париж. Потом, в конце августа, пронесся слух, что поляки и немцы вступают в непосредственные переговоры. Министр сказал мне с облегчением: «Сегодня мы можем спать спокойно».

Но все надежды рассеялись, как дым, когда германское радио огласило меморандум, содержащий немецкие условия Польше. В заключение сообщалось, что требование германского правительства о том, чтобы поляки прислали уполномоченное лицо для ведения переговоров, выполнено не было. Поэтому условия более не действительны.

— Как вы думаете, ударят они этой ночью? — спросил я на Кэ д'Орсэ.

— Министр думает, что это очередной германский блеф, — последовал ответ.

На следующее утро я был разбужен сообщением о том, что германские войска перешли польскую границу.

Кабинет заседал в тот день долго. Один из министров сообщил мне, что Боннэ поручено принять приглашение дуче на конференцию, которая состоится 5 сентября. Французское правительство не ставило при этом никаких условий. Британский кабинет тоже принял приглашение, но при условии, что немцы выведут войска из Польши. Несколько часов длился спор между Лондоном и Парижем, прежде

чем французское правительство присоединилось к английскому требованию.

Был отдан приказ о всеобщей мобилизации. Кафе были набиты до отказа. Метро и автобусы тоже. Достать такси было немыслимо... И... ничего определенного! Одни только слухи.

Второго сентября собралась палата для заслушания доклада Даладье. Все знали, что война неминуема. Но после слов Даладье в этом уже не оставалось никаких сомнений.

Германские войска в Польше продвигались вперед. Пришли первые сообщения о крупных воздушных налетах.

Воскресенье 3-го сентября было последним днем мира. Французский посол посетил Риббентропа и заявил, что Франция объявит себя в состоянии войны с Германией в пять часов дня, если немецкие войска не будут выведены из Польши. Срок британского ультиматума истекал в одиннадцать часов.

Часы ползли вперед со скоростью улитки. Целая вечность прошла, пока стрелки дошли до пяти. Франция вступила в войну.

Ждать ли уже сегодня германских самолетов? Я уверен, что этот вопрос задавали в тот вечер в каждом доме. Полицейский патруль остановил меня возле площади Оперы и потребовал документы. Сержант непочтительно выругался: «Этих негодяев можно ждать уже сегодня!»

Затемнение действовало угнетающе. Патрули противовоздушной обороны носились взад и вперед и отчаянно свистели, заметив малейшую светлую щель в окне. Страж на нашей улице был особенно рьян по части свиста. За время войны он не раз доводил нас до мигрени.

В редакции работы почти не было. Свирепствовала цензура. Между тем германские войска продвигались все глубже в Польшу.

## **ОТ ВОЙНЫ ПОЗИЦИОННОЙ К ВОЙНЕ МОЛНИЕНОСНОЙ**

Мобилизация шла, как заведенный механизм, — так, по крайней мере, утверждали власти. Они забывали добавить, что по плану мобилизация требовала около пятидесяти дней. Гитлер захватил Польшу за вдвое меньший срок.

Нет никакой единой формулы для способа ведения войны. Если Германия в своем наступлении на Францию избрала путь молниеносной войны, то не потому, что германским генеральным штабом руководило непреодолимое желание беспрерывно наступать. Доктрина молниеносной войны возникла в Италии и была принята Германией потому, что все шансы на успех для обеих наций заключались в быстроте решения. Географическое положение Германии, недостаточная продуктивность ее сельского хозяйства, зависимость от импортного сырья — все это диктовало тактику отдельных, но сосредоточенных, и быстро следующих друг за другом смертельных ударов.

Положение Франции было иным — она имела перед собой противника с сильной военной традицией, вдвое превосходящего ее по численности. Франция могла противопоставить этому перевесу в живой силе и технической мощи только сотрудничество с другими народами. Без этого ей пришлось бы идти в заведомо неравный бой. Она могла выравнивать шансы только путем оттяжки своего вступления в войну, пока морская блокада начала бы оказывать свое действие на Германию. Отсюда и родилась идея линии Мажино.

Сейчас считается почти аксиомой, что Франция потерпела поражение именно из-за своей слепой веры в линию Мажино. Мне это утверждение представляется далеким от истины. Сама линия Мажино, возможно, не так уж плоха — фатальным оказался «дух Мажино», порожденный ею.

Этим я хочу сказать, что французский генеральный штаб в своих расчетах полагался в первую очередь на бетонные укрепления линии Мажино, а не на людей, посланных для их защиты. Говорят, что французский генеральный штаб готовился в 1940 году повторить войну 1914 года. И действительно, французская военная стратегия не приняла в расчет тех грандиозных перемен, которые произошли за истекшие двадцать лет.

Было бы неверно утверждать, что французский генеральный штаб совершенно не отдавал себе отчета в требованиях, предъявляемых современной войной к технике, он разве только недооценивал — и действительно недооценил — роль авиации и танков. Но одного этого недостаточно, чтобы объяснить страшное поражение Франции. В чем французские генералы вместе с французскими госу-

дарственными деятелями обанкротились совершенно, так это в оценке политического фактора.

Современная война, при всех ее необъятных технических возможностях, может быть проиграна еще до ее начала. И в этом подлинный и основной урок последней войны во Франции.

Франция вступила в войну расколотой сверху донизу. Она была расчленена и самой войной и теми событиями, которые привели к ней. Один видный германский военный теоретик писал, что во время войны следует при всех обстоятельствах избегать вопроса «Из-за чего война?» А между тем, чуть ли не весь французский народ к началу военных действий настойчиво требовал ответа на этот вопрос. Этот вопрос читался во взглядах солдат, уходивших на фронт, матерей, жен и сестер, со слезами на глазах махавших вслед поезду, пока он не скрывался из виду.

Никто, конечно, не ждал взрыва энтузиазма. Пресса твердила, что молчание, которым была встречена война, было знаком благородной решимости, символом того, что французы намереваются положить конец нестерпимому положению — *il faut en finir*. Но это было совсем не так. С тяжестью в сердце уходили французы на войну. В лучшем случае люди готовы были покорно претерпеть все тяготы этой войны. Но они ставили под сомнение ее необходимость.

Политики, на которых была возложена миссия крепить стойкость народа, спасовали перед этой непосильной для них задачей. Да и как могло быть иначе? Правительство заявляло: «Единство в наши дни — все». Но само оно было расколото. Первые полосы газет кричали о небывалом мужестве, проявляемом французским народом. А на второй полосе не смолкали прежние дразги, споры и раздоры.

О каком же единстве можно было мечтать? Единство не достигается праздными разговорами. Оно возникает вокруг большой идеи, вокруг необходимости. В этой войне народ не чувствовал ни того, ни другого. Борьба за демократию? Этот лозунг потерял свою привлекательность для большинства народа, — ведь демократия у всех на глазах уживалась с предательством и бесчестием.

Борьба против гитлеризма? Но этот пароль был не по

праву тем, для кого Гитлер являлся оплотом против большевизма. Истинный враг, считали они, находится не по ту, а по эту сторону Рейна.

Национал-социалистская пропаганда превосходно учитывала магическую силу этого лозунга. Она ловко оперировала им до войны. Она продолжала оперировать им и во время войны. Мощная «пятая колонна», окопавшись на руководящих постах в государственном аппарате, проводила его в жизнь. Когда началась война, разложение уже проникло в сердце Франции. Бастион Франции был взорван изнутри раньше, чем он был захвачен извне.

Война Франции с Германией продолжалась десять месяцев. В течение восьми с половиной месяцев это была война позиционная. Нервы населения непрестанно подвергались обстрелу германской пропаганды, и французы, видимо, не располагали никаким действенным заслоном против нее. Всего за полтора месяца немцы завершили свою молниеносную войну против Франции. Исход стал ясен уже в первые две недели. Французская кампания была проиграна, когда германские войска совершили прорыв у Седана и достигли Ламанша. Дважды за семьдесят лет судьба Франции была решена в одной и той же географической точке — Седан стал для Франции символом катастрофы. После Седана 1870 года была создана Третья французская республика, в Седане 1940 года она была умерщвлена.

Десятимесячную кампанию во Франции можно разбить на пять периодов. Они сменяют друг друга неумолимо, словно акты греческой трагедии.

Первый период охватывает время от начала войны до падения Варшавы. Он длился двадцать семь дней сентября.

В течение этого времени Гитлер обнаруживал самые дружелюбные чувства к Франции. «Я не воюю с французами. Я не собираюсь нападать», — заявил он в своей речи в рейхстаге, подводя итоги первых дней военных действий. То же самое неустанно твердили его радиостанции и его французская агентура.

Помню, я беседовал с женой одного журналиста, который работал военным корреспондентом во французской армии. Она слово в слово повторяла мне целые абзацы

из речи Гитлера. Продавец, у которого я имел обыкновение покупать газеты, говорил мне: «Что касается нас, то немцы с нами очень милы».

За эти первые четыре недели войны Франция быстро применилась к условиям военного времени. Затемнения превратили Город Света в город тьмы. Первые воздушные тревоги прошли без каких-либо серьезных последствий. Когда впервые загудели сирены, у моей молодой соседки, служившей в министерстве колоний, началась истерика. Но большинство женщин нашего дома спокойно стояли на своих местах в противогазах. Уже с третьей тревоги завывание сирены стало восприниматься как нечто заурядное. Никто не пугался и не впадал в панику. Сначала мы все таскали с собой противогазы и даже гордились ими, словно военным отличием. Постепенно они стали исчезать с улиц.

Французская армия осторожно продвигалась по «ничьей земле» и по минированной территории Саарской области. Впереди армии высылались стада свиней, чтобы обезопасить минное поле. Газеты сообщали, что это продвижение французов вынудило Германию перебросить шесть дивизий с польского фронта на линию Зигфрида. Но им так и не довелось вступить в бой: за исключением нескольких мелких стычек между разведывательными отрядами не произошло ни одного столкновения между французскими и немецкими войсками, которое заслуживало бы упоминания. «Пятая колонна» использовала отсутствие английских войск для агитации среди солдат. «Где же англичане?» — раздавались со всех сторон раздраженные, негодующие голоса.

Даладье, разумеется, реорганизовал свой кабинет. Наконец-то, с большим опозданием, Жорж Боннэ был удален из министерства иностранных дел. Даладье взял и этот портфель себе. Боннэ перешел в министерство юстиции, где он укрывал от преследований агентов «пятой колонны».

Около середины сентября мой редактор получил достоверные сведения о том, что Боннэ создал солидный фонд, предназначенный для ведения кампании за соглашение с Германией. Это движение возглавлялось двумя группами политических деятелей. Около пятнадцати депутатов группировалось вокруг Марселя Деа. Человек тридцать других парламентариев образовали вторую группу вокруг бывше-



го премьер-министра Лавала и Адриена Марке, депутата и мэра Бордо. Боннэ был чем-то вроде связиста между обеими группами. Он и Лаваль в основном финансировали все эти интриги.

Первые два заседания Верховного военного совета состоялись в этот начальный период войны. Чемберлен в сопровождении нескольких своих министров встретился с Даладье «где-то на территории Франции». Темой их бесед служили отчаянные мольбы поляков о помощи, необходимость ускорить ход мобилизации в Англии и дальнейшая политика в отношении Италии и России. Премьер-министры решили воздержаться от отправки самолетов в Польшу, ибо там все равно уже не вернуть потерянного, и продолжать наступление французской армии на Западном фронте с целью отвлечь немецкие силы от востока, но избегая при этом всякого риска. Чемберлен говорил о трудности проведения мобилизации в Англии из-за недостатка обученных офицеров, а также отсутствия снаряжения для новых войск. Было достигнуто соглашение относительно новых попыток отдалить Италию от Германии. Предполагалось отдать Муссолини порт Джибути, пойти на территориальные уступки в Британском Сомали, а также на увеличение итальянских акций и мест в управлении Суэцким каналом и на расширение итальянских прав в Тунисе; предполагалось также предоставить Муссолини огромные кредиты.

Генерал Вейган получил звание командующего французскими силами в Сирии.

В середине сентября Красная Армия вступила в Восточную Польшу. После этого русский посол в Париже поставил в известность Даладье, что Советская Россия намерена оставаться нейтральной.

Пока польская кампания подходила к концу, Даладье не терял времени: он совещался с генеральным штабом и министром внутренних дел Альбером Сарро о мерах по борьбе с коммунистами. Один из помощников Даладье рассказал мне, что премьер при обсуждении этого вопроса вступил в ожесточенный спор с генералом Гамеленом. Гамелен возражал тогда против роспуска коммунистической партии. Он считал, что каждый десятый человек в армии — коммунист и что подобный акт может вызвать широкое недовольство даже среди тех рабочих, которые не симпатизировали коммунистам. Он боялся ухудшения

морального состояния войск, но, в конце концов, подчинился воле Даладье. Сарро в прениях поддерживал премьера. Коммунистическая партия была объявлена вне закона.

Варшава пала. В тот же самый день французские войска начали отступать с «ничейей земли», куда они частично продвинулись. Они вернулись на линию Мажино.

Следующий этап охватывает весь октябрь и ноябрь до начала русско-финляндской войны.

За эти месяцы французские газеты, за небольшим исключением, стали открыто называть русских «врагом номер первый». Германия была разжалована на второе место. Помню, один из членов британского парламента сказал мне как-то на митинге в Париже: «Читаешь французскую прессу, и создается впечатление, будто Франция воюет с Россией, а с немцами она разве что находится в натянутых отношениях».

В начале октября Гитлер выступил в рейхстаге с речью, в которой он огласил свои «последние мирные предложения». Через несколько дней мы получили по почте в адрес редакции листовку, по всем данным отпечатанную за границей, она содержала основные пункты предложений Гитлера. Листовки эти, видимо, распространялись по всей Франции во множестве тысяч экземпляров. Впоследствии полиции удалось установить, что листовки были контрабандой ввезены во Францию через Швейцарию с помощью группы членов «Боевых крестов», проживавших на франко-швейцарской границе, близ Женевы.

В октябре был окончательно подписан франко-английско-турецкий пакт о взаимопомощи.

На внутреннем фронте последовало издание новых декретов, возложивших огромные тяготы на трудящиеся массы, в первую очередь на рабочих. Это вызвало серьезное недовольство на заводах, главным образом потому, что военные прибыли не подвергались дополнительному обложению.

Марсель Деа, опубликовавший листовку с требованием немедленного и безусловного мира, был допрошен следователем и отпущен. Через некоторое время дело против него было прекращено.

Бывший член исполнительного комитета социалистов, профессор Зоретти, распространял в кулуарах парламента и по редакционным кабинетам разоблачительное письмо. Зоретти был исключен из социалистической партии за то, что пытался через одного швейцарского социалиста побудить II Интернационал выступить с предложением о мирных переговорах. Ныне Зоретти доказывал, что Поль Фор был связан с ним в этом деле и что сам Фор находился в тесном контакте с Лавалем. Из документов Зоретти также явствовало, что вмешательство этих двух политических деятелей воспрепятствовало назначению Блюма вице-премьером, а Эррио — министром иностранных дел в кабинете Даладье при его реорганизации. Разоблачения эти не были лишены некоторого мрачного юмора, поскольку Зоретти приводил также антисемитские высказывания Поля Фора по адресу Леона Блюма.

Тем не менее Фор и Лаваль продолжали оставаться советчиками Даладье.

Перемены в кабинете Муссолини вызвали восторг во французской прессе, в них видели признак того, что дуче намерен исключить из состава своего правительства все прогерманские элементы. Две газеты, пытавшиеся высказать противоположное и, как показали последующие события, правильное мнение, были подвергнуты жесточайшей цензуре и получили предупреждение о закрытии.

Ноябрь начался новой тревогой. Разнеслись слухи о том, что немецкие армии собираются занять Голландию и Бельгию. Как-то ранним утром, около пяти часов, меня разбудил звонок из министерства иностранных дел. Оттуда сообщали, что вторжение в Голландию уже началось. Но это была ложная тревога. По версии, имевшей хождение на Кэ д'Орсэ, генералам удалось отговорить Гитлера от похода. Вернее всего, слухи о предстоящем нападении на Голландию распространялись по указке Геббельса, это был один из приемов «войны нервов». Аналогичные слухи циркулировали постоянно, держа военное и политическое руководство в состоянии нервного напряжения; когда же начинались действительные события, они, к сожалению, неизменно заставляли Францию врасплох.

В правительстве отношения между премьером Даладье и министром финансов Рейно были натянуты до крайности благодаря растущему влиянию Рейно. Этого вертлявого и зоркого «сторожевого пса казначейства» в парламент-

ских кругах именовали «дофином», так как все были уверены, что в ближайшем будущем он унаследует мантию Даладье. Чтобы положить конец растущему влиянию Рейно и его продвижению в премьеры — эта мысль становилась все более популярной в палате, — Даладье услав его в Лондон с важными экономическими предложениями. Переговоры Рейно с английским министром финансов сэром Джоном Саймоном закончились соглашением, изложенным в общих туманных фразах. Неудача Рейно была использована Даладье, чтобы на время умерить пыл его сторонников.

Соперничество этих двух людей тяжело сказывалось на работе кабинета. Однажды, когда два британских министра приехали в Париж, Даладье не пригласил Рейно на завтрак, устроенный им в честь гостей. Тогда английские министры нанесли визит Рейно в его министерстве, но они сделали это до завтрака у Даладье. Это вызвало у премьера такой взрыв ярости, что он чуть было не отменил приема англичан.

«Война нервов» оказывала свое влияние на палату депутатов. Одни депутаты с большой нервнойностью отмечали бездействие французской армии. Другие использовали этот факт как аргумент в пользу мира. В сенатской комиссии по иностранным делам Лаваль предпринял одну из своих вылазок: он обрушился на правительство за недостаточно энергичные попытки договориться с Муссолини. Когда же его друг, Поль Бодуэн, вернулся из Рима с пустыми руками, Лаваль потребовал разрыва дипломатических отношений с Россией. Он нашел себе союзников в газетах «Тан», «Журналь де деба», «Матэн» и др. Эта агитация велась с невероятным ожесточением и достигла своей высшей точки к моменту начала военных действий в Финляндии.

Следующие три месяца прошли почти целиком под знаком этих событий. Третий период войны отмечен разнужданной антисоветской кампанией.

Самые дикие фантастические измышления о развале в Красной Армии распространялись французской печатью. Парламентская группа Лавалья, ратовавшая за мир с Германией, энергично нажимала на Даладье, побуждая его объявить войну России. Возможность в перспективе слия-

ния этих двух конфликтов, — франко-германского и русско-финского, — настаивали они, была лишь на руку Франции. Они рассчитывали, что это позволит им широко развернуть антисоветский поход.

Генерал Вейган был вызван в Париж для обсуждения ближневосточных приготовлений. Другой французский генерал был послан в Финляндию в качестве военного консультанта. В Хельсинки подлежали отправке самолеты и танки. В течение трех месяцев во Франции всеми способами поддерживалась вера в то, что финны могут сопротивляться в течение года или даже выиграть войну против Советской России.

Впрочем, в палате чуть было не произошел кризис из-за возмутительных цензурных порядков и вызывающего поведения Даладье. Кризиса удалось избежать только тем, что в последнюю минуту премьер заверил парламент, что вовсе не покушался на его права. После долгих заверений подобного рода был утвержден военный бюджет в сумме 259 миллиардов франков.

Под Новый год французское верховное командование опубликовало успокоительное сообщение, что линия Мажино дополнена укреплениями и продлена вдоль бельгийской границы до самого моря.

В политических кругах все больше нарастало недовольство против французского верховного командования. Раздавались жалобы на то, что Гамелен недостаточно энергично ведет войну. Его обвиняли в излишней осторожности, в том, что он противится всяким наступательным действиям.

На смену ему уже прочили генерал-губернатора Марокко, Ногеса. Гамелена выручила новая тревога в связи с событиями в Бельгии и Голландии. В палате продолжались раздоры. В кулуарах многие депутаты не скрывали своего недовольства Даладье. Требование созыва закрытого заседания парламента завоевывало все больше сторонников. «Если Даладье предстанет перед закрытым заседанием сената, — сказал мне Жаннене, — он не получит и сотни голосов».

Круги, близкие к Лавалю, прочили в премьеры маршала Петэна. «Только великий солдат, — утверждали они, — может вывести Францию из этой ужасной катастрофы»; Даладье же слишком слабохарактерен и уступчив по отношению к коммунистам и англичанам.

Но Даладье уже готовил контр-атаку. Прежде всего он создал в палате специальную комиссию по изучению вопроса о коммунистах. Комиссия предложила удалить всех коммунистов из государственного аппарата.

Затем Даладье созвал еще одно совещание Верховного военного совета союзников. Французы решили выступить в Финляндии против Советского Союза, если финны официально будут просить об этом. Пятидесятитысячная армия была сконцентрирована в одном из французских портов для отправки в Финляндию.

Подготовив таким образом почву, Даладье предстал перед закрытым заседанием парламента — первым с начала войны. Это заседание продолжалось тридцать один час и закончилось открытым голосованием. Правительство получило вотум доверия в 535 голосов против нуля.

Сторонники умиротворения возобновили свои атаки с новой силой. Крупнейшая утренняя газета Франции «Пти паризьен» переметнулась в «лагерь мира» и стала намекать на возможность соглашения с немцами. Конференция областных секретарей социалистической партии показала, что партийный аппарат поддерживает сторонника умиротворения Поля Форэ.

Общественное мнение было более или менее подготовлено к неудачам финнов к концу кампании. Однако сообщение о мире, заключенном между Россией и Финляндией после прорыва Красной Армией линии Маннергейма, произвело в Париже ошеломляющее впечатление, так как газеты только и твердили, что о продолжающемся сопротивлении финнов. Даладье был вынужден созвать второе закрытое заседание палаты.

Он вышел оттуда побитым. Триста депутатов различных партий воздержались от голосования за правительство. Только 239 голосов было подано за него.

Третий период французской войны кончился отставкой Даладье. Чтобы спасти свой кабинет, Даладье чуть не довел дело до войны Франции с Советской Россией. Он тайно отправлял в Финляндию самолеты и танки, отсутствие которых очень сильно сказалось вскоре на французском фронте. Он углубил трещину, расколовшую французский народ.

Его преемником стал Поль Рейно. Этот «мышонок Микки» французского парламента долго ждал своего часа. Способный адвокат, искусный парламентарий, он участвовал во многих кабинетах.

Поль Рейно вышел из богатой семьи, нажившей капиталы на универмагах в Латинской Америке. Маленький, юркий и изящный, он, с первого взгляда, производил впечатление порывистого, стремительного человека. Казалось, он всегда спешит. «Быстрота, — сказал он как-то, — залог успеха».

Маленьким людям зачастую недостает решительности. Рейно компенсировал свой короткий рост огромным честолюбием. Впрочем, это был человек сведущий, которому не приходилось кого-то из себя корчить. Без сомнения, ему много дали его путешествия — он несколько раз объехал вокруг света, побывав во всех странах, игравших за последние годы видную роль в мировой политике. Он свободно говорил по-английски и по-испански.

Политическая карьера Рейно представляла цепь легких побед. После первого же выступления на конференции адвокатов он был избран секретарем парижской организации юристов. В палате он представлял парижский район Биржи. Его считали специалистом в финансовых вопросах. Он сидел на скамьях «умеренных», то есть справа. Его карьера была обеспечена, когда стала известна острота Клемансо по его адресу: «Должно быть, он больно жалит, этот маленький комар».

Однако, при всех своих талантах, Поль Рейно был лишь деятелем узко ведомственного масштаба. Никто не умел лучше его проанализировать проблему, выделить ее основные стороны. Но дальше его способности не шли. Народ жаждал человека, в которого можно было верить и которому можно было довериться. Не сухого вычислителя, сухого, несмотря на все его красноречие, не человека, который видит лишь ведомственную сторону программы, а такого, который видел бы также и человеческую, социальную ее сторону.

Этого-то и не доставало Полю Рейно. Когда он издавал свои чрезвычайные декреты после Мюнхена, когда он облагал непосильными налогами мелкодоходные предприятия во время войны, он видел только необходимость свести концы с концами в бюджете. Он забывал о нуждах тех, кто вынужден был платить. Рейно превосходно пони-

мал жизненную необходимость механизации в современной войне. В течение многих лет он боролся за создание во Франции механизированной армии. Но он совсем упускал из виду человека, которому предстояло сидеть в танке, управлять автомобилем, стрелять из орудия. Его познания человеческой натуры не выходили за пределы биржи и парижских гостиных. Если он и знал историю лучше преподавателя истории Эдуарда Даладье, то зато он разделял с последним его полнейшее невежество в отношении сил, движущих колеса истории.

Сердечные похождения заполняют всю жизнь Рейно. Чуть ли не двадцать лет он был другом графини Элен де Порт. Она имела на него большое влияние. Во время войны она так крепко прибрала его к рукам, что это сказалось на политической судьбе Франции.

Графиня де Порт была дочерью гражданского инженера в Марселе. Встретившись с Рейно, она имела уже богатый жизненный опыт. Ее брак с графом де Порт, который состоялся уже после ее сближения с Рейно, открыл ей доступ в высшее парижское общество и деловые круги. Интересами этих кругов и определялись ее политические связи. Злые языки уже в течение многих лет связывали ее деятельность с интересами нескольких крупных фирм.

Одним из ее друзей был Поль Бодуэн, друг Лаваля и приверженец Муссолини. Именно графиня де Порт подготовила почву для политического сотрудничества двух Полей — Рейно и Бодуэна.

Четвертый период войны начался с формирования кабинета Рейно. Далеко не блестящий состав правительства представил Рейно на утверждение палаты—это было скорее собрание посредственностей. Одни были взяты им из кабинета Даладье, другие из прежних кабинетов. Новостью явилась отставка министра юстиции Жоржа Боннэ и введение в правительство нескольких социалистов. Министром внутренних дел был назначен близкий к радикал-социалистам сенатор Анри Руа.

Палата встретила новое правительство враждебно. Первые были настроены против него потому, что в него вошли социалисты; радикалы — из-за провала их лидера Даладье, провала, который они приписывали частично ин-



тригам Рейно. Новый премьер вынужден был пригласить Даладье на пост министра национальной обороны, чтобы уцелеть самому. Однако премьер и его министр не разговаривали друг с другом, так же как и их подруги, графиня де Порт и маркиза де Крюссоль.

Мари-Луиза де Крюссоль д'Юзэ имела такую же власть над Даладье, как графиня над Рейно. Она была родом из богатой семьи, владевшей консервными заводами на бретонском побережье. Титул она получила, выйдя замуж за внука графини д'Юзэ.

В течение многих лет в политическом салоне маркизы происходили встречи дипломатов, депутатов палаты, представителей крупного капитала. Именно здесь Даладье заключил мировую с крупными дельцами.

Рейно избежал провала в парламенте, получив большинство только в один голос. Против него была грозная четверка: Лаваль, влияние которого в сенате быстро возрастало, Мальви, бывший министр, которого Клемансо в свое время судил за государственную измену, Жорж Боннэ и Поль Фор.

Когда Рейно сформировал свой кабинет, военному затишь уже приходил конец. В середине марта Муссолини и Гитлер встретились в Бреннере. Правительству Рейно скоро пришлось столкнуться с новыми решениями, принятыми Германией и Италией.

За несколько дней до занятия Гитлером Дании и Норвегии Рейно выступил по радио. Он защищался от обвинений левой печати в том, что правительство ведет «сидячую» войну. Он уверял, что Франция выковала свое оружие для победы и еще пустит его в ход. Но в этом он заблуждался!

После занятия скандинавских стран события стали развиваться стремительно. Сначала казалось, что Германия встретила достойного противника в британском флоте. Полагали, что немецким войскам грозит опасность быть отрезанными от материка. Черчилль восклицал: «Со времен Наполеона никто не совершал более грубой ошибки, чем Гитлер». Рейно выступил с речью, полной оптимизма, и тем привлек на свою сторону враждебно настроенный сенат. Он живыми красками изобразил гибель десятков германских судов в норвежских водах. Англо-французские

экспедиционные войска высадились в Норвегии. Но уже к концу апреля военный совет союзников вынужден был отозвать свои войска обратно. То было страшным ударом для морального состояния Франции. Только в районе арктического порта Нарвика французские альпинистские войска, поляки и англичане продолжали борьбу против австрийских горцев. Снова Гитлер одержал блестящую победу. Вскоре она серьезно сказалась на настроении малых нейтральных стран.

Еще в начале мая Чемберлен имел смелость сказать: «Гитлер прозевал свой автобус». Но уже три дня спустя первый десант германских парашютистов опустился на территории Бельгии и Голландии. Начался пятый, трагический период войны.

Рано утром у меня настойчиво зазвонил телефон. Мне сообщили о новом наступлении Германии. Я бросился в канцелярию премьера. Его секретарь сказал, что премьер как раз говорит по телефону с Лондоном. Рейно, проходя через комнату секретаря, бросил мне на ходу: «Французские войска выступили».

Что это, пробил решительный час? Или Германия просто хочет захватить голландские морские и воздушные базы? Поль Рейно считал, как он сам сказал мне в тот вечер, что немцы все поставили на карту. Если Рейно действительно так думал, то меры, предпринятые им, отнюдь не благоприятствовали успешному контрнаступлению французов. Он расширил свой кабинет, введя в него старого лотарингца Луи Марена, главу правого крыла республиканцев, и Жана Ибарнегарэ, вице-председателя организации «Боевых крестов». Чтобы померяться силами с Гитлером, Рейно ввел в свое правительство гитлеровца.

События этого дня как живые стоят у меня перед глазами. В одну минуту Париж словно переродился. Он был весь наэлектризован, но это не была уверенность в победе, — скорее смешанное чувство страха перед надвигающимся несчастьем и облегчения от того, что, наконец, кончилось нестерпимое ожидание.

В Лондоне Уинстон Черчилль сменил Невилля Чемберлена.

Через пять дней после первых атак германские войска

вступили на французскую землю. Второй раз за двадцать пять лет страна терпела нашествие неприятеля.

В день, когда французский фронт был прорван у Седана, мы сидели в редакции в ожидании новостей. Официальные сообщения были полны оптимизма. Частная информация была не столь радужна, но даже и она далеко не соответствовала действительным размерам катастрофы. Я объехал все министерства. «Положение очень серьезное, — отвечали мне, — но как-нибудь вывернемся».

Голландия капитулировала. Бельгийская, французская и английская армии отступали. Рейно снова реорганизовал кабинет. Он пригласил Петэна, приятеля Франко, на пост заместителя премьера. Он передал Даладье министерство иностранных дел и взял себе министерство национальной обороны. Сторонник фашизма, генерал Вейган был назначен главнокомандующим, а Пол Бодуэн заместителем государственного секретаря. Жорж Мандель, «полицмейстер Клемансо», возглавил министерство внутренних дел. Таков был ответ Рейно на приближение немецких армий к Ламаншу.

Союзные армии были отрезаны друг от друга. На их воссоединение не оставалось никаких надежд. Во французском кабинете мощная «пятая колонна», призванная самим Рейно, начала свою подрывную работу. Вернее, она продолжала ее.

На первом же заседании кабинета, о котором мне рассказывал один насмерть перепуганный министр, маршал Петэн потребовал немедленного прекращения войны. Вейган заявил, что его назначение запоздало на две недели. «Никаких шансов на спасение», — повторил он несколько раз. Оба эти человека принадлежали к группе, которая предпочитала лучше видеть в Париже немцев, чем Народный фронт.

Удар за ударом сыпались на Францию. В Париже сирены то и дело возвещали о воздушной тревоге. Поток беженцев — голландских, бельгийских, французских — устремился через столицу. Слухи, неизвестно откуда возникавшие, распространялись, словно пожар. В министерстве иностранных дел на Кэ д'Орсэ уже начали однажды жечь архивы — верховное командование по телефону сообщило, что германская бронетанковая колонна будет в Париже через несколько часов. Этого не случилось. Германские войска заканчивали в это время бои во Фландрии.

Париж был объявлен военной зоной. Весь транспорт был мобилизован. Строжайше воспрещалось выходить на улицу после вечернего сигнала. Террасы кафе пустовали. Тысячи австрийских и немецких эмигрантов были интернированы на спортивных стадионах. «Пятая колонна! Боритесь с пятой колонной!» — завопили газеты. Кажется, Мандель решил, наконец, очистить парижские салоны и редакции газет от агентов Гитлера. Он закрыл «Же сюи парту», фашистскую газету, и произвел несколько арестов. Но к концу мая «Одр» сетовала: «В тюрьмах много тысяч коммунистов и почти нет германских агентов».

Три французских армии, английские экспедиционные войска и остатки разбитых бельгийских войск отступали к Ламаншу. Сначала пала Булонь, потом Калэ.

Но Франция не достигла еще предела своих несчастий. Леопольд, король бельгийский, сдался на милость Германии. Больше недели сотни тысяч людей с трепетом ждали известий из Фландрии. Успели ли эвакуироваться их сыновья, мужья, близкие?

Яростная воздушная бомбардировка Парижа была встречена чуть ли не с чувством облегчения. Многие парижане не могли перенести мысли о том, что миллионы французов страдают, а они сидят в безопасности. В результате бомбежки 260 убитых и сотни раненых.

Париж опустел. Сотни тысяч людей покинули его. Мы также готовились покинуть город. Правительственные учреждения эвакуировались.

Битва за Фландрию кончилась. Меньше половины французских войск удалось переправить в Англию. Остальные попали в руки Гитлеру.

Началась битва за Францию.

В течение двух дней казалось, что фронт устоит. Но потом англичане обнажили левый фланг. Началось отступление к Парижу.

Кабинет Рейно снова реорганизовался. Даладьё получил отставку. На Кэ д'Орсэ водворился Поль Бодуэн.

Правительство бежало из Парижа.

Муссолини объявил Франции войну — как раз в тот момент, когда она уже фактически пришла к концу.

Я уехал в Тур.

В Париже ждали немцев с минуты на минуту.

Страна, проигравшая войну, ищет виновников поражения. Но не всегда истинные виновники оказываются на скамье подсудимых.

В то время как я пишу эти строки, в сонном базарном городишке Риоме на юге Франции стараниями Петэна и Лавалля организован суд над теми, «кто виновен в переходе от состояния мира к состоянию войны». История не признаёт приговора, вынесенного этими людьми. Правительство Петэна есть не что иное, как креатура национал-социалистов, и соответственно с этим оно и действует.

Франция вступила в войну при крайне неблагоприятных обстоятельствах. Политика коллективной безопасности была взорвана Лавалем изнутри. Блюмовская тактика «невмешательства» внесла раскол в силы, способные и полные решимости сопротивляться гитлеровской агрессии. Даладьё и Боннэ предали Чехословакию. Они сорвали договор о взаимопомощи с Советской Россией. Война была проиграна Францией уже в Мюнхене.

Ситуация могла бы быть другой только при условии, если бы народные силы во Франции были убеждены, что после Мюнхена никаких дальнейших уступок не будет; что прекратится наступление на социальное законодательство, завоеванное Народным фронтом; что французское правительство действительно желает сотрудничать с другими антифашистскими странами. Вместо этого правительство Даладьё — Боннэ и правительство Рейно продолжали и даже усилили свою политику. Это деморализовало страну.

Уже к началу военных действий Франция была расщеплена, деморализована бесконечными предательствами, свидетельницей которых она была. Она не верила тем, кто ею руководил.

Поскольку агенты Гитлера занимали крупные государственные посты во Франции, германское военное руководство знало о каждом шаге, который решало предпринять французское или английское правительства или Верховный военный совет союзников. Когда принималось решение послать английскую дивизию на передовые позиции, германский генеральный штаб знал об этом уже два часа спустя.

Когда английский король Георг VI посетил фронт, германское радио передавало сведения о его поездке раньше, чем французская и английская пресса.

Когда Рейно и Даладьё ссорились, германское радио сообщало об этом во всех подробностях.

Конечно, германское радио передавало немало злостных измышлений о разногласиях во французских кабинетах. Но все же страшно становилось от того, насколько немцы были информированы. Саботаж был не только делом рук отдельных гитлеровских агентов. В нем участвовала большая часть делового мира, а также высокопоставленные лица из числа гражданских и военных властей.

Первые изъяны в техническом оснащении французской армии обнаружились уже в самом начале военных действий. Зима 1939/40 года была одной из самых суровых за целое столетие в истории Европы. А у французской армии не было одеял. Почему? Из-за полной дезорганизации снабжения.

Нехватало и обуви. На передовых постах линии Мажино французские солдаты в дождь, изморозь и жестокие морозы не имели ничего, кроме легких летних ботинок. В письмах домой они просили прислать теплую обувь. Одно из таких писем было опубликовано в газете и сопровождалось призывом к сбору обуви для солдат. На газету ополчились другие издания за то, что она «открывает врагу военные тайны».

На втором месяце войны рабочий авиационного завода Блока рассказал мне, что из-за недостатка сырья завод выпускает меньше самолетов, чем до войны. Это была правда — производство военных самолетов вновь достигло довоенного уровня только в 1940 году. Военное командование предлагало закупать самолеты в Соединенных Штатах. Министр авиации отказался разместить там крупные заказы, — французские промышленники настаивали, чтобы деньги оставались во Франции. А, между тем, если бы заказы на танки и самолеты были размещены вскоре после начала войны, это могло бы в корне изменить ее ход.

Подземные заводы и аэродромы для самолетов строились с медлительностью, которая казалась бы просто невероятной даже в нормальных мирных условиях. Дело было, разумеется, не в «саботаже» со стороны рабочих, а в поминутном изменении инструкций и в задержках с доставкой материалов.

Германская пропаганда бушевала по всей Франции.

Французская пропаганда либо находилась в руках человека вроде Жироду, разделявшего расистские теории Гитлера, либо в руках Фроссара, убежденного «мюнхенца», который открыл свою деятельность в министерстве пропаганды серией речей по радио, направленных против России. Французские радиопрограммы, как правило, были настолько скучны, что никто не желал их слушать. Пропаганда на иностранных языках была доверена людям, либо утратившим всякий контакт со своей родной страной, либо не понимавшим самых основ современной пропаганды.

Французский народ держали в неведении, либо пичкали его лживыми измышлениями. Возглавлявший цензуру Мартино Делла, личный друг Даладье и ярый сторонник политики умиротворения, набрал свой штат преимущественно из числа бывших офицеров, часть которых состояла в монархистско-фашистской «Аксион франсез». Эти люди преследовали всякую газету, выступающую против Мюнхена.

Цензура не пропускала никаких сообщений, правильно информирующих о позиции Италии. Когда к концу 1939 года граф Чиано резко выступил против Франции, французской прессе запретили поместить его речь. Наоборот, с распростертыми объятиями встречались всякие иллюзорные домыслы о благожелательных чувствах Муссолини. Точно так же в ходу были фантастические сообщения, якобы из самой Германии, о том, что страна находится накануне катастрофы из-за голода. Знакомые лубочные картинки 1914 года, на которых немецкий солдат с восхищением меняет винтовку на кусок хлеба, снова вошли в моду. Когда франкистская пресса в Испании обливала Францию грязью, французским газетам не разрешалось сообщать об этом.

Речи министров британского кабинета и парламентариев подлежали цензуре. Той же участи подверглась и вторая официальная английская «Голубая книга». Она появилась в киосках всего на один день; потом французские власти конфисковали ее. Лишь через неделю ее снова разрешили пустить в продажу.

Коррупция в парламенте и прессе сыграла значительную роль в падении Франции.

Однажды во время какого-то парламентского следствия Даладье показал, что «восемьдесят процентов французской прессы субсидируется либо правительством, либо

частными фирмами». Из двадцати пяти, примерно, ежедневных газет, выходивших в Париже, четыре — «Тан», «Журнал де деба», «Информасион» и «Журне эндустриэль» — совершенно официально принадлежали крупным промышленникам; десять других получали существенную финансовую поддержку от «200 семейств». Три находились в руках бумажного фабриканта Жана Пруво, которого Рейно впоследствии назначил министром информации. После того как Поль Фор, чтобы отделаться от Блюма, угрожал провинциальные секции социалистов прекратить субсидирование социалистического органа «Попюлер», газета перешла на иждивение Рейно. Остальные газеты, так называемые «конфиденциальные листки», выходившие небольшим тиражом, еле сводили концы с концами. Они пробавлялись подачками, чтобы уцелеть. Только две ежедневные газеты в Париже военного времени выступали против политики умиротворения — «Эпок» и «Ордр».

Официальный институт «секретных фондов» в правительственном бюджете давал полный простор подкупу и разложению. В начале каждого месяца на Кэ д'Орсэ и в других министерствах заготавливались «конверты», за которыми присылали в точно обусловленные сроки администраторы газет и отдельные журналисты. Введение цензуры обескуражило эту часть прессы, привыкшую жить «на хлебах». Как объяснил мне один из коммерческих директоров, «цензура избавила министров от необходимости платить нам, чтобы зажать нам рот». Случайно я зашел в одно крупное телеграфное агентство в тот момент, когда Даладьё принимал у Боннэ министерство иностранных дел. Самым жгучим вопросом, который задавали друг другу служащие агентства, был не вопрос о том, «какую политику поведет Даладьё», а «кому он будет платить».

Один из наемников Боннэ, активно проводивший через влиятельную вечернюю газету взгляды министра, одновременно был редактором листка, субсидируемого чехами, и в этом листке он отстаивал антимюнхенскую позицию. Так он умудрялся довольно долгое время скакать на двух лошадях в противоположных направлениях.

Один бывший депутат со связями на Кэ д'Орсэ каждое утро давал Жоржу Боннэ сводку иностранной прессы. За эту работу он получал пять тысяч франков в месяц. Затем он брал копию сводки, отправлялся в министерство финансов, диктовал тот же материал для Рейно и получал



четыре тысячи франков за свои труды. После завтрака он обслуживал одного иностранного журналиста, которому продавал сведения, подслушанные им в министерствах иностранных дел и финансов. По вечерам он редактировал газетку, субсидируемую премьером.

В парламенте коррупция процветала так же явно. Клемансо однажды ядовито заметил: «Французские парламентарии только и знают, что взятки брать да сладко спать».

Один парламентский старожил палаты посвятил меня в тайны иерархии, существующей среди политиков, которых «можно купить».

Низший разряд состоял из бывших депутатов, которые занимались, главным образом, кулуарными комбинациями. Затем шли молодые парламентарии, только что расправившие крылья на политической арене; чаще всего они состояли на службе у мелких фирм. Затем депутаты-юристы с солидными связями, работающие для крупных фирм. Над всеми возвышались бывшие министры, которым обычно поручали посты председателей или членов правлений крупных фирм.

Во время войны некоторые депутаты помогали призывникам освобождаться от военной службы и недурно на этом зарабатывали. Мой собеседник подсчитал, что из 618 депутатов по меньшей мере 300 состояли у кого-нибудь на жаловании.

Военная разведка, так называемый «Второй отдел», была гнездом коррупции. Многие чины разведки, как это твердо установлено, не только работали на немцев, но и использовали свое положение для всевозможных темных и грязных делишек. Мне известны три случая, когда эмигранты были вынуждены уплатить видному чиновнику «Второго отдела» крупную сумму денег, чтобы получить права гражданства. Немало поживился «Второй отдел» и на подложных паспортах. Министры нередко ставились в известность о наиболее вопиющих случаях взяточничества в этом учреждении. Но правительство не могло или не желало ничего предпринять. «Второй отдел» казался всемогущим. Во время войны он проявил полнейшее бездействие.

«Sûreté Nationale» была неотъемлемой частью всего политического механизма. Большинство ее чиновников работало заодно с депутатами и политическими деятелями.

Во время войны около пятнадцати агентов Sûreté были разоблачены как сотрудники Гестапо.

Наконец и французская армия жила не в безвоздушном пространстве. Бациллы разложения и продажности, симптоматичные для угасающих лет Третьей республики, проникли и в нее. Высшие офицеры добивались представительства от крупных промышленных компаний. Они выступали посредниками при заключении больших сделок по снабжению армии.

Генерал Морис-Гюстав Гамелен, возглавлявший французскую армию с 1935 года, не мог не знать о разложении в рядах командного состава. Большинство офицеров сочувствовало диктаторам и даже не находило нужным скрывать свои чувства. Гамелен не делал ничего для очищения армии даже от самых подозрительных элементов.

Гамелен получил должность главнокомандующего случайно. На место Вейгана в 1935 году намечался генерал Жорж. Но Жорж был тяжело ранен во время покушения на короля Александра в Марселе в 1934 году, и выбор пал на Гамелена. В пройденном им жизненном пути нет ни проблеска славы, ни искры гения. Генералу необходим ореол легенды. Трудно было создать легенду о Гамелене. Он был наименее внушительным из всех французских генералов. Он служил в штабе генерала Жоффра. Он пользовался репутацией действительного инициатора знаменитого приказа Жоффра накануне битвы на Марне.

Одно следует сказать в защиту Гамелена: никогда, в отличие от своих коллег Петэна и Вейгана, он не состоял в заговоре против республики. Но одного этого достоинства еще мало для главнокомандующего. В качестве руководителя армии Гамелен в числе других несет ответственность за недостатки и упущения в вооружении армии. Если бы он, как того требовал долг, во-время сигнализировал, то, может быть, многое удалось бы наверстать. Он был ответственен за преступное пренебрежение к так называемой «Малой линии Мажино», которая вела от основной линии до Ламанша. Малая линия носила громкое имя, но на деле состояла из нескольких рядов жалких полевых укреплений.

И, наконец, генерал Гамелен несет ответственность за самую пагубную операцию французской армии: за поход

в Бельгию. Все соображения диктовали армии единственную тактику: ждать немцев на укрепленных позициях. Выйдя за линию, французские войска неизбежно должны были встретиться с противником, значительно превосходящим ее в техническом отношении и имеющим огромный перевес в авиации, на территории, лишенной всяких укреплений. Кроме того, продвижение по территории Бельгии ставило французскую армию под угрозу флангового удара со стороны Арденн. Старый спор о том, что следует защищать — порты Ламанша или район Парижа, вспыхнул в самый критический момент войны. Гамелен, вопреки советам подавляющего большинства офицеров своего штаба, решил двинуть войска в Бельгию.

Девятая армия генерала Андре Корapa занимала центр французского фронта. Она двигалась такими темпами, что за три дня проделала десять миль. Девятая армия еще не успела добраться до предназначенных позиций, как механизированные германские части уже прорвались сквозь ее расположение. Лишь одна пятая армия Корapa вышла из окружения, остальные погибли или попали в плен к немцам. Брешь, образовавшаяся от этого разгрома (что это было — предательство или чудовищная ошибка?) уже не могла быть заполнена ничем.

Многочисленные сообщения свидетельствуют о том, что многие высшие офицеры обнаружили полнейшую несостоятельность. Они пошли на войну вопреки собственным убеждениям: они не верили, что эта война — правая война. Большинство офицеров, призванных из резерва, принадлежали к «Боевым крестам» и другим фашистским организациям. Они восхищались немцами и не считали нужным это скрывать. Это были не те люди, которые могли бы вести солдат в наступление или организовать оборону. Да и подчиненные им не верили.

После первых же поражений офицерский состав армии немедленно обнаружил признаки разложения. Когда военные события приняли неблагоприятный оборот, некоторые офицеры побросали свои части и занялись эвакуацией своих семей из Парижа.

Франция не была побеждена Гитлером. Она была разрушена изнутри «пятой колонной», обладавшей самыми

влиятельными связями в правительстве, в деловых кругах, в государственном аппарате и в армии.

На борту парохода, который увозил меня из Франции, я встретил одного из самых богатых и влиятельных хлебных маклеров страны. В начале военных действий он обрел убежище в департаменте снабжения армии. Затем он основал филиал этого департамента у себя на дому, в Париже. В мае он откупился от службы в армии. При помощи щедрых взяток ему удалось добыть себе командировку с важным поручением в Аргентину. Мы долго беседовали о трагедии, постигшей Францию. Я задал ему вопрос, который так часто задавал самому себе: «Почему это случилось? Как это могло случиться?»

Он ответил: «Это случилось потому, что во Франции слишком много таких людей, как я». Это циничное признание было наилучшим объяснением из всех, какие я когда-либо слышал.

Французский народ не повинен в гибели и расчленении Франции. Наступит время, когда народ сам возьмется за дело возрождения своей страны. Я убежден, что время это не за горами.

# Гордон Уотерфилд

## Что произошло во Франции

### Глава I.

#### КУЛЬТ ИНДИВИДУАЛИЗМА

Французы славятся всюду своей ясной логикой, но уже много лет они страдают от путаницы в политической философии. Во Франции никогда не прекращались споры между приверженцами этатизма, или всепроникающей государственной опеки, — системы, которая хорошо действовала при Наполеоне I, но позднее выродилась в шаблонный бюрократический режим, — и сторонниками индивидуализма, нашедшего свое выражение в революции 1789 года и в последующих революциях. Наполеоновская система управления через префектов, подчиненных центральному правительству, действовала хорошо, пока существовал дух национальной целеустремленности, породивший эту систему; когда же этот дух иссяк, Франция осталась с 40 миллионами индивидуалистов, каждый из которых старался уклониться от контроля центральной власти и очень гордился, когда ему это удавалось. Французы были в восторге, если могли надуть администрацию, обойти закон. Они пускались на всяческие ухищрения, лишь бы избежать уплаты налогов. Существовали даже специалисты-профессионалы, дававшие советы по части нарушения законов; за умеренный гонорар они учили налогоплательщиков, как можно сэкономить несколько тысяч франков в год. Законодатели потеряли уважение в глазах масс, так как выпускали множество декретов, которые нередко противоречили друг другу. Пробежав страницы «Журналь офисьеель» за последние несколько лет, я перестал удивляться отношению рядовых французов к закону.

С началом войны количество декретов увеличилось, но отношение граждан к ним не изменилось. В мае 1940 года я обедал в известном парижском ресторане с несколькими иностранными журналистами, среди которых был корреспондент официального итальянского агентства Стефани. Он сидел рядом со мной. Это был день, когда во всех ресторанах запрещалось подавать спиртные напитки, так как спирт надо было экономить для военных целей. Тем не менее мы получили перед обедом коктейль из джина, а после обеда — коньяк. Корреспондент Стефани был озадачен. Я объяснил ему, что хозяин ресторана очень хотел угодить нам и вообще придерживается того мнения, что законы для того и существуют, чтобы нарушать их при всяком удобном случае. Итальянец был шокирован такой недисциплинированностью. В то время я думал, что это — типичная фашистская ограниченность; но потом я не раз задавал себе вопрос: может ли нация позволить себе во время войны такую роскошь, как недисциплинированность, когда ее противник, Германия, и потенциальный противник, Италия, соблюдают строгую дисциплину? Нужно, как видно, определенное время, чтобы выработалась привычка к лишениям, которых требует современная война. Во время «фальшивой войны» — с сентября по май — состоятельные французы продолжали свой обычный образ жизни. Когда же война подступила к воротам Парижа, чувство собственности взяло верх над волей к победе. Французы не прошли такой выучки, как немцы и итальянцы. Благополучие подточило решительность, не останавливающуюся перед риском. Они хотели спасти свою собственность, спасти парижские здания, которыми они так гордятся, спасти красоты Франции, не понимая, что красоты эти ни к чему, когда они захвачены немцами. Они не подумали, что если придет время отвоевывать Париж обратно, то немцы вряд ли сдадут его без отчаянной борьбы за каждый дом, такой же отчаянной, как если бы они защищали Берлин против союзников.

Немцы бомбили деревни, скопления беженцев и коммуникационные линии, но они редко бомбардировали крупные промышленные предприятия. Они, повидимому, собирались использовать эти предприятия для производства вооружений против Англии, после победы над Францией. А кроме того, они, вероятно, понимали, что крупные промышленники после первых же поражений будут настаивать

на соглашении с Германией — в надежде на то, что они пригодятся немцам для управления предприятиями и смогут извлекать кое-какую прибыль, даже когда их фабрики и заводы попадут в немецкие руки. И если многие французские заводы не были взорваны при отступлении, то я не думаю, чтобы это объяснялось одной только дезорганизацией.

Почему союзная авиация не бомбила Берлин и важнейшие города Германии, когда немцы вторглись в Польшу? Потому что союзники боялись ответной бомбардировки Парижа и Лондона; вместо бомб, английские и французские летчики сбрасывали листовки. Оба правительства сохраняли психологию мирного времени, хотя тоталитарная война уже началась. И в Англии, и во Франции премьер-министры мирного времени остались на своих постах, а главнокомандующим был генерал мирного времени — Гамелен. Когда Польша была разбита и Германия могла свободно заняться Францией, Гамелен оттянул свои войска из Варндтского леса, где они занимали позиции, господствующие над промышленным районом Саарбрюкена и подступами к нему. Он заявил, что не хочет излишнего кровопролития. Уже одно то, что Гамелен мог руководствоваться такими соображениями, производило удручающее впечатление, ибо война велась с противником, который не думал о том, сколько жизней он может потерять. А так как Гамелен заявил это публично, то его слова тяжело отзывались на моральном состоянии французских солдат и офицеров. Французы не только отошли от Саарбрюкена, они даже позволили немцам забрать важный французский промышленный город Форбах, расположенный в нескольких милях к юго-западу от Саарбрюкена. Об этом так и не было объявлено во французских сводках. Только несколько месяцев спустя, когда я, уже в мае, посетил линию фронта и полковник указал мне на остывшие трубы Форбаха, я понял, что он находится в руках немцев.

Правда, война на западе тогда еще не началась и французская тактика сводилась к отходу за линию Мажино. Если вы пытались критиковать инертность французов, вам неизменно отвечали: «Франция всегда поднимается в минуты кризиса. Подождите, пусть Германия попробует вторгнуться во Францию. Вы увидите, что будет». Когда за обедом, о котором я уже упоминал, мой сосед

начал говорить об упадке Франции, я ответил ему той же трафаретной фразой, что Франция поднимается в минуту кризиса.

— Да, — ответил он, — но это само по себе является признаком упадка. Мужественный народ не ждет кризиса, чтобы объединиться в общем национальном подъеме. А Франция нуждается в самых сокрушительных ударах для того, чтобы она вообще стала как-нибудь реагировать. Французский буржуа эгоистичен, корыстолюбив и дорожит только своей собственностью. Он не привык идти на жертвы во имя интересов родины.

В то время меня раздражали такие рассуждения. Я был убежден, что французы еще покажут себя, когда придет решающий момент. Но я вспомнил об этом разговоре, когда обедал в том же самом ресторане два месяца спустя. Немцы были уже в 20 милях от Парижа. Французское правительство отказалось от мысли защищать Париж. Решающий час пробил, но чувство собственности слишком давало себя знать. Мысль о том, что Лувр, Вандомская площадь, Мадлен, их излюбленные кафе на Елисейских полях и их дома с видом на Булонский лес могут быть разрушены, побудила правителей Франции объявить Париж открытым городом. Но был и другой момент, который повлиял на старого твердолобого Петэна и католического реакционера Вейгана. Для них Париж был городом революции. Они были помешаны на коммунистической опасности и боялись призвать народ на защиту его собственной столицы; они боялись, что вспыхнет революция и власть перейдет в руки крайних левых. В весьма осведомленных кругах рассказывали, как 13 июня в Туре генерал Вейган на заседании кабинета утверждал, что в Париже коммунисты перешли в наступление, и Торез, лидер распущенной в сентябре коммунистической партии, захватил уже Елисейский дворец. Министр внутренних дел Мандель, поддерживавший все время телефонную связь с префектом полиции Ланжероном, тотчас же разоблачил эту сенсационную выдумку. Я вместе с другими журналистами был тогда еще в Париже. Мы не замечали ни малейших признаков каких-либо волнений.

---



## ПРАВИТЕЛЬСТВО И НАРОД

Причина, по которой Петэны и Вейганы побоялись обратиться с призывом к народу, уходит корнями в глубь истории Франции. Французская революция разожгла пламя ненависти, которое с тех пор не погасало, а временами — в 1830, 1848, 1870 и 1936 годах — разгоралось с особенной силой. 6 февраля 1934 года фашисты, представлявшие интересы крупного капитала и действовавшие, весьма возможно, по сговору с фашистами других стран, сделали попытку навязать Франции свой режим. Попытка окончилась провалом, а народ еще раз ответил на нее два года спустя, когда на парламентских выборах Народный фронт получил огромное большинство. К власти пришло социалистическое правительство Леона Блюма. Эксперимент Блюма, наметившего широкую программу социальных реформ, был весьма необходим, но этот эксперимент осуществлялся в очень трудный для Франции час. Французские финансы были в плохом состоянии, а новая программа требовала больших затрат. Ее можно было бы провести, если бы страна имела время приспособиться к новой социальной перестройке.

Рассчитывая на правительство Блюма, рабочие хотели добиться осуществления широких требований в слишком короткий срок. Забастовки на некоторое время парализовали промышленность Франции. Блюм допустил также большую ошибку, установив 40-часовую рабочую неделю в то время, когда Франция нуждалась в максимальном расширении производства для ответа на германскую угрозу и итальянские провокации. Отношения между крупными предпринимателями и рабочим классом все более обострялись. В воздухе пахло гражданской войной. Германия и Италия спешили использовать ситуацию и осуществить программу экспансии прежде, чем Франция вновь наладит нормальную жизнь. Тревожное положение внутри и утечка золота из страны, объяснявшаяся усиленным вывозом капиталов, чрезвычайно ослабляли позицию Блюма, несмотря на то, что за ним было парламентское большинство. При таких условиях Франции трудно было вести твердую внешнюю политику, и она все больше попадала в зависимость от Англии.

Обострение вражды между правыми и левыми повлек-

ло за собой тяжелые последствия. В парламенте положение было неустойчивое, так как политики переходили из одной группировки в другую, стараясь обеспечить большинство то правым, то левым. Видные деятели публично оскорбляли друг друга; в кафе дело доходило до потасовок; даже на файв-о-клоках в дамских гостиных температура поднималась до точки кипения. В трусливых душонках промышленников, банкиров, клерикалов и чиновников снова проснулся старый страх перед простонародьем. Противоречия и ненависть были так глубоки, что в последние дни независимости Франции, перед самым перемирием с Германией, в Бордо раздавались голоса: «Лучше Гитлер, чем Блюм». До самого конца находились люди, которые, подобно Вейгану, ничего так не боялись, как народного восстания, возглавленного коммунистами. Они предпочитали принять германские условия. Когда Франция была уже на волосок от поражения, полиция продолжала охотиться за коммунистами и сочувствующими им, тогда как год назад она не принимала никаких мер против сторонников фашизма, подтачивавших моральное состояние общества.

Блюм должен был уйти в отставку, главным образом, из-за враждебной позиции сената. Власть перешла к радикал-социалистам, которые порвали с Народным фронтом. Лидером радикал-социалистов был Эдуард Даладье. Если бы Даладье был сильным человеком, он мог бы создать национальное правительство и во-время объединить страну. Но ему было далеко до Наполеона. Кто-то про него сказал, что у него голова быка с глазами коровы. Даладье стал министром национальной обороны и слугою французского генерального штаба. Он полностью солидаризировался со взглядами армейской верхушки. Какие бы сомнения ни возникали у французов, когда они слышали о формируемых немцами мощных механизированных дивизиях, их всегда успокаивали магическим заклинанием: «Линия Мажино!»

### Глава III

#### ЛИНИЯ МАЖИНО

Вера в линию Мажино поощряла Францию к пассивности как в области дипломатии, так и в области военной стратегии. Такая политика была губительной перед лицом гитлеровской энергии и гитлеровских притязаний. Первым

указанием на то, что Франция решила проводить тактику «отсиживания» за линией Мажино, был ее образ действий в 1936 году: Германия ввела войска в ремилитаризованную Рейнскую область, а Франция, если не считать усиления крепостных гарнизонов, сохранила полную пассивность.

С этого момента союзникам Франции — Чехословакии, Югославии и Польше — стало ясно, что в случае внезапного нападения Германии надежды на помощь мало. Германия построила линию Зигфрида, и Франция была лишена возможности оказать действенную помощь своим союзникам в Европе. Франция перестала быть первоклассной державой. Кэ д'Орсэ и правительство прекрасно понимали, какое значение будет иметь ремилитаризация Рейнской области. Почему же Франция не реагировала более энергично? Гитлер по обыкновению удачно выбрал момент. Через два месяца во Франции должны были состояться парламентские выборы. Альбер Сарро был главой промежуточного правительства, а Фланден — министром иностранных дел. Когда они убедились, что английское правительство не склонно обещать Франции помощь, они решили не предпринимать никаких шагов. С тех пор Гитлер больше не оглядывался по сторонам. Если бы Франция была достаточно независимой от Лондона, она почти наверняка могла бы остановить германские дивизии и пресечь германскую политику экспансии. Англии так или иначе пришлось бы поддержать Францию. Но Франция не была готова идти на риск.

С этого момента во Франции начало расти влияние изоляционистов — Боннэ, Фландена, Лавалья и им подобных, а когда в июне 1936 года к власти пришло правительство Народного фронта, изоляционисты стали интриговать за его спиной. Франция, словно старая черепаха, втянула голову в панцырь — спряталась за линией Мажино. Германия получила свободу рук в остальной Европе, а Италия стала ухаживать за Югославией; Чехословакия, а затем и Польша подпали под власть Германии. В заключение Германия, выбрав удачный момент, направила удар против Франции.

Вера в линию Мажино губительно подействовала на Францию. Французы слишком полагались на неприступность своих укреплений, забывая, что, по желанию Бельгии, они не продолжили линию Мажино вплоть до самого

моря, то есть к северу от Лонгви и Монмеди, вдоль люксембургской и бельгийской границ. Даже в течение восьми месяцев «фальшивой войны» мало что было сделано для укрепления этого слабого звена французской системы обороны. Немцы же самым тщательным образом готовили удар по наиболее уязвимому пункту.

В первые «тихие» месяцы войны я побывал на фронте в качестве военного корреспондента. Офицеры с величайшей охотой показывали мне оборонительные укрепления. В одном из пунктов, к северу от Страсбурга, некий полковник — подлинный энтузиаст своего дела — водил меня из одного бетонного укрытия в другое. День и ночь лихорадочно работали солдаты, возводя новые сооружения.

— Неплохой бетон, — бормотал все время полковник, пока мы с ним пробирались через лес по берегу Рейна. — Нет, куда им! Не прорвутся. Замечательный бетон!

Я спросил:

— Ну, а германские бетонные сооружения по ту сторону Рейна так же хороши, как ваши, или нет?

— О, нет! — сухо отрезал полковник. — Даже и сравнивать нельзя.

— А почему бы тогда вам не атаковать немцев прежде, чем они успеют укрепиться лучше?

Полковник усмехнулся и с упрёком посмотрел на меня, словно я высказал непозволительную ересь и он только по снисходительности не обижается на меня. Он ничего не ответил. А правда заключалась в том, что никто не хотел атаковать. Обе стороны только и знали, что возводили всякие новые сооружения, и так продолжалось до тех пор, пока немцы не взяли в свои руки инициативу. На обоих берегах Рейна кипела работа; очень часто противники работали на виду друг у друга, но ни немцы, ни французы не стреляли. Лишь по вечерам они обменивались несколькими залпами — просто чтобы рассеять скуку. Я ночевал в надёжном укрытии на передовой линии укреплений, а утром решил прогуляться вдоль траншей и дошел до часового, стоявшего у самой реки. На противоположном берегу молодой немец, обнажившись по пояс, умывался речной водой. Меня несколько раздражало, что он так спокойно совершает свой утренний туалет, когда с другого берега на него смотрят два пулемета. Я спросил французского часового, почему он не стреляет. Он, повидимому, изумился моей кровожадностью.

— Да ведь они нескверные люди, — ответил он. — А потом, если мы будем стрелять, они тоже откроют огонь.

Мысль, что немцы «нескверные люди», была для меня нова, а особенно в устах французского солдата. Я заинтересовался, что думает обыкновенный французский солдат, когда он наблюдает, как немцы умываются по утрам, а по вечерам прислушивается к сентиментальным немецким песням под аккомпанемент концертино. Французским солдатам больше нечего было делать, как изо дня в день наблюдать за жизнью немцев и докладывать по начальству. Когда концертино умолкало или маленькая белая собачка не бегала больше вверх и вниз по берегу, они знали, что германский пост сменился, и начинали изучать в подзорную трубу новых пришельцев. Мне казалось, что между наблюдателями с обеих сторон возникает своеобразная близость. Французы обычно вставали по утрам, чтобы взглянуть на большие полотнища, выставленные вдоль германских передовых застав, с надписями: «Мы не хотим воевать с вами», «Где англичане?» или: «Англичане прохлаждаются с вашими женами дома». Целый день громкоговорители извергали такие же лозунги. С точки зрения французских официальных кругов, эта пропаганда была настолько грубой и смехотворной, что она не оказывала никакого воздействия на французских солдат. Но я сильно усомнился в этом, когда увидел, какую скучную жизнь вели солдаты на фронте вдали от своих семей. Если не всем, то во всяком случае части солдат эта война должна была казаться бесцельной, и пропаганда под лозунгом «За что вы воюете?» могла иметь некоторый успех. Я спросил полковника, отвечает ли он на эту пропаганду. «Нет, — сказал полковник. — Война — серьезное дело, мы не занимаемся такими глупостями».

Но нынешняя война была войной нового типа, а этот пожилой офицер запаса еще думал мыслями 1914 года. Даже если бы пропаганда оказала слабое воздействие на германских солдат, она могла бы подействовать на самих французов. Немного остроумия рассеяло бы скуку во время бесконечного рытья окопов на берегах Рейна, оживило бы настроение в казематах, в которых почти нигде нельзя было стоять выпрямившись и которые в июне — во время половодья на Рейне — начало заливать водой. Почему последнее слово обязательно должно быть за врагом?

Такую же «дружбу» можно было наблюдать на самой линии Мажино вплоть до начала июня.

Я посетил форт близ Лонгви, к юго-востоку от Монмеди — северной оконечности линии Мажино. Дальше шла уже относительно слабая линия укреплений, которую немцы прорвали в мае. Они пробовали сначала прорваться у Монмеди, но французские орудия причинили им большие потери. Наш форт врезывался подобно мысу в неприятельскую территорию. Я стоял на залитом солнцем возвышении, откуда были видны германские линии. Французские солдаты на глазах у неприятеля возводили проводные заграждения.

— И немцы не стреляют? — спросил я. Я не мог удержаться от этого вопроса, хотя заранее знал ответ. Но после майского прорыва и вторжения немцев в северную Францию я никак не ожидал такого благодушия на фронте.

— Они тоже работают, и мы не стреляем в них, если они нас не трогают, — ответил сопровождавший меня молодой капитан.

Мы присели и стали наблюдать клубы дыма, подымавшиеся за германскими передовыми постами: это французская артиллерия пристреливалась к возможной цели.

— Сегодня ночью будет перестрелка, — сказал капитан. — Германская артиллерия уже пристрелялась.

Я заметил, что в деревне, где стояли немцы, — она была не больше, чем в четверти мили от нас, — все дома были целы. Но я решил не задавать больше нескромных вопросов. Нам надоело жариться на солнце, и мы спустились в казематы линии Мажино. Это было похоже на спуск в угольную шахту. Мы нырнули на лифте в недра земли, а затем прошли около мили тоннелем; по дороге нам попадались солдаты на велосипедах и электрические поезда, перевозившие по узкоколейке амунизию.

На линии Мажино солдаты работали, ели и спали под землей. Они редко выходили на солнце. Если их выводили наверх — глотнуть свежего воздуха, они, вероятно, чувствовали себя, как люди, которых подставляют под пули.

Когда меня угощали коньяком в офицерской столовой (тоже под землей), я сказал: — Пожалуй, эти укрепления действительно неприступны.

— Да, можете не сомневаться, — был ответ.

Разговор этот происходил 1 июня, а 14 июня — в день вступления немцев в Париж — была прорвана и линия Мажино.

Таков был конец одной из легенд нашего времени — легенды о неприступности линии Мажино. Наивная вера французского генерального штаба в эти укрепления — одна из причин трагедии 1940 года, закончившейся разгромом Франции.

Французский генеральный штаб не мог не знать, что германские войска попытаются прорваться в долине реки Маас, так как этот район был одним из самых слабых в системе французской обороны. Еще несколько лет тому назад де Голль в своей книге писал:

«Высоты на рубеже Мозеля и Мааса, граничащие с одной стороны с Лотарингским плато, а с другой — с Арденнами, представляют, правда, значительные препятствия. Но эти реки неглубоки, и достаточно одной ошибки, какой-либо неожиданности или минутной оплошности, чтобы потерять эти позиции и обнажить свой тыл при всяком отступлении в Эно или во Фландрии. На этих низких равнинах не найти никакой естественной преграды, на которую могла бы опереться линия сопротивления; там нет линии господствующих высот и нет рек, текущих параллельно фронту. А еще хуже то, что географические условия благоприятствуют нападающему, предоставляя ему многочисленные пути для вторжения, как, например, долины рек Мааса, Самбры, Скарпы и Лисы; здесь реки, шоссейные дороги и железнодорожные линии служат как бы проводниками противнику».

Именно здесь немцы и сосредоточили свои атаки, двигаясь на юг вдоль Мааса через Голландию и Бельгию по линии Маастрихт — Льеж — Намюр на Рокруа, Мезьер и Седан во Франции. Эту часть французской долины Мааса защищали две армии: 9-я, под командованием генерала Корapa, а на правом фланге — в секторе Седана — 2-я, под командованием генерала Хюнтцигера. Армию Корapa нельзя было назвать сильной. Генерал Корap неоднократно обращался в штаб главного командования с просьбами о дополнительных материалах для укреплений и дополнительном вооружении для войск.

Посещавшим его военным корреспондентам он всегда говорил одно и то же — нехватает припасов. Когда германские бронетанковые дивизии прорвались во Францию,

этого генерала сделали козлом отпущения; но действительная ответственность падает на генеральный штаб, как было, на мой взгляд, достаточно ясно установлено расследованием, произведенным после прорыва.

Рейно произнес в сенате речь, в которой косвенным образом подверг критике генеральный штаб. «Так как Маас якобы трудно пересечь, — говорил он, — то эту реку ошибочно рассматривали как грозное препятствие для противника. Вот почему французские дивизии, на которые была возложена защита Мааса, были малочисленны и растянулись вдоль реки на большом расстоянии. А вдобавок туда поставили армию генерала Корапа, которая состояла из недостаточно обученных дивизий, слабо укомплектованных офицерским составом. Лучшие войска, образующие часть левого фланга, были направлены в Бельгию.

«Маас — река, которую трудно форсировать, но и трудно защищать. Фланговый пулеметный огонь невозможен, и подвижные войска могут здесь легко просачиваться. К этому можно добавить, что более половины пехотных дивизий армии Корапа еще не достигли Мааса, хотя они двигались по кратчайшему пути. Но и это еще не все. Вследствие невероятных ошибок, виновники которых понесут наказание, мосты через Маас не были разрушены. По этим мостам прошли германские бронетанковые дивизии, которым предшествовали бомбардировщики, атаковавшие разбросанные дивизии, плохо укомплектованные кадрами и плохо подготовленные к таким атакам. Легко понять теперь разгром и полную дезорганизацию армии Корапа.

«Так была сломана ось, на которую опиралась французская армия... На нашем фронте образовалась брешь протяжением в 60 миль. В эту брешь ворвалась германская армия, состоящая из моторизованных дивизий, которые, осуществив широкий прорыв в направлении Парижа, повернули на запад — к морю, выйдя в тыл всей нашей системе укреплений вдоль франко-бельгийской границы и угрожая войскам союзников, действовавшим еще в Бельгии. Приказ об отступлении этих войск был дан лишь вечером 15 мая».

Об условиях борьбы за Маас знал любой армейский офицер, знакомый с топографией. И, несмотря на все, генеральный штаб возложил защиту этого района на слабую



армию. Аресты и, быть может, расстрелы генералов и других лиц командного состава не снимают ответственности с Гамелена и генерального штаба. Их план состоял в том, чтобы помочь бельгийцам защищать свои границы и именно здесь создать линию фронта. Но им давно было известно, что в Бельгии настроения неопределенные и что на короля Леопольда нельзя с уверенностью рассчитывать как на друга Франции.

## Глава IV

### ВТОРЖЕНИЕ НА ЗАПАД

В ночь с 9 на 10 мая немцы вторглись в Голландию. Они применили при этом необычные и довольно изобретательные методы. Рассказы прибывших во Францию бельгийских и голландских беженцев о парашютистах вселяли страх, вызывали смятение и порождали такую же дезорганизацию, как если бы германские парашютисты приземлились уже во Франции.

На рассвете 10 мая немцы перебросили на гидропланах на реку в Роттердаме около 50 солдат в голландской форме. Солдаты пересели в резиновые лодки и захватили мосты, но были, повидимому, перебиты или взяты в плен. В Гааге немцы тоже появились переодетыми в форму голландских солдат и начали стрельбу с крыш. Когда же на крыши поднялись настоящие голландские солдаты, они были приняты за немцев и попали под огонь своих же соотечественников. Противовоздушная оборона была возложена на бойскаутов, но несколько человек из них оказались немцами и открыли стрельбу по голландским войскам. В результате все бойскауты были взяты под наблюдение и противовоздушная оборона была свернута. Одновременно был пущен слух (вероятно, представителями «пятой колонны»), что по улицам города разъезжает германский автомобиль, разбрасывающий газовые бомбы. Проверить этот слух не удалось, но все только и делали, что высматривали этот автомобиль. Солдаты из дворцовой охраны были отравлены папиросами, пропитанными ядом. Горничные-немки, уехавшие несколько месяцев тому назад на родину, снова оказались в Голландии, причем они ухитрились провезти в корзинах с продуктами ручные гранаты, предназначенные для «пятой колонны» и герман-

ских солдат. Словом, никто не знал, где друзья и где враги.

Германских парашютистов можно было разделить на три категории:

1. Хорошо обученные солдаты, снабженные подробными картами той местности, где они приземлялись, точно знавшие, где и как им найти свои части. Они имели адреса лиц, симпатизирующих национал-социализму. Как видно из найденных при них документов, им было приказано «пропускать всех, кто предъявит удостоверение с фотографией, подписанное начальником германской полиции».

2. Оголтелые молодые национал-социалисты, жаждавшие кровавых подвигов. Спустившись, они начинали стрелять без разбора направо и налево — в женщин, в детей, овец и т. д. Некоторые, расстреляв все патроны, разражались слезами. Один из них спустился в костюме сестры милосердия, под которым было спрятано несколько ручных гранат.

3. Молодые парашютисты, спускавшиеся на землю группами. Они обычно сдавались тотчас же после приземления.

Когда таким путем было создано замешательство, немцы перебросили в Голландию на транспортных самолетах целую дивизию — около 17 тысяч человек. Парашютисты, за которыми следовали войска, перебрасываемые на старых самолетах, захватили аэродромы, правда, отбитые затем голландцами. Большой воздушный десант высадился на побережье в Шевенингене. Часть германских солдат пересекла границу на бронемашинах, окрашенных, как голландские. Захват моста у Мурдейка принес немцам наиболее существенные результаты. Этот мост хорошо охранялся, так как путь через него вел в самое сердце Голландии. Немцы высадились к югу от моста. Они были одеты в голландские мундиры и подъехали к мосту в голландских автомобилях. Им удалось убедить охранявший мост отряд в том, что им поручено передать приказ голландского командования, согласно которому отряд должен отойти к пункту, расположенному несколько южнее. Голландцы без единого выстрела отошли, и немцы тотчас же завладели мостом. Когда голландское командование узнало об этом, оно приказало отряду, состоявшему из двухсот

человек, немедленно отбить мост назад. При попытке взять мост почти все двести человек были убиты.

11 мая к месту событий подоспела французская бронетанковая дивизия. Французов попросили отбить мост, ибо в противном случае открывался свободный путь для германских механизированных дивизий. По мнению голландского командования, французам достаточно было пустить в ход несколько танков. Французский генерал Жиро согласился, что мост необходимо отбить, и отдал соответствующий приказ, но по неизвестным причинам приказ не был выполнен. Мост даже не взорвали. В результате германские бронетанковые дивизии воспользовались им, чтобы стремительно ринуться дальше — на Бельгию и Францию. Между тем, если бы мост был удержан, продвижение германских войск могло бы быть замедлено, и союзники имели бы достаточно времени, чтобы укрепиться за голландской линией обороны.

После пяти дней мужественной обороны 14 мая был отдан приказ: «Прекратить огонь». И только в Зееланде борьба продолжалась еще несколько дней.

## Глава V

### ПРОРЫВ НА РЕКЕ МААС

Когда немцы прорвали фронт на Маасе, я вместе с корреспондентом «Ньюс кроникл» Давидом Скоттом и корреспондентом «Дейли экспресс» Джорджем Миллером находился недалеко от Седана, в районе 2-й армии, которой командовал генерал Хюнтцигер. 14 мая мы поехали из Камбрэ в Вузье, а затем в штаб командования, который находился немного севернее. На всем протяжении последних 50 миль пути мы видели печальные вереницы беженцев из Голландии, Бельгии, Люксембурга и пограничных районов Франции. Среди них были старики, которые проделали этот путь в 1914 году; некоторые из них помнили даже вторжение 1870 года, когда Наполеон III был разбит под Седаном. Многие толкали перед собой детские коляски и ручные тележки, многие ехали на велосипедах, на тележках мороженщиков и даже на катафалках. Крестьянские лошади, запряженные тройкой и четверней, тащили огромные возы, на каждом из которых восседало не менее 50 детишек и женщин со всем их кухонным

скарбом, одеялами и матрасами. Целые деревни странствовали сообща, останавливаясь по временам у дороги, чтобы сварить еду, хотя после нескольких дней пути варить было почти нечего. Я видел также пожилую женщину, которая целыми днями шагала по бесконечному шоссе, с чемоданом в каждой руке. Двигалось население четырех стран, медленно, упорно пробираясь на юг, подальше от немцев. Это было начало потока, в который ежедневно вливалось все больше и больше людей и который неизбежно должен был запрудить все дороги, дезорганизовать снабжение войск продовольствием и горючим и затруднить военные операции во время одной из величайших и решающих битв в истории.

Ехавшие на автомобилях говорили, что германские механизированные дивизии продвигаются на юг вдоль канала Альберта и реки Маас, через которые им удалось переправиться, так как мосты не были взорваны. Беженцы снимались с места в течение нескольких минут — так быстро развивалось наступление. По дороге многие из них подвергались бомбардировке и пулеметному обстрелу с самолетов.

Как известно, беженцы всегда склонны думать, что враг ожесточенно преследует их по пятам. Поэтому вначале мы относились скептически к их рассказам, однако вскоре мы убедились, что эти рассказы в общем соответствуют действительности.

На пути в штаб мы должны были довольно часто останавливаться, так как над головами у нас летали германские самолеты, сбрасывая бомбы на шоссе и железнодорожные линии за фронтовой полосой. Деревня, где находился штаб 2-й армии, выглядела очень мирной по сравнению с открытой дорогой, и мы решились снять свои стальные шлемы и вытащить пирующие машинки. Мы собирались пробыть здесь два дня, и капитан Масси, начальник армейского отдела печати, отвел нам для работы очень комфортабельное помещение. Масси сказал нам, что немцы быстро продвигаются на юг через Бельгию и Люксембург и готовят решительное наступление на французскую оборонительную линию на Маасе в районе Седана; наступление начнется либо в тот же вечер, либо на следующее утро. «Вы прибыли в очень интересный момент», — сказал он. Масси недавно ездил вместе с генералом Хюнтцигером в Бельгию. Он нашел, что Бельгия абсолютно не под-

готовлена к сопротивлению, а гражданское население, очевидно, вообще не представляло себе всей серьезности положения. Мэр небольшого бельгийского городка Буйон сказал ему: «Мы здесь в безопасности. Наш поселок — всего лишь небольшой туристский центр, и немцы вряд ли причинят ему какой-либо вред». На следующий день поселок подвергся ожесточенной бомбардировке — весьма возможно, для того, чтобы заставить гражданское население броситься к французским границам и создать помеху военным операциям французов. Капитан сообщил нам подробности ожидаемого наступления немцев. Его предсказания потом полностью оправдались. Он сказал, что немцы введут в действие самолеты как один из видов артиллерии и будут бомбардировать линию фронта и обстреливать войска из пулеметов. Когда же войска начнут прятаться в укрытиях, немцы сбросят вооруженных ручными пулеметами парашютистов, которые займут оборонительные позиции в ожидании механизированных колонн. Капитан докладывал нам все это так, как будто он выступал на конференции по военной стратегии в Сорбонне, а не описывал кровавую битву, которая вот-вот должна начаться. Все это было для нас «интересным материалом». Нам обещали, что наши корреспонденции будут доставлены специальным курьером в штаб военной цензуры, который находился близ Парижа, и очень быстро попадут в Лондон. Мы сели за свои машинки и составили «предбатальные» телеграммы. Они взбудоражили бы читателей, но, к несчастью, они были получены в Лондоне, когда германские дивизии уже прорвали фронт, а 2-я и 9-я армии отступали. Франция пережила второй Седан, французы снова были разбиты и отброшены к Луаре.

Однако 14 мая капитан Масси и другие штабные офицеры еще были уверены в успехе. «Мы отводим свои передовые посты, что всегда входило в наши расчеты, — говорил Масси, — но мы остановим немцев на главной оборонительной линии». Он сообщил нам, что генерал Хюнтцигер хотел бы видеть нас вечером или на следующее утро и что он предоставит нам возможность быть поближе к линии огня. Однако дело обернулось так, что генерал был слишком занят. Оказалось, что штаб намерен в ту же ночь переместить подальше от фронта. Ходили слухи о прорыве на нашем левом фланге, где армия Корапа пыталась удержать широкий фронт. Вместо

беседы с генералом, мы должны были ограничиться чтением его только что выпущенного приказа войскам. В приказе говорилось, что войска должны защищать священную землю Франции и ни при каких условиях не уступать свои позиции на линии Мажино. Это говорил генерал, который 6 недель спустя возглавил делегацию по перемирию и подписал условия капитуляции.

Мы вернулись назад в Вузье вместе с нашим «пресс-лейтенантом», больше всего сокрушавшимся о том, что отменен спектакль с участием известных артистов, который должен был состояться на следующий день в Седане. Мы провели ночь в Вузье, но спали мало. Всю ночь за окном грохотали грузовики и танки, направлявшиеся на фронт. Город был полон беженцев, которые спали на улицах и площадях. Надо полагать, что вместе с ними в Вузье проникло немало германских агентов, чтобы сообщать о передвижениях французских войск немцам, которые находились всего лишь в нескольких милях, сеять панику среди гражданского населения и нарушать коммуникации французов. Франция, столь тщательно очищавшая себя в последние годы от подозрительных элементов, была теперь, в критический момент, наводнена толпами мужчин, женщин и детей различной национальности, которые проходили даже через линию Мажино. Все это легко было предвидеть заранее, но никто ничего не сделал для того, чтобы остановить поток беженцев на бельгийской и люксембургской границах, а когда спохватились, было уже слишком поздно. Их надо было остановить хотя бы ружейным огнем, разместить во французских деревнях и потом эвакуировать по железной дороге и на грузовиках.

Штаб 2-й армии переезжал ночью, ему было не до нас, и мы остались в Вузье, чтобы собирать интересные, но мало веселые сведения у солдат, отставших от фронтовых частей и искавших убежища в деревнях. Отставшие входили в кафе на главном сквере сначала по-двое и по-трое, а затем группами. Они сообщали, что немцы прорвали оборонительную линию на Маасе в нескольких пунктах. Это были плохие вести. Это означало, что французской армии придется вести маневренную войну, тогда как ее готовили только для позиционной обороны. Мы не имели возможности проверить правдивость этих рассказов и должны были терпеливо ждать информации из штаба. Потрясающее впечатление на войска производили германские

пикирующие бомбардировщики. Солдаты не были подготовлены к этим атакам; одного шума самолетов, появляющихся в нескольких футах над головой, говорили они, было для них вполне достаточно, не говоря уже о бомбах. «Где французские самолеты? — спрашивали постоянно солдаты. — Мы видим только германские. Они летают здесь, как у себя дома». Все солдаты выглядели уставшими, грязными, и у всех был удивленный вид. Утром воздушная бомбардировка возобновилась; немцы пытались разрушить железные и шоссейные дороги департамента Эн, по которым успешно подтягивались французские подкрепления, чтобы закрыть образовавшуюся брешь. Я вышел из гостиницы купить папиросы и увидел, как вдоль улицы, чуть выше крыш, летели два «Дорнье». Они открыли пулеметную стрельбу, и в следующую секунду я уже лежал на тротуаре вместе с другими. На наше счастье, самолеты не сбросили бомб. Но недалеко за городом поднялся огромный столб черного дыма. Скотт, Миллер и я отправились посмотреть, в чем дело. Оказалось, что бомбы попали в военный транспорт горячего, и все было сразу охвачено пламенем. По обеим сторонам дороги через каждые 200—300 ярдов виднелись огромные воронки. Прямых попаданий в дорогу не было. Чем ближе к транспорту, тем нестерпимее был жар от огня. Поминутно взрывались боеприпасы. Невдалеке на спине, уставив неподвижные глаза на солнце, лежал убитый офицер. В другом месте раненый солдат звал на помощь; мы послали к нему санитаров. Германские самолеты появлялись несколько раз. Я и Миллер бросились в придорожную канаву. Скотт пошел один в поле. Потом он сказал, что вид коров, спокойно жующих жвачку, действует в таких случаях весьма успокаивающе.

Узнав, что в госпитале лежит много раненых, пострадавших при бомбардировках и пулеметном обстреле дорог, я направился к мэру города. Я нашел его на сквере. Вид у него был очень озабоченный. Ежедневно через город проходили тысячи беженцев; прокормить их и найти для них какой-либо транспорт было нелегкой задачей. Он повел меня в госпиталь, где работала его дочь. Одного за другим уносили раненых на операционный стол. Этот стол стоял так, что был виден всякому, кто входил или выходил из госпиталя. Один из врачей спросил, не желаю ли я говорить с ранеными.

— Нет, я не хочу беспокоить их, — ответил я.

— О, это их не побеспокоит.

Меня провели в большую палату, переполненную ранеными женщинами. Пока доктор опрашивал этих несчастных, я стоял в стороне. Здесь находились, главным образом, француженки из Арденн; некоторые из них были ранены пулеметным огнем, когда они шли по дорогам. Прежде чем открыть огонь, самолеты переходили на бреющий полет, и летчики должны были видеть, что это всего лишь беженцы. Французских солдат не было нигде поблизости. В другой палате мне предложили поговорить с человеком, которому только что ампутировали руку по самое плечо. Его постель была залита кровью, но говорил он вполне связно. В это время неподалеку от госпиталя упало несколько бомб. Посыпались стекла. Жутко было наблюдать панику, охватившую раненых — мужчин, женщин и детей. Все пытались вскочить с постелей. Врачи всячески успокаивали их, и постепенно паника улеглась. А когда я уходил, в госпиталь вносили человека, раненного осколками одной из только что разорвавшихся бомб. Врачи работали почти без отдыха. Если бы все эти люди оставались у себя дома, они, вероятно, не пострадали бы, а врачи могли бы спокойно заниматься своим главным делом — помощью раненым солдатам, которые начали прибывать в Вузье с Мааса. Можно было бы даже перевести часть солдат из переполненных военных госпиталей в общегражданские больницы. На улицах старики и женщины останавливали нас и спрашивали, оставаться ли им на месте или выбираться из города. Мы всегда советовали оставаться, но желание уйти подальше от немцев и повторяющиеся бомбардировки брали верх. Повсюду начали упаковывать вещи, все потянулись из города. Гостиница, в которой мы обедали накануне вечером, была закрыта, так как все постояльцы разъехались. Еще в 11 часов утра я покупал бумагу в магазине канцелярских принадлежностей. Бородатый хозяин был типичный буржуа в крахмальном воротничке и черном костюме. Он жил тут же, при магазине, в течение двадцати лет; казалось, что он сросся с ним и проживет здесь по крайней мере еще столько же. Но к полудню он надел черную шляпу и вместе с другими очутился на шоссе. Мокрый от пота, он толкал перед собой тачку со своими пожитками.

В самом разгаре суматохи мы встретили командира



мототранспортного отряда, мисс Бетти Скотт, которая пригласила нас в офицерскую столовую выпить вермута. В этом отряде было восемь англичанок. Они управляли санитарными автомобилями, доставляли в штаб захваченных германских летчиков и отвозили в госпитали раненых беженцев. Мисс Скотт рассказывала, как суеверны люди, покидающие свои дома. Ее квартирная хозяйка, оставившая вчера город, передала ей ключи от своей виллы. Мисс Скотт посоветовала ей взять их с собой, так как еще неизвестно, достигнут ли немцы Вузье.

— Нет, — ответила женщина, — в 1914 году я взяла ключи с собой, а когда я вернулась обратно, ключи были единственной вещью, которая у меня осталась. Так уже лучше не брать их.

Обратить в бегство все население входило, повидимому, в планы немцев. Когда немцы бомбили Роттердам, они старались причинить городу как можно больше разрушений, чтобы напугать местные военные власти. Во Франции же они применяли легкие бомбы и разбрасывали их на пространстве обширных районов, чтобы согнать с места как можно больше людей. Бегство населения сыграло большую роль в шестидневной кампании. Я знаю мост через Маас, который не взорвали только потому, что он был забит беженцами и французы не решились взорвать их вместе с мостом. Другие мосты остались невзорванными либо по недомыслию, либо из-за предательства. А в некоторых местах немцы форсировали реку, не считаясь с потерей части танков при переправе. Наступление было быстрым и беспощадным. Немцы не обращали никакого внимания на беженцев, они давили танками даже своих раненых, не желая терять ни секунды времени.

В 25 милях от нас происходила решающая битва. Мы беспокоились, так как не имели никаких достоверных сведений. Мы знали только то, что рассказывали нам беженцы и солдаты, и поэтому очень обрадовались, когда прибыл наш «пресс-лейтенант». Однако он ничего не мог сообщить нам и сказал только, что происходит большое сражение и дела идут не очень хорошо. Германские механизированные дивизии форсировали Маас, после чего танки и моторизованные колонны продолжали стремительное наступление. Я не думаю, чтобы штаб 2-й армии сам имел ясное представление о происходящем. Ночью штаб перебрался в замок, где имелся только один телефон, и очень трудно

было наладить связь с частями. Армия Корапа, расположенная слева от нас, была разбита, и немцы прорвали линию обороны на франко-бельгийской границе, которую неверно называли линией Мажино. Мы, естественно, хотели узнать больше и попросили отвезти нас в штаб. Однако в штабе решили отправить нас подальше в тыл, чтобы мы могли видеть как можно меньше. Лейтенант был, кажется, недоволен даже тем, что мы разговаривали с солдатами в Вузье. Он распорядился перевезти нас в Верден, поблизости к которому расположился штаб. И хотя Верден находился далеко от театра военных действий, мы должны были отправиться туда. О возвращении в Камбрэ, где остался весь наш багаж, не могло быть и речи, так как немцы быстро продвигались в этом направлении. А ведь всего два дня назад мы протестовали против того, что нас посылают в Камбрэ, так как он находится далеко от фронта! Мы провели ночь в Вердене. Наутро из штаба приехал капитан Масси. Узнав от лейтенанта, что мы разговаривали в Вузье с солдатами, он рассердился и пытался объяснить нам, что этих солдат нельзя считать представителями французской армии. Он настаивал, чтобы мы как можно скорее вернулись в Париж, но предупредил, что не может дать нам машины, так как все автомобили, предназначенные для корреспондентов (при каждой армии было восемь таких машин), нужны для других целей. Мы заявили решительный протест против того, что нас отсылают как раз в тот момент, когда мы можем оправдать свое название военных корреспондентов и дать французской и английской прессе подробное описание подвигов французских войск. Мы увидели бы не только отставших от своих частей солдат, но и солдат в бою. Но наши аргументы не подействовали. Даже если бы мы видели и знали все, что хотели, мы не могли бы передавать наши сообщения иначе как через штаб, так как невозможно было связаться ни по телефону, ни по телеграфу с каким-нибудь другим департаментом. Пришлось примириться с судьбой. Капитан Масси отправил нас в Бар ле Дюк, откуда на поезде мы за два часа могли доехать до Парижа. Однако, прибыв туда, мы узнали, что движение поездов приостановлено на несколько дней, а нанять машину невозможно, так как весь автотранспорт реквизирован для беженцев. Нам не оставалось ничего иного, как ждать, и мы остались ночевать в Бар ле Дюке. Единственными

происшествиями были легкая бомбардировка да кратковременный арест Давида Скотта, которого приняли за парашютиста. На следующий день пошел поезд, переполненный беженцами и солдатами, среди которых были раненые. Двое раненых, ехавших в нашем купе, были выписаны из госпиталя в Бар ле Дюке, чтобы освободить место для нескольких человек, оставшихся в живых от всего полка, который направлялся на фронт и был почти полностью уничтожен воздушной бомбардировкой. До Парижа вместо обычных двух часов мы ехали восемнадцать.

Мы только что проехали мимо останков поездного состава, разгромленного бомбами, как вдруг наш поезд остановился и прозвучал сигнал воздушной тревоги. Бомбардировка повредила впереди полотно железной дороги. Несколько секунд спустя мы слышали над головой шум самолетов и знакомый свист: шесть бомб упало в поле в ста ярдах от нас, попав в линию, параллельную нашей. Снова я был поражен той быстротой, с какой все инстинктивно падают ничком, едва заслышав свист падающих бомб. Я стоял в переполненном коридоре бок о бок с французскими солдатами, и мы все повалились сразу на пол. Я, должно быть, упал первым; так как сверху на мне оказалось два солдата; это была хорошая защита от осколков. Беда лишь в том, что самолетов давно уже и след простыл, а солдаты все еще лежали на мне. Когда первый страх прошел, начался сущий ад. Женщины и дети повыскакивали из вагонов и бросились через поле в лес, находившийся в миле от железной дороги. Остальные забрались под вагоны и не вылезали в течение часа. Мы старались успокоить пассажиров. Миллер ухаживал за какой-то женщиной с грудным ребенком, а я был очень горд, когда маленькая девочка, схватив меня за руку, сказала матери: «Я хочу остаться с офицером». Я отправился в купе за подушкой, чтобы прикрывать ею голову девочки; если самолеты появятся снова. В купе я увидел «старого солдата» Бурсье, который в трех кампаниях был корреспондентом «Энтрансижан». Покуривая папиросу, он лежал на диване, растянувшись во всю длину и укрывшись сверху подушками. Я снял с него одну и отдал матери девочки. Другая мамаша просила меня разыскать ее маленького сынишку, который исчез куда-то во время паники. Я нашел его. Мальчик бежал по полю, сам не зная куда. «Нет, нет, я не вернусь на поезд», — повторял он все

время. Я притащил его, но через несколько минут он снова исчез. Все боялись, что самолеты вернутся бомбардировать станцию. Так оно и случилось. На этот раз пять бомб упали в каких-нибудь пяти ярдах от паровоза; на станции выбило все стекла, но единственными жертвами были три курицы и один кролик. Поезд не пострадал, но телефонная линия была повреждена, и мы не могли выяснить, насколько сильно разрушена железнодорожная линия впереди. Примерно через полчаса паровоз дал десять оглушительных свистков, чтобы созвать разбежавшихся по лесу пассажиров, а еще через полчаса мы медленно ползли вперед — к тому месту, где путь был разрушен. Здесь уже возились рабочие. Через час линия была исправлена. Пока мы ждали поезда, толпа начала охотиться за германскими парашютистами. Рассказывали, что видели священника с подозрительной жестяной коробкой, но найти его не удалось. Если бы Миллер, Скотт и я знали тогда, что случилось с двумя нашими коллегами, поехавшими обратно в Камбрэ, мы бы, вероятно, чувствовали себя не очень спокойно в нашей форменной одежде.

Миру следует поведать о нашей форме. Если бы из военных корреспондентов составили взвод и провели его в воскресенье вечером по Елисейским полям, это было бы занятнейшим зрелищем для толпы. Индивидуализм, который всегда был характерной чертой французов, в полной мере отразился и на их одеяниях: каждый был одет по-своему; английские корреспонденты хотели выглядеть, как английские офицеры; американские журналисты старались походить на американских офицеров. Мы решили отдавать честь только офицерам в чине не ниже капитана. На наших погонах были зеленые нашивки с надписью «Военный корреспондент», чтобы гражданское население знало, кто мы такие. На шляпах, фуражках и беретах у нас были большие золотые буквы «С» или CG, что означало «Correspondant» или «Correspondant de Guerre» (военный корреспондент). Когда мы впервые появились на улицах Парижа, юмористическая французская газета «Канар аншенэ» решила, что золотые литеры на наших головных уборах означают «Сосу», то есть рогоносец или «Sосу garanti», то есть гарантированный рогоносец. Наши френчи были различных цветов, разной длины и с разными пуговицами. Брюки также каждый сшил по собственному вкусу.

Но больше всего бросалась в глаза разница в комплекции. Половина из нас не годилась для службы ни в одной армии мира, и уж, конечно, мы не были пригодны для службы в парашютных частях германской армии. Однако толпа не следует логике. В нашем облике было нечто странное. Мы не походили ни на солдат, ни на офицеров, и поэтому к нам относились с подозрением.

## Глава VI

### ТРАГЕДИЯ БЕЖЕНЦЕВ

Теперь, пожалуй, начинается самая печальная часть рассказа. Когда мы, военные корреспонденты, впервые прибыли в Камбрэ, нас встретил штабной полковник, который всячески старался устроить нас поудобнее. Он достал нам для работы комнату с телефоном и прикомандировал к нам военную машинистку (в Камбрэ собралось около двадцати известных французских журналистов, но только двое из них умели писать на машинке).

Прошла неделя после вторжения немцев во Францию. Всю эту неделю беженцы, а вместе с ними и вражеские агенты имели полную возможность проникать внутрь страны. Никто не знал, как быть с беженцами; никакого плана не существовало. На местах многие чиновники, привыкшие выжидать указаний из центра, только разводили руками, а население склонно было само чинить суд и расправу, что только усиливало общий беспорядок. Каждая деревня и каждый город хотели знать: должны ли они задерживать беженцев, или же направлять их дальше; если направлять, то в каком порядке; если задерживать, то как их кормить; должно ли городское и сельское население оставаться на своих местах, или же вливаться в поток беженцев и увеличивать затруднения для местных властей других городов и деревень? Все эти вопросы составляли вместе проблему государственной важности, которую должно было, конечно, решать правительство или главное командование. Кое-где местные власти, выяснив, что в результате бомбардировки и диверсионных актов нормальная связь с Парижем прервана, садились в машины и ехали в Париж, чтобы узнать, что им делать. Многим из них не удалось вернуться обратно, так как дороги были запружены, и население оказалось брошенным на произ-

вол судьбы. Некоторые, впрочем, с самого начала не собирались возвращаться, так как знали, что немцы приближаются.

Легко, конечно, рассуждать задним числом, но все же правительство должно было предвидеть то, что произошло во Франции. Во-первых, поток беженцев из Голландии, Бельгии и Люксембурга, хлынувший во Францию после вторжения немцев, нужно было задерживать у французских границ. Во-вторых, ни один француз не должен был сниматься с места без особого разрешения. В-третьих, нужно было немедленно разъяснить населению, что, покидая деревни, оно помогает врагу, так как германские агенты могут заниматься диверсионными актами без всяких помех. Помимо выслеживания парашютистов, население должно было воздвигать на дорогах баррикады и иметь в запасе битое стекло, чтобы забросать им дороги, если появятся германские мотоциклисты или автомобили.

Все это потребовало бы от граждан большого мужества. Но я убежден, что если бы местные власти смогли подбодрить население и вовлечь его в оборонную работу, оно охотно откликнулось бы на всякий призыв. Где бы я ни побывал за линией фронта, настроение жителей было везде превосходным. Они могли бы защищать свои дома и деревни, если бы не пустились в рискованный путь на юг. Терпя всяческие лишения и нередко отрываясь по дороге от своих, люди утратили всякую выдержку и стали легко поддаваться панике. Могут сказать, что безоружное население мало что может сделать против хорошо вооруженных моторизованных войск. Это верно. Но всякий поступил бы разумно, оставаясь дома. Для мирных жителей это было бы безопаснее, чем находиться на дорогах, где их могли обстреливать и бомбить с воздуха и где их настигали моторизованные части, которые стремительно продвигались вперед и поэтому были беспощадны ко всем, кто попадался им на пути. Наоборот, останавливаться в каждой деревне и выискивать себе жертвы — на это германские войска просто не имели бы времени.

Население могло бы принести большую пользу, помогая задерживать или окружать мелкие группы германских мотоциклистов, которые неслись вперед, спеша занять стратегические пункты и прервать французские коммуникации. А вышло так, что германские мотоциклисты мчались по ровным французским дорогам через опустевшую

территорию, которая, собственно, находилась еще в руках французов. Они отрывались иногда на расстояние одного или двух дней пути от главных германских колонн. Два случая рисуют типичные методы немцев. Вот один из них. Французские солдаты, находясь на опушке леса, увидели мотоциклиста, который мчался по направлению к ним со скоростью 60 километров в час. Когда мотоциклист поровнялся с ними, он замедлил ход, остановился посреди дороги и спросил, как ему проехать в Сент-Адресс. Мотоциклист был похож на немца. Солдаты задержали его и нашли при нем инструкции, согласно которым он должен был в этот день в определенный час быть в Сент-Адрессе. Арестованный плакал от ярости и был взбешен тем, что французы помешали ему выполнить приказ. Другой немец, полицейский, появился на своем мотоцикле в центре города Ретеля, когда последний находился еще в руках французов. У него были при себе белые перчатки, белая дубинка и распоряжение прибыть в Ретель как раз к тому часу, когда он действительно прибыл, чтобы регулировать уличное движение. У всех этих немцев имелись путеводители Мишлена; они ездили по французским дорогам, как по своим собственным, не упуская случая разведать и посмотреть, находятся ли еще поблизости французы. В большинстве случаев это сходило немцам с рук, но некоторые из них были захвачены французами. Деревенские власти на местах могли бы после прохода основных моторизованных войск и до прихода германской пехоты мобилизовать население, чтобы проводить за германской линией такой же саботаж, какой проводили немцы за французской. При таком методе борьбы с врагом жители рисковали бы, вероятно, не больше, чем те, кто покинул родные места, но все же попал под власть немцев.

Свою речь «Отечество в опасности» Рейно закончил следующими словами: «Франция не может умереть. Что касается меня, то если бы мне завтра сказали, что только чудо может спасти Францию, я бы ответил: «Я верю в это чудо, ибо я верю во Францию».

Франция могла быть спасена и без чудес. Трезвая логика и смелая решимость со стороны правительства могли бы спасти ее еще 21 мая. Но, несмотря на категорические заверения Рейно, промышленники и банкиры попрежнему пользовались огромным влиянием. В конце концов они заставили правительство просить мира в тщетной надежде

спасти свои капиталы, фабрики и заводы, дома и семейный уют.

Причин, приведших к капитуляции Франции, было много, но одна из главных — это дезорганизация, вызванная беженцами. Только 16 июня, за несколько дней до того, как запросить немцев об условиях перемирия, через месяц после германского прорыва на Маасе, французское правительство издало приказ, чтобы население не загромождало дороги, предупреждая, что в случае необходимости будет применяться военная сила. Но уже было слишком поздно. Пройдя через всю Францию и истребив по пути все запасы продовольствия и горючего, беженцы остановились на побережье Атлантического океана; они превратились в измученную, обнищавшую толпу, наседавшую со всех сторон на правительство в Бордо.

## Глава VII

### БОРЬБА НА РЕКАХ

События развивались быстро. 14 мая главнокомандующий голландской армией приказал прекратить сопротивление повсюду, кроме провинции Зееланд, где бои продолжались еще несколько дней; в Бельгии германские механизированные части продвигались вдоль Мааса и канала Альберта. 14 мая они перешли французскую границу в районе Седана и вклинились во французскую линию обороны. 16 мая германские механизированные части переправились через Маас. 17 мая немцы вступили в Брюссель. Английские экспедиционные войска, 9-я французская армия и бельгийские войска начали стратегическое отступление. Генерал Гамелен издал приказ: «Победить или умереть», но брешь между Самброй и Седаном продолжала расширяться. Через неделю после прорыва на Маасе страна узнала о размерах катастрофы.

Слухи о катастрофе быстро распространились в Париже, и состоятельные люди начали покидать город. В составе правительства и верховного командования произошли перемены, показывавшие, что события складываются неблагоприятно для Франции.

18 мая Рейно принял на себя обязанности министра национальной обороны. Даладье стал министром иностранных дел и находился на пути к полному падению. Маршал



Петэн стал вице-премьером. На следующий день генерал Вейган, который командовал французскими вооруженными силами на Ближнем Востоке, сменил генерала Гамелена на посту главнокомандующего войсками союзников. Тем временем немцы прорвались через реки Уазу и Самбру и заняли Ле-Като и Сен-Кантен. Это означало, что они за четыре дня продвинулись по прямой на 75 миль, направляя удар на северо-запад от Седана и отрезая от главных сил 9 английских дивизий и 16 отборных французских дивизий. Большая часть германских механизированных войск повернула к северу, чтобы раздробить войска союзников на оторванные друг от друга части.

26 мая они заняли Булонь и Калэ. И когда, по приказу короля Леопольда, бельгийская армия капитулировала, войска союзников на севере оказались в крайне затруднительном положении и должны были пробиваться вдоль узкого коридора к Дюнкерку.

В эти тревожные дни французы создали оборонительную линию вдоль рек Соммы и Эн. Эта линия шла от Ламанша в юго-восточном направлении, через Аббевиль, Амьен, Перонну и Гам, а затем поворачивала к востоку вдоль канала Элетт и Уазы, через Невшатель, Ретель и Аттиньи и далее вдоль Арденского канала до линии Мажино у Монмеди и Лонтви. В конце мая я посетил французскую механизированную дивизию на реке Эн к востоку от Аттиньи. Эта дивизия остановила продвижение отборной германской бронетанковой дивизии. Французский командующий, генерал Бюиссон, был по характеру оптимистом. Только этим и можно объяснить, что в такой критический момент он разрешил военным корреспондентам посетить свою дивизию.

Но даже и он не слишком увлекался в своем оптимизме. Однако, если цензура пропускает только оптимистическую часть разъяснений оптимистически настроенного генерала, то у читателей газет создается ложное впечатление. Момент был критический; Франция остро нуждалась в американских самолетах и в английских механизированных войсках и артиллерии; общественному мнению заинтересованных стран необходимо было разъяснить всю серьезность положения. После посещения дивизии генерала Бюиссона я отправил телеграмму в Лондон, в которой дал понять, что хотя эта дивизия удерживает небольшой участок на Эн, — дальше к западу, то есть на Сомме, поло-

жение нельзя назвать удовлетворительным. Германская бронетанковая дивизия, остановленная Бюиссоном, нащупывала слабые пункты в оборонительной линии французов; не найдя их на Эн, она направилась на запад, к Сомме. Но мои замечания на этот счет были вычеркнуты цензурой, и корреспонденция, появившаяся, к стати сказать, во всех лондонских вечерних газетах, получила такой смысл, будто французские танки лучше германских и вообще все в полном порядке. В «Таймс» корреспонденция была напечатана 1 июня в следующем виде:

«Специальный корреспондент агентства Рейтер посетил в четверг французскую механизированную дивизию, которая отразила ожесточенные атаки одной из лучших германских бронетанковых дивизий и остановила продвижение немцев к югу от Седана. После тяжелых двухнедельных боев офицеры и солдаты отдыхали под прикрытием рядом со своими танками. Сражение, по словам корреспондента, перешло в фазу классической окопной войны, но танковые батальоны должны быть готовы в любой момент двинуться на помощь своей пехоте в случае атаки немцев.

«После четырнадцати дней боев, — заявил генерал, командовавший дивизией, — мы отбросили германскую бронетанковую дивизию, а наша единственная пехотная дивизия, несмотря на повторные враждебные атаки, сумела сдержать натиск двух германских пехотных дивизий, которые понесли при этом большие потери. С того момента, как мы заняли наши позиции на Эн, мы не потеряли ни единой пяди земли».

«Офицеры и солдаты, принимавшие участие в боях, рассказывают, что когда в середине мая германская механизированная колонна прорвалась через Арденны, генерал получил приказ выступить со своей механизированной дивизией и остановить германское продвижение на юго-запад. Едва прибыв на место, дивизия встретила с тяжелыми германскими танками, за которыми следовали легкие танки, сопровождаемые пехотой и поддержанные большим количеством самолетов.

«Мы имеем дело с новым типом танковой войны, — сказал генерал, — и наши бои похожи на морские или воздушные сражения. Наши танки вплотную подходят к германским, маневрируют с флангов и выпускают снаряды почти в упор — с расстояния всего лишь в несколько сот

яров. В несколько минут все бывает кончено. Даже танки не могут выдержать огня с такой короткой дистанции и оказываются уничтоженными или выведенными из строя».

«Молодой капитан, сын известного генерала, один вывел из строя двенадцать германских танков в течение нескольких минут. «Мы вышли, — рассказывает он, — с нашими тяжелыми танками навстречу немцам. Мой танк отделился от остальных. Перевалив через холм, я заметил двенадцать германских танков, шедших по дороге мне навстречу. Характер местности не позволял им свернуть с дороги и напасть на мой танк с флангов. Мы двинулись вперед и вывели из строя один за другим двенадцать германских танков. Некоторые из них были охвачены огнем, и, в конце концов, все двенадцать были уничтожены вместе со своими командами».

На самом деле все это было далеко не так просто. Я спросил генерала, что произойдет, если немцы прорвутся через Сомму и Эн, по течению которых проходит новая линия Вейгана. Он пожал плечами и ничего не ответил. Он не отрицал такой возможности. «Эта война, — сказал он, — война механизированная. Только механизмами мы можем победить врага. Наши солдаты не менее храбры, чем германские, и даже храбрее, но решают дело механизмы».

Вот что надо было сказать миру: «Механизмы решают дело».

Французский генеральный штаб должен был бы знать это еще двадцать лет назад, а если он не понимал этого до прорыва немцев через Маас, то после прорыва не должен был мешать журналистам оповестить весь мир о том, что «без механизмов мы будем разбиты». Было еще не поздно, печать и радио еще могли начать соответствующую кампанию. Все знали, что у французов нет достаточного количества танков и самолетов, что английские экспедиционные войска погружаются на суда в Дюнкерке и что пройдет некоторое время, прежде чем англичане смогут послать во Францию новые войска с артиллерией и бронемашинами.

Генерал Бюиссон знал все это очень хорошо и делал что мог. Он был прирожденный командир, а хороший командир всегда бывает оптимистом. Генерал прошел всю службу в стрелковых войсках — это, пожалуй, лучшие ча-

сти французской армии. Приняв на себя командование механизированной дивизией, Бюиссон сохранил также и начальство над стрелковой дивизией—той самой, которая одна сдерживала напор двух германских пехотных дивизий.

«Немцы несколько раз просачивались ночью через Эн,—рассказывал генерал. — Но я сказал моим стрелкам: что бы ни случилось, вы должны удерживать свои позиции,—и представьте, они их удерживают. По утрам, когда мы пускали в ход танки и отгоняли немцев назад, мы неизменно заставляли стрелков на прежних постах. Германская пехота предпринимала несколько раз атаки и понесла серьезные потери. Но в этом нет ничего особенного, не стоит об этом писать. Другое дело — германская механизированная дивизия. Она была составлена из отборных германских солдат и сражалась очень хорошо. Мы, однако, освоились с новой германской тактикой, которая состоит не только в совместных действиях пехоты и танков; ее основная особенность в том, что впереди главных сил идут отряды танков, врезаясь как можно дальше в глубь страны. Германские тяжелые танки по весу равны нашим (30 тонн); они обладают большой скоростью, но для этого пришлось ослабить их броню. Когда условия местности не позволяют им развернуться, пушки наших танков очень быстро пробивают броню германских и выводят их из строя. Именно так капитану Бийоту и удалось уничтожить двенадцать германских танков. Мы уничтожили их так много, что немцам эта игра перестала нравиться, и они оставили свои попытки прорваться к Реймсу и Парижу.

«Во время боя,—продолжал генерал, — ко мне является один ординарец за другим и взволнованно сообщает, что немцы прорываются. Дело в том, что когда дозорные замечают немца, они обычно уверены, что за ним идет целая рота. Я всегда в таких случаях отвечаю: вздор, пойдите посмотрите еще раз. По большей части они убеждаются в своей ошибке. Надо всегда вносить поправку на преувеличение в донесения с поля битвы».

При этих словах я подумал: относятся ли другие французские командиры к получаемым ими донесениям с таким же хладнокровием, как Бюиссон? Ведь некоторые из них в результате воздушных бомбардировок потеряли связь с другими дивизиями и отрезаны даже от собственных войск.

«Французские войска уже приспособляются к новой механизированной войне,—продолжал генерал Бюиссон.—Германские воздушные атаки застигли их врасплох, когда противник впервые прорвался на Маасе. Сначала даже мои стрелки приходили в замешательство, когда появлялись германские бомбардировщики. Самолеты кружились, словно танцующая кадрили. Они по одному снижались до нескольких футов над землей, сбрасывали бомбы, затем снова присоединялись к остальным. Так продолжалось около получаса, и все время эскадрилья строго соблюдала строй.

Даже когда самолеты истощали свои запасы бомб, они продолжали пикировать, чтобы запугать солдат. Но постепенно немцы оставили этот метод, так как нашли его слишком невыгодным. Наши стрелки, не имея ничего, кроме своих винтовок, сбили в последние десять дней двадцать германских самолетов.

Солдаты увидели, что со стороны они могут без всякого риска стрелять стоя или с колена в пикирующий бомбардировщик. Раз поняв это, они начали сшибать германские самолеты, как кроликов».

Я задал Бюиссону вопрос, который интересовал тогда всех: почему нельзя было остановить германские механизированные войска, если они так далеко отрывались от своих баз, или рассеять неприятельские колонны? Ответ сводился к следующему. Германские колонны рассеивались не раз, но это нисколько не мешало подходу новых неприятельских войск; танки и бронемшины, прорывавшиеся вперед, двигались со скоростью в среднем 20 миль в час и причиняли значительные разрушения прежде, чем их удавалось уничтожить. Задача поэтому состояла в том, чтобы остановить наступление в целом. В 1914 году союзники стояли перед лицом такой же проблемы. Они нашли бесполезным бросать в прорыв одну дивизию за другой: это значило просто терять войска. Лучше было создать новую линию обороны в тылу, и ее создали на Марне, пока арьергард сдерживал неприятельский натиск.

Нужно не меньше недели, чтобы создать такую линию — подвезти войска, артиллерию, боеприпасы, продовольствие, вырыть траншеи и занять оборонительные позиции. В 1914 году у немцев было сравнительно мало механизированных транспортных средств, они продвигались со скоростью пехотного марша — от 5 до 10 миль в день. А сейчас механизированные германские войска делают

около 18 миль в день и продвигаются еще быстрее, если их не задерживают ожесточенные бои с французскими арьергардами. От Седана до Парижа по прямой всего лишь 125 миль — расстояние, которое можно пройти в неделю при средней скорости немцев. Валансьен на франко-бельгийской границе только в 90 милях, или 5 днях пути от Булони. А от Валансьена до Амьена на Сомме только 70 миль, или 4 дня пути.

«К счастью, — сказал генерал, — противник встречает на своем пути ряд таких рек, как Маас, Уаза, Самбра и Анкр. Борьба все время шла за реки, да и дальше будет то же самое, ибо реки являются самым серьезным препятствием для танков в негористой местности. Когда имеешь дело с механизированными частями, а не с пехотой, оборонительная линия должна быть лучше укреплена и иметь большую глубину, а чтобы создать такую линию, надо больше времени. Всякому ясно, что у союзников не было достаточно времени, чтобы укрепиться на Уазе, а затем на Сомме. Мало того, союзники должны были бы подвозить войска, орудия и припасы быстрее, чем в прошлую войну, а на деле транспорт застревал на шоссе и железных дорогах из-за непрерывного потока беженцев и непрерывных бомбардировок.

Вся беда в том, — резюмировал генерал, — что нам не хватает самолетов и танков».

Это была та же самая жалоба, которую мы слышали и в других частях. Генерал Бюиссон обратился к находившемуся с нами американскому корреспонденту со словами: «Скажите Соединенным Штатам, что нам нужны самолеты, самолеты и еще раз самолеты. Они должны прибывать к нам с полным вооружением и боеприпасами».

С наименьшей силой немцы наступали на Ретель, где я посетил пехотную дивизию под командованием генерала Делаттра. Из остатков различных французских полков, отступивших на запад после германского прорыва на Маасе, Делаттр создал отряд, который сдерживал германское наступление на Ретель достаточно долго для того, чтобы французы могли подготовиться к разрушению мостов через Эн и заняться рытьем окопов. Семь дней его солдаты доблестно защищали брешь между Шато Просьон и Ретелем и столь же доблестно они сражались в са-

мом городе. Эти бои получили название «Битвы за кладбища», так как к северу от Ретеля находятся кладбища с могилами французских и немецких солдат, павших в прошлую мировую войну. Стойкость дивизий Бюиссона и Делаттра заставила немцев изменить план наступления. Насколько немцы были сначала уверены в успехе, показывает захват германского полицейского, направлявшегося в Ретель. Такие полицейские посылались на мотоциклах вперед почти во все крупные города; они должны были регулировать движение и ускорять прохождение германских механизированных колонн. Из документов, найденных у военнопленных, в том числе у одного полковника, явствовало, что немцы направлялись на Реймс. После неудачи на Эн немцы изменили план и повернули на запад. Другие командиры жаловались, что Делаттр «присвоил» себе их войска. Эти командиры забывали, что Делаттр принял командование над солдатами, потерявшими свои части, сумел поднять боевой дух этих солдат и сдерживать натиск противника.

«Лучшее, что мне удалось украсть, — говорил Делаттр, — это три французских танка, которые из-за небольших повреждений оторвались от своих соединений. Командиры танков согласились остаться у меня, и сражались они замечательно. Не думаю, чтобы мы выдержали натиск немцев, если бы не эти три танка. Но я не мог отпускать их дальше, чем на револьверный выстрел, так как командиры частей, от которых отстали эти танки, делали все, чтобы получить их обратно. Слухи о подвигах трех танков скоро распространились по всему району, и к нам начали присоединяться другие танки, так что вскоре у нас было уже четырнадцать машин».

Жаль, что во французской армии было немного таких командиров, как Делаттр. Дивизия Делаттра удерживала фронт на Эн протяжением в 20 миль. Это колоссальный фронт для 12 тысяч человек.

Генерал рассказывал, что в его секторе германская пехота несла крайне тяжелые потери. Когда немцы шли в атаку, они орали, как дикари. Иногда целые взводы не открывали огня, считая, повидимому, что достаточно будет их криков. По мнению Делаттра, это возбуждение сменялось всякий раз некоторым упадком сил, и можно было использовать такие моменты. При первой атаке немцев французская артиллерия за десять минут выпустила

2500 снарядов и причинила немцам большие потери. Французские войска показали много примеров истинной отваги. Вот, например, рассказ лейтенанта Жеэна. Его взвод в составе 25 солдат удерживал ферму к северу от Эн с 2 часов утра до 2 часов дня против 400 немцев. Несколько поодаль в других постройках находились сначала еще два взвода французских солдат. Но один из них вынужден был сдаться, так как амбар, где засели французы, загорелся, а другой сумел отступить. Лейтенант Жеэн со своими солдатами держался 12 часов и, в конце концов, вынудил немцев отступить. У немцев были убиты командир и 80 солдат. А между тем немцы окружали ферму со всех сторон, и время от времени отдельные смельчаки пытались взобраться на чердак. Против здания была установлена невдалеке мортира, а пулеметы отрезывали всякую возможность отступления. На ферме несколько раз начинался пожар, но всякий раз его тушили в самом начале. При помощи пулеметного и ружейного огня французы держали осаждающих на приличном расстоянии; немалую помощь оказала также артиллерия. Немцы отступили как раз тогда, когда начали прибывать французские подкрепления.

С такими командирами и такими солдатами Франция смело могла остановить натиск немцев, даже при нехватке самолетов и танков. Немцы предпринимали атаки вдоль фронта протяжением в 120 миль от моря до Монмеди и всюду несли тяжелые потери, особенно в районе Монмеди, где они несколько раз пытались обойти с тыла линию Мажино. Но как раз, когда французы начали приходить в себя после прорыва на Маасе и создали новую линию обороны, пришло подействовавшее как удар грома известие о капитуляции бельгийской армии. Рейно сообщил об этом событии по радио в 8 часов 30 минут утра 28 мая. Это был тяжелый удар для французской армии и французского народа. Опять повсюду раздавался возглас: «Измена!» — возглас, который очень часто приходилось слышать после прорыва на Маасе. Сообщение слушали сотни тысяч французов у себя дома или в кафе. Сам я сидел тогда в кафе. Хозяин стоял за прилавком, его жена разговаривала с какой-то женщиной в глубине помещения. Я пил кофе, когда Рейно начал свою речь: «Я должен сообщить французскому народу об очень серьезном событии». Мы затаили дыхание. Громкоговоритель



продолжал: «Франция не может больше рассчитывать на помощь бельгийской армии. Французская и английская армии сражаются против врага на севере одни. Вам известно положение, создавшееся после прорыва 14 мая. Германские войска вклинились между нашими армиями, которые оказались разделенными на две группы: одна на севере, другая на юге. На юге находятся французские дивизии, удерживающие новый фронт вдоль рек Соммы и Эн вплоть до не поколебленной врагом линии Мажино. На севере сгруппировались три союзных армии под общим командованием генерала Бланшара. Снабжение шло через Дюнкерк. Французская и английская армии защищали этот порт с юга и с запада, а бельгийская — с севера. В самом разгаре кампании бельгийская армия по приказу короля Леопольда капитулировала, не предупредив французов и англичан, и открыла германским дивизиям дорогу на Дюнкерк».

Обе женщины разразились слезами, крича: «Ах, негодяи! Какие негодяи!»

## Глава VIII

### ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ

«Где наши самолеты?» — кричали повсюду. Трудно было не поддаваться панике, когда германские самолеты распоряжались французским небом, как небом Германии. Французские самолеты, которых было в десять раз меньше, чем германских, не могли поспевать всюду. Немцы беспрепятственно бомбили французские коммуникации за линией фронта, атаковали с воздуха войска, двигавшиеся по дорогам, рассеивая и уничтожая иногда целые полки еще до того, как они достигнут фронта. На фронте они летали прямо над головами солдат. В тылу они бомбили города и деревни Франции и обстреливали из пулеметов беженцев на дорогах.

Командование французскими воздушными силами хотело, чтобы мир, и в частности Америка, знали, насколько серьезно положение, и в конце мая военные корреспонденты были приняты в Шантильи командующим северным авиационным сектором и двумя другими генералами авиации. Каждый из них прочел нам очень интересную лекцию о том, что делает французская авиация, и каждый из

них подчеркивал соотношение один к десяти; к несчастью, всякий раз, как я включал эти цифры в телеграмму, цензор неизменно вычеркивал их. Личный состав французской авиации за немногими исключениями был превосходен, но французские самолеты обладали гораздо меньшей скоростью, чем германские. Истребители «Моран» имели мало шансов в борьбе против германских «Мессершмиттов», а американские самолеты появились лишь под конец кампании. Каждая французская армия имела свои эскадрильи истребителей, но их было недостаточно. А после германской бомбардировки 10 мая их стало еще меньше. Немцы совершили первый налет на Францию в тот же день, когда они вторглись в Голландию, Бельгию и Люксембург. Они точно знали, где расположены французские аэродромы, и на рассвете 10 мая бомбардировали большинство из них. Я был тогда в Нанси. Немцы явились туда из Туля, где они уничтожили на аэродроме не меньше десяти самолетов. Такие же потери понесла французская авиация и на всех других аэродромах. После этого налеты на французские аэродромы периодически повторялись, несмотря на то, что французская авиация постоянно меняла свои базы. Это вызвало дезорганизацию как раз тогда, когда истребители и бомбардировщики были нужны дозарезу. Один из офицеров аэродрома в Шартре так охарактеризовал создавшиеся трудности:

«Все время, чуть не каждые два-три дня, мы меняем свои посадочные площадки. Нелетный персонал должен следовать за нами поездом или на грузовиках. Ожесточенные бомбардировки железнодорожных линий сильно сократили число поездов, а шоссейные дороги запружены беженцами. В результате люди часто прибывают на посадочную площадку уже после того, как мы перебравшись на другую. Наши команды, и без того переутомленные продолжительными полетами, должны сами заправлять машины и набирать новый запас бомб. У нас часто нет даже соответствующих инструментов, чтобы подготовить бомбы, вынутые из ящиков. Никто не может при таких условиях интенсивно бомбардировать противника.

Мало того, летчики, которым приходилось спасаться на парашютах, оказывались после приземления в пустынной местности, так как население эвакуировалось. Иногда только через несколько дней удавалось добраться до своей базы. После бомбардировки Монкорнэ я со своим

экипажем вынужден был спуститься на парашютах. Приземлились мы благополучно, но кругом ни живой души, кроме коров, безмятежно щипавших траву. Несколько часов мы шли через опустевшие деревни. Не у кого было расспросить о дороге и достать хотя бы велосипед. Наконец мы попали в деревню, где был один старик, решивший оставить дома, что бы ни случилось. Я обрадовался ему, как родному. Он помог нам найти велосипед, и мы успели добраться до своей базы прежде, чем ее перевели на другое место. Если бы не он, мы, быть может, и сейчас бы еще плутали».

К концу мая корреспондентов старались держать подальше от фронта, и если вы хотели узнать, что происходит, то лучше всего было посетить какую-нибудь авиационную часть. Я подружился с очень милым офицером авиации, полковником Франсуа, который командовал эскадрильей бомбардировщиков, расположенной в Нанжи, к востоку от Парижа. Он показал мне карты, на которые каждый вечер наносились позиции противника. Карты были крупного масштаба и завешивали всю стену комнаты, так что можно было получить довольно ясную картину операций. Каждый вечер на карте вычерчивалась новая линия германского фронта, а прежняя, оставшаяся позади, стиралась. Около 6 часов вечера был получен приказ о ночном полете. Приказы всегда были краткими и точными. Указывались объекты, маршрут, число и вес бомб, а также пункты, где надо произвести разведку. Пока мы с полковником и командой, которой предстоял полет, рассматривали карту, я думал, какой прекрасный очерк я мог бы написать, если бы мне удалось принять участие в бомбардировочном полете. Но я мало надеялся на такую возможность, так как существовал очень строгий приказ, запрещающий корреспондентам подниматься на военных самолетах. Обойти приказ было мудрено, но если бы это удалось, получилась бы совершенно исключительная корреспонденция. Я спросил полковника:

— Нельзя ли мне принять участие в сегодняшнем полете?

— Почему бы и нет? — ответил он.

— Нет, правда?

— Конечно!

Я поспешил к автомобилю, чтобы достать бутылку коньяку, ибо такое дело стоило вспрыснуть. Ведь я буду

единственным журналистом, участвовавшим в бомбардировке! Со мною, правда, был Генри Тэйлор, корреспондент агентства Ассошиэйтед Пресс, но, к счастью, он считал, что участие американца в бомбардировочном полете может вызвать осложнения. Я одобрил его щепетильность. Но бедный Генри весь вечер выглядел очень несчастным; сердце его разрывалось. Мысль об интервью со мной после бомбардировки мало улыбалась ему. Он впал в такое уныние, что мы решили найти какой-либо выход. Я посоветовал ему лететь, но написать, что он якобы летал на разведывательном самолете и наблюдал бомбардировку со стороны. Генри этот план понравился, и он повеселел. Но возникла новая трудность: полковник не хотел брать его с собой, полагая, что могут быть неприятности. Мы перешли в столовую. Обед был прекрасный. Полковник недавно прибыл из Арденн, где его эскадрилья беспрерывно бомбила скопления германских войск во время боев на Маасе. Его отец, старик 76 лет, в третий раз видел вторжение германских войск. Он был в Арденнах в 1870, 1914 и 1940 годах. Франсуа мстил за это с воздуха и сводил с немцами вековые счеты. Он очень гордился, что первый из французских летчиков бомбил германские города в ответ на бомбардировку Нанси и других французских городов немцами. «Не понимаю, почему нам не разрешали делать этого раньше, — сказал он. — Мне было приказано бомбардировать аэродром, расположенный возле города, и возвратиться, но я не подумал возвращаться, пока не сбросил бомбы также и на город». Немцы хорошо знали Франсуа, и несколько раз германское радио распространяло в эфире весьма нелестные отзывы по его адресу.

Очень жаль, что случаи именно такого неповиновения приказам не были более часты.

Франсуа хорошо знал Бельгию, и, по его словам, на бельгийцев совершенно нельзя полагаться. Перед войной он работал в штабе французских военно-воздушных сил и ездил по поручению начальства в Бельгию. Из поездки ничего не вышло, так как бельгийский штаб отказался поделиться своими планами с французскими офицерами и не пожелал сообщить даже расположение своих аэродромов. Мы разговаривали о Бельгии, сидя за обедом, и не знали, что как раз в этот момент король Леопольд решил сложить оружие.

Франсуа высказал также немало горьких истин по поводу французских политиков, которые упустили столько времени и не догадались снабдить армию достаточным числом самолетов.

С нами обедал Гастон Павлевский, очень способный человек. Он был правителем канцелярии у Рейно, когда тот был министром финансов, но поссорился с премьером Даладье и вынужден был уйти в отставку. Павлевский предполагал прослужить несколько месяцев в воздушном флоте, а затем вернуться в Париж с военными отличиями, которыми не смогут похвастаться другие министерские служащие. Он рассчитывал, что Рейно (ставший теперь премьером) даст ему тогда высокий пост. Павлевский уже осуществил первую часть своего плана: он получил «Боевой крест» за заслуги в качестве летчика-наблюдателя. Я уверен, что он осуществил бы и вторую часть своих замыслов, если бы события не развивались слишком быстро.

В 9 часов офицеры, которые должны были участвовать в первой бомбардировке, встали из-за стола. Остальные продолжали сидеть. Мы выпили еще вина и коньяку. Это настроило меня несколько более оптимистично, чем следовало бы. Я помнил, что мне рассказывали здесь при моем первом посещении. За две недели с начала германского вторжения французская авиация потеряла двадцать пять процентов личного состава. Я слушал рассказы молодых летчиков, которым приходилось спасать свою жизнь. Один пилот чуть не погиб, так как другой летчик, прыгнувший непосредственно перед ним, дернул кольцо своего парашюта слишком рано и парашют раскрылся еще в самолете. Пилот успел отцепить парашют товарища и выпрыгнул сам, когда до земли оставалось не больше тысячи футов. Я думал также об огромных пробоинах, которые я видел в самолетах. Люди, которых летчики называли «корпусом скорой помощи», тут же на аэродроме заделывали эти дыры. «О да, — сказал один авиатор, когда я рассматривал пробоину величиной в человеческое тело, — у Фрица хорошие зенитки. Нам приходится довольно жарко».

«Между прочим, — сказал полковник, — вы лучше оставьте здесь свои заметки на случай, если попадете в плен». Он задумчиво посмотрел на меня и добавил: «Вы носите форму. Смотрите же, держитесь твердо, если окажетесь в их руках». Мы выпили еще коньяку. Генри

Тэйлор, сидевший против полковника, пустил в ход все свои познания во французском языке, чтобы опровергнуть аргументы Франсуа против его участия в полете. К моменту, когда было подано кофе, Генри достиг своей цели. Мы пошли обратно в штаб, я надел запасный летный комбинезон полковника, и в полночь, когда возвращалась первая группа самолетов, мы уже ждали своей очереди на посадочной площадке. Возвратившиеся летчики доложили, что они успешно бомбардировали свои объекты, несмотря на плохую видимость.

Мне предстояло лететь с полковником Франсуа. Я присел рядом с ним под крылом самолета и наблюдал, как подвешиваются бомбы. Два человека подтаскивали через поле к самолету стофунтовые бомбы, а четверо других, стоя в яме под самолетом, подвешивали их. Все время вспыхивали сигнальные огни, показывавшие путь возвращавшимся самолетам, и было слышно, как грузовики переезжали с одного конца аэродрома на другой, подавая горючее для заправки вернувшихся машин.

К 12 часам 20 минутам все было готово, и мой парашют был пристегнут. Мне сказали, что если придется прыгать, то я должен считать до десяти, а затем дернуть за кольцо с левой стороны у пояса. Генри также был готов к полету. Его самолет должен был бомбардировать аэродром в Камбрэ. Группа же полковника Франсуа должна была бомбардировать железнодорожный узел возле Бапома, где были сконцентрированы германские войска. Мы влезли в старый «Амио». Ему было семь лет, и его максимальная скорость равнялась 125 милям в час. Мне объяснили, что днем этими машинами, при их скорости, нельзя пользоваться, но зато их выпускают в ночную смену. Я лишний раз отдал должное французской расчетливости, но с невольной завистью посмотрел на новые быстроходные «Амио», которые в эту ночь отправлялись в глубокую разведку над Германией. Для такого пассивного участника, как я, место нашлось лишь в одной из старых машин...

Я устроился на месте второго пилота, вслед за мной влезло три человека команды. Против меня сидел штурман-бомбардир. Полковник взобрался на место пилота как раз надо мной, а радист (он же пулеметчик) занял свое место в хвосте самолета. Штурман предложил мне прикрепить шнур парашюта к специальному

крючку над головой, чтобы в случае, если нам придется прыгать, парашют открылся автоматически. Я согласился, но в это время полковник окликнул штурмана, а через несколько мгновений раздалась команда и заревели моторы. Все было затемнено, мелькал только сигнальный огонек, да иногда вспыхивал фонарик штурмана, когда он приводил в порядок свои карты. Машина медленно покатила по полю, стала в строй, а затем стремительно помчалась по взлетной дорожке. Мы немедленно набрали высоту в 5 тысяч футов и плавно ушли в ночную тьму. В машине было так же безопасно, как в лондонском автобусе, но менее удобно. Я должен был сидеть выпрямившись, так как объемистый парашют торчал у меня за спиной. В стенках фюзеляжа были окошечки, и вскоре я мог различить внизу серебряные изгибы Марны. Дороги были видны, лишь когда по ним проходили машины, но при свете автомобильных фар они вырисовывались удивительно четко. Примерно после часа полета я увидел справа объятый пламенем Сен-Кантен, а немного севернее пылающий Камбрэ, где я теоретически все еще имел бронированную комнату в гостинице и в этой комнате висела в шкафу моя одежда. Слева также был виден большой пожар. Мне сказали, что это горит Амьен. Я подумал, останется ли что-нибудь от замечательного Амьенского собора, который только чудом уцелел в прошлую войну. Позднее я узнал от пилота, летавшего над Амьеном, что пожары были в пригородах и собор цел и невредим.

На горизонте вспыхивали молнии артиллерийского огня. Не начиналась ли решительная французская контратака, которая, как мне было известно, предполагалась в эту ночь?

Штурман обернулся и крикнул мне, что мы летим над германскими линиями. Я смотрел во все стороны, стараясь увидеть хоть какой-нибудь признак зенитного огня, но повсюду было темно. Мелькала только одна линия огоньков, принадлежавших, повидимому, какому-то транспорту; но и эти огоньки погасли, когда мы загудели вверх. Радиист доложил, что сзади появился германский истребитель, и открыл пулеметный огонь. Мы, однако, ушли от преследования. Как это нам удалось при нашей тихиходности, я до сих пор не могу понять. Может быть, германский самолет был лишь плодом воображения радииста? Как бы там ни было, я держался за кольцо парашюта и с трево-

гой думал: «А что, если я потеряю сознание и не дерну в нужный момент за кольцо?» Но вот штурман снова обернулся и крикнул:

«Готовлюсь бомбить!»

Он был возбужден, луч его фонарика быстро скользил по карте, и он все время переговаривался с пилотом через специальную резиновую трубку. Он собирался сбросить бомбы в расстоянии пятидесяти ярдов одна от другой. Все было готово. Штурман обернулся ко мне и указал вниз какой-то штукой, похожей на револьвер: это был конец разговорной трубки. Наступил торжественный момент. Бомбы были сброшены. Я изо всех сил вглядывался вниз, но абсолютно ничего не видел. Может быть, мы сбросили неразорвавшиеся бомбы на Брайтон, вместо того чтобы сбросить стофунтовки на скопления германских войск в Бапеме. Может быть, мы убили сорок или пятьдесят мирно спящих людей. С высоты в 5 тысяч футов все казалось удивительно безразличным. Штурман крикнул: «Попал прямо в перекресток. Видали разрывы?» Я утвердительно кивнул головой. Нельзя же было огорчать его после всех оказанных мне любезностей. На обратном пути он указал на Камбрэ, где, по его словам, над аэродромом видны были клубы дыма — результат бомб, сброшенных другой группой самолетов. Я опять кивнул головой. Всего лишь неделю назад я видел, как немцы бомбардировали этот же аэродром в Камбрэ, а французские истребители летели им навстречу.

Я понял, что нужна большая тренировка, чтобы быть хорошим летчиком-наблюдателем при ночных полетах. Немцы усложняли к тому же нашу задачу: чтобы сбить летчика с курса, они устанавливали огни в открытом поле, и сверху казалось, что вы летите над небольшим городком. Но летный состав эскадрильи хорошо знал свою территорию и ни разу не попался на удочку. А если возникали сомнения, летчики сбрасывали осветительные ракеты, изобличавшие эти искусственные городки. На обратном пути мы тоже сбросили ракету, которая осветила всю местность внизу. Дело в том, что в задачу нашего полета входило также и наблюдение за передвижениями противника, так как немцы обычно перебрасывали свои войска под покровом ночи. Однако все было спокойно, и даже наблюдатель не заметил внизу никакого движения.

Когда мы были уже близко от нашего аэродрома, пол-



ковник сказал, что сегодня впервые за все время немцы не открыли зенитного огня по эскадрилье. Он предполагал, что немцы узнали о готовящемся контрнаступлении и не хотят обнаруживать местонахождение своих батарей. Когда мы приземлились на аэродроме, я даже пожалел, что полет прошел так гладко.

Полет занял немного больше двух часов. Мы вернулись в половине третьего. Мне страшно хотелось узнать о приключениях Генри Тэйлора над Камбрэ. Он ожидал меня. Но, взглянув на него, я сразу понял, что случилось что-то неладное. Бедный Генри!

Его самолет оказался в неисправности и даже не поднимался с площадки.

Мы легли немного вздремнуть. Встать надо было рано, так как эскадрилья перебиралась на другую базу, miles в пятидесяти от теперешней. Утром, после завтрака, мы пошли на площадку побеседовать с летчиками из отряда пикирующих бомбардировщиков. В начале кампании немцы широко применяли метод бомбардировки с пикирующего полета, но теперь французы пользовались этим методом больше, чем немцы. Летчики говорили, что крупные бомбы замедленного действия, сброшенные с высоты около 100 футов, причиняют огромные разрушения. Падая на твердый грунт, они, прежде чем взорваться, делают три-четыре гигантских прыжка, покрывая расстояние почти в четверть мили. Если такие бомбы «тоняты» за передвигающимися по дороге войсками, впечатление получается потрясающее.

Я предложил Генри отвезти его в Нанжи; может быть, там ему улыбнется счастье и он будет летать сегодня же ночью. Как назло полил сильный дождь, но мы все же решили ехать и добрались до Нанжи к восьми часам вечера. Мы отправились в ресторан пообедать. Оказалось, что в соседнем доме помещается офицерская столовая, где как раз сейчас обедают летчики нашей эскадрильи. Чтобы напомнить о себе, мы послали туда бутылку коньяку, а затем Генри позвонил по телефону полковнику. Франсуа ответил, что постарается взять его в полет. Но вот пробило уже 10 часов, а о полковнике не было ни слуху, ни духу, и Генри потерял всякую надежду. Мы заказали две бутылки доброго бургундского вина, чтобы развеять его печаль. Когда мы приканчивали вторую бытылку, вошел полковник. Он весело спросил: «Ну как, летим?»

На этот раз я сидел у турели и должен был исполнять обязанности пулеметчика. Мне подробно объяснили, что надо делать. Не знаю, насколько успешно справился бы я со своей задачей, если бы мы встретились с неприятельскими истребителями. Но тогда я чувствовал, что никакие «Мессершмитты» мне не страшны. Мало того, в открытой кабине было даже спокойнее, так как в случае катастрофы оттуда удобнее было прыгать с парашютом. В прошлую ночь я все время сидел и думал: кому подобает прыгать первым и полагаются ли на самолете обычные поклоны и расшаркивания, которые надолго задерживают французов у всякой двери?

На этот раз мы не сбросили ни одной бомбы. Счастье мое, что я помог Генри принять участие в полете, так как иначе мне бы никогда не удалось протащить свою корреспонденцию через цензуру. Когда мы вернулись в Париж и сдали свои телеграммы в цензуру, там подняли страшный шум. Военно-авиационные цензоры в отеле «Континенталь» заявили, что полковник Франсуа прекрасно знает приказ, запрещающий журналистам летать на военных самолетах, и он так легко не отделается от предстоящих ему неприятностей. Дело было доложено главнокомандующему французскими военно-воздушными силами генералу Вийемену. Мы с Генри обратились в наши посольства, чтобы спасти Франсуа от неприятностей и как-нибудь протолкнуть свои телеграммы. В английском посольстве заявили, что такие корреспонденции — прекрасное, живое средство пропаганды и в случае надобности посольство обратится к самому Рейно. Лучшего я не мог и желать. Но, как всегда бывает, возникли некоторые сомнения, кто-то посоветовал быть поосторожнее, и на следующий день мне уже сказали, что лучше не вмешиваться во французские военные порядки, и вопрос был исчерпан. К счастью, американский посол Буллит более энергично взялся за дело, и корреспонденции были пропущены.

Я посетил семь или восемь авиабаз и вынес впечатление, что у французских летчиков нет недостатка ни в надлежащей подготовке, ни в личной отваге, хотя они и не отличаются таким удалством, как английские. Но надо иметь в виду, что их машины, как правило, обладали гораздо меньшей скоростью, чем германские. А к тому же машин у французов было гораздо меньше, чем у немцев. Французские военные власти не скупились на похвалы ан-

глийской авиации и в официальных коммюнике, и в печати. Но я считаю, что мало было сказано о мужестве и искусстве французских летчиков, летавших на худших машинах и встречавшихся с превосходными силами противника. Я просматривал ежедневные записи в журналах разных эскадрилий. Были случаи, когда три французских самолета вступали в бой с восемью германскими; пять вступали в бой с двенадцатью и т. д. Но я не помню случая, чтобы противник вступил в бой с французскими самолетами, не имея на своей стороне численного превосходства. Французские летчики несомненно сумели внушить почтение немцам, так как всякий раз, когда немцы встречали шесть французских самолетов в строю, они избегали боя, даже если их было втрое больше. Французские разведывательные самолеты почти каждый день летали над территорией противника и производили фотографические съемки. Эта служба была хорошо организована. Подвижные фотолаборатории проявляли и отпечатывали сотни снимков ежедневно. Снимки, сделанные с воздуха по вертикали, сложенные вместе, охватывали площадь во много квадратных миль и представляли большой интерес, хотя для расшифровки их нужен был очень опытный глаз. На картах, составленных из фотографий, видны были пятна разной формы, светлые и темные. Мне эти пятна говорили очень мало, но «фотодетективы» видели в них артиллерийские позиции, укрепления, нефтяные резервуары, казармы и даже обучающиеся войска. Это был драгоценнейший источник информации для бомбардировочных эскадрилий и генерального штаба. При стереоскопической съемке, то есть когда съемка одной и той же местности производится под разными углами, достигаются еще большие результаты. Когда смотришь на снимок через стереоскопические линзы, дома и укрепления, которые раньше казались просто плоскими тенями, выделяются явственно и резко.

Не все эскадрильи отличались одинаковой доблестью, и разница зависела, главным образом, от командира. Во главе лучших эскадрилий стояли офицеры, сами принимавшие активное участие в полетах. Но, скажем правду, попадались и такие эскадрильи, где настроение было не очень боевым. Я посетил как-то вместе с Эдди Уордом, корреспондентом Британской радиовещательной компании, воздушную базу близ Эвре. Это было в начале июня, когда немцы прорвались на Сомме и Эн и устремились к Сене.

Было чрезвычайно важно, чтобы французская бомбардировочная авиация проявила максимальную энергию, бомбардируя скопления войск и коммуникации противника. Мы были в кабинете полковника, когда ему позвонил генерал, командовавший авиационной частью, и сообщил, что получен приказ немедленно направить отряды бомбардировщиков последовательными волнами против наступающего неприятеля. Он говорил так громко, что мы слышали все его распоряжения. Необходимо, говорил он, немедленно бомбардировать такие-то объекты. Полковник в ответ категорически заявил, что раньше, чем через два часа, он ничего не может сделать. Генералу пришлось помириться с этим, хотя он отнюдь не был в восторге. Эскадрилья вылетела в назначенное полковником время. Мне надо было ехать в Париж, а Уорд остался поджидать возвращения эскадрильи. Он подробно расспросил первую группу возвратившихся летчиков. Оказалось, что видимость была очень плохая, они не могли найти свои объекты и вернулись, не сбросив ни одной бомбы. Вторая группа встретила «Мессершмитты» и решила повернуть обратно, не сбрасывая бомб. И так было со всеми отрядами. Я уверен, что если бы этой эскадрилей командовал Франсуа, все бомбы были бы сброшены на германские войска, а сам он в такой критический момент не сидел бы в кабинете, а вел бы свою эскадрилью.

## Глава IX БИТВА ЗА ФРАНЦИЮ

На смену маю пришел июнь. Стояла прекрасная летняя погода, так благоприятствовавшая действиям механизированных колонн и самолетов противника. Французы с затаенным дыханием ожидали результатов сражения под Дюнкерком. Они знали: как только немцы достигнут побережья, начнется наступление на Париж. Гитлер заранее возвестил о своих намерениях жестокой воздушной бомбардировкой Парижа. 3 июня Париж впервые подвергся воздушному нападению. Свыше 250 человек было убито. Бомбардировка началась в 1 час 30 минут дня. Я вместе с Джеромом Уиллисом, корреспондентом газеты «Ивнинг стандарт», возвращался в Париж после поездки на линию Мажино и не мог попасть во французскую столицу до половины четвертого. Германские самолеты обогнали нас, когда мы

были в пути, и бомбардировка началась раньше, чем мы доехали до Парижа. В городе нам не сразу удалось узнать, какие объекты подверглись бомбардировке. На площади Сен-Мишель, где мы остановились чего-нибудь выпить, никто ничего толком не знал. Наконец нашелся человек, который от кого-то слышал, что немцы бомбардировали заводы Рено и Ситроена. Мы поспешили туда и узнали, что заводы Рено остались невредимы, но заводы Ситроена тяжело пострадали. Все окрестные дороги были запружены любопытными, и меня очень удивило, что им позволяют шататься здесь и мешать работе пожарников. Я сам совершенно свободно ходил по заводским зданиям, делал снимки и задавал всевозможные вопросы. И только один-единственный раз у меня спросили документы. Одним из первых приехал сотрудник итальянского посольства, который тщательно ознакомился с характером разрушений и затем, вероятно, телеграфировал об этом своему правительству. В налете участвовало около ста германских самолетов; они сбрасывали бомбы в 200 фунтов и больше на длинный ряд корпусов, который тянется примерно на четверть мили. От одного здания осталась только стена. С огромнейшего гаража была сорвана крыша, сам гараж горел, стекла были выбиты, однако кровельные балки уцелели. Конторские здания были тяжело повреждены прямыми попаданиями. В мастерских и гаражах находились машины, и только через 20 минут после начала пожара их стали убирать оттуда. Английский летчик, приехавший на место вскоре после окончания бомбардировки, вывел несколько машин в безопасное место. Прошло полчаса, пока прибыли пожарные машины. К счастью, у рабочих был обеденный перерыв, иначе число убитых было бы очень велико. Рабочие поспешили в убежища и не выходили, пока не был дан отбой воздушной тревоги. На улице Пастера и на набережной Луи Блерио картина разрушения была такая же, какую я наблюдал в Нанси, Вузье, Витриле-Франсуа и многих других городах. На улице Пастера бомба попала в угловой дом, пробила все шесть этажей и взорвалась в подвале, разрушив все перекрытия, за исключением перекрытия шестого этажа, где она проделала только дыру. Как раз в это время по лестнице спускалась с шестого этажа супружеская чета, спешившая в убежище. Лестница на пятом этаже рухнула. Супруги остались между небом и землей на уцелевших верхних ступеньках

и дрожали там, пока их не вызволила пожарная команда. Кто своевременно укрылся в убежище или в погребе, отделался только испугом, но сирены прогудели всего лишь за несколько минут до появления самолетов, так что многие были застигнуты на улице или у себя в квартире.

Рейно вечером заявил по радио, что заводы Ситроена продолжают работать нормально. Ночью я поехал туда, но, насколько я мог убедиться, там все еще работали только пожарные. Да и нелепо было бы продолжать работу на заводе, пока не были найдены и обезврежены невзорвавшиеся бомбы, которые зарылись в землю.

На следующий день я вместе с другими военными корреспондентами выехал на фронт на линию Эн. В прифронтовом районе через каждые 500 ярдов мы натыкались на баррикады, сооруженные из больших камней, старых автомобилей Форда, плугов и всего, что оказалось под рукой. Многие баррикады охранялись туземными войсками из экваториальной Африки, которые весьма ожесточенно дрались с немцами в прошлую войну. В войне 1940 года у них было мало шансов вступить в соприкосновение с противником. А кроме того, теперь их пугал шум самолетов и грозный вид танков. 5 июня мы прибыли на фронт, недалеко от Суассона. Мы собирались попасть на наблюдательный пост, откуда были видны германские линии. Но по дороге нас остановили на ферме, которая всего за несколько часов до этого подверглась бомбардировке. Сено в стогах все еще продолжало гореть. Казалось бы, ущерб невелик, но мне объяснили, что немцы нарочно стараются бомбить стога сена, так как они горят по несколько дней и служат хорошим ночным ориентиром для германской авиации. Телефонные линии были сняты, так как утром немцы начали второе крупное наступление и связь, как обычно, была прервана. «Пресс-лейтенант» пробовал пройти с нами дальше, но уже завязался бой, и штаб не хотел, чтобы ему надоедала целая группа журналистов.

Этот бой был началом битвы за Францию. Линия Вейгана, построенная по принципу эшелонированной в глубину обороны, представляла собой максимум того, что можно было сделать за такой короткий срок. Никто не думал, что немцы смогут так быстро начать второе крупное наступление, особенно если учесть расстояние, которое им надо было пройти, а также их движение на север к портам Ламанша...

После предварительной артиллерийской подготовки 5 июня, в 4 часа дня, немцы начали наступление, в котором участвовало полмиллиона пехоты и около тысячи самолетов. На фронте протяжением в 120 миль было нанесено три главных удара: в районе Амьена, Перонны и канала Эллет.

Военных корреспондентов согнали в Париж, им не позволили присутствовать при величайшей битве, какую знает история. Мы должны были довольствоваться утренними и вечерними беседами с представителем военного министерства — полковником Тома. Беседы происходили, однако, не в военном министерстве, а на Кэ д'Орсэ, в зале, где был подписан пакт Бриана-Келлога, который осуждал «применение войны как орудия национальной политики». 5 июня большой зал был переполнен журналистами. Все сидели и внимательно слушали полковника Тома, который заявил, что сегодня началось крупнейшее сражение, исход которого трудно предсказать. Каждый день, утром и вечером, мы ходили слушать полковника Тома, в котором олицетворялась наша единственная связь с фронтом, и с каждым днем фронт все больше приближался к воротам Парижа. В течение первых 8 месяцев войны над Тома насмехались, когда он пытался чем-нибудь оживить однообразные коммюнике: «На фронте ничего существенного». Но сейчас мы цеплялись за Тома. Мы прислушивались к каждой его интонации, мы следили за каждым его жестом, надеясь прочесть в них что-нибудь. Каждое его слово тщательно записывалось, и когда беседа кончалась, журналисты разбегались по редакциям и телеграфным конторам, и слова Тома с молниеносной быстротой разносились по всему миру. Его значение возрастало с каждым днем, по мере того как битва за Францию становилась все более ожесточенной. С неизменным спокойствием он сообщал нам, сколько людей немцы бросили в бой. В первый день он совершенно не упоминал о танках, на второй день он сказал, что немцы пустили в ход около 2 тысяч танков, а на третий — мы так и ахнули, когда узнали, что в бою участвуют 4 тысячи германских танков. А 10 германских дивизий (цифра, которую Тома назвал в первый день) превратилась в 100 дивизий — 2 миллиона человек!

Рядовой француз был ошеломлен. Он недоуменно спрашивал: «Что? 4 тысячи танков и около 100 дивизий? Этого не может быть. Еще вчера нам говорили, что у немцев всего лишь 2 тысячи танков.

А надломленную Францию ждал новый удар. Италия объявила войну.

К этому времени германские войска уже перешли Сену в ряде пунктов к югу от Руана. 9 июня вечером все министерства покинули столицу. Рейно отправился в штаб Вейгана. Журналисты во что бы то ни стало должны были узнать, что происходит. Это была их прямая обязанность. 10 июня утром мы, как обычно, ожидали полковника Тома в зале, где был подписан пакт Бриана-Келлога. В течение девяти с половиной месяцев Тома всегда был очень пунктуален, но в это утро мы напрасно его ожидали. Он уже выехал из Парижа. Все сотрудники министерства информации, как и других министерств, поспешили убраться из Парижа, хотя вплоть до последнего момента они заявляли, что останутся в столице, что бы ни случилось. Полковник Тома — наша единственная связь с фронтом — уехал. Человек, от которого мы зависели, исчез. Нам оставалось или последовать за правительством в Тур, или сидеть в Париже, пока не придут немцы. Но мы не знали, где они и как быстро они продвигаются. Мы знали только, что французская линия обороны прорвана, и если немцы будут продвигаться своим обычным темпом, то они, пожалуй, могут оказаться в Париже в этот же самый день.

Франция была потрясена быстротой неприятельского натиска. Солдаты и гражданское население не знали, куда деваться. Оставалась единственная карта, на которую можно было поставить и которая могла спасти страну: оборона Парижа.

## Глава X

### ПАРИЖ МОЖНО БЫЛО ОТСТОЯТЬ

За несколько дней до вступления немцев в столицу Франции было объявлено, что Париж находится в состоянии обороны. Что под этим подразумевалось — трудно сказать. Если бы французское правительство действительно собиралось защищать Париж, оно должно было бы обратиться к населению с призывом принять участие в обороне столицы и вместе с солдатами воздвигать на улицах баррикады. Надо было организовать добровольческий корпус, подготовить оборонительные позиции и создать запасы продовольствия и боеприпасов, чтобы иметь возможность выдержать осаду. Обращение к населению и умелое ис-



пользование радиовещания изменили бы лицо столицы. Люди не бродили бы по улицам, как испуганные овцы, не были бы поглощены всецело одною мыслью — как бы бежать; они были бы заняты обороной Парижа. Основным опорным пунктом могли бы быть, как и в прошлом, крутые холмы Монмартра. На вершинах этих холмов нужно было установить зенитные орудия, которые заставили бы самолеты противника держаться на большой высоте. Дороги, ведущие к холмам, можно было забаррикадировать. Аванпосты можно было расположить у Триумфальной арки, в Венсенском замке, в районе обсерватории, на Монпарнассе и на других выгодных пунктах. В Париже была хорошо вооруженная полиция, были тысячи рабочих Рено и Ситроена, грузчики Центрального рынка, а также много англичан, американцев, чехов, поляков и других иностранцев, которые с воодушевлением приняли бы участие в обороне. Отдельные войсковые части рассеянных армий, сражавшиеся на Сене и Эн и не намеренные сложить оружие, стянулись бы к Парижу как к центру сопротивления. Многие артиллерийские части могли бы притти в Париж со своими орудиями. На примере Мадрида нетрудно убедиться, как много может сделать решительная оборона. Испанские республиканцы в течение многих месяцев отбивали атаки итальянских самолетов и германских танков. В Варшаве атака германской механизированной дивизии была отражена польскими снайперами. В уличных боях танки имеют свои слабые стороны. Баррикады задерживают их, а тем временем их можно выводить из строя гранатами и поливать горящим бензином из окон домов. В несколько минут команда облитого танка задыхается от жары, а танк остается и только дополняет баррикаду.

В Париже были люди, сражавшиеся в Испании в рядах Интернациональной бригады, которые не отказались бы защищать свою столицу. Им надо было сказать: «Организуйте уличные бои, как вы это делали в Испании», хотя для этого пришлось бы, конечно, выпустить их из тюрьмы. Чтобы восстановить боевой дух страны, Франции нужны были только руководители и стержень, вокруг которого можно было сплотиться. Как только разнеслась бы весть об обороне Парижа, каждый еще не занятый немцами город начал бы готовиться к отпору. Лион, Дижон, Труа, Ман, Орлеан и сотни других городов могли бы оказать решительное сопротивление. Каждый город, каждая дерев-

ня могли бы стать сборными пунктами для пехотных и артиллерийских частей, оставших от своих соединений. Французы — блестящие импровизаторы. В городах они могли бы показать себя, тогда как в открытой местности у них просто не было времени для создания оборонительных линий. Французские города были бы опорными пунктами на линии, эшелонированной в глубину, а жилищные массивы на каждом перекрестке — опорными пунктами внутри городов. Французские войска, в частности те несколько дивизий, которые еще не участвовали в боях, успели бы, пожалуй, соорудить оборонительную линию вдоль Луары, а если б это не удалось, они могли бы отстоять центральную возвышенность в районе Клермон-Феррана.

У Франции было достаточно вооружения и боеприпасов для защиты опорных пунктов. Зенитная артиллерия могла охранять заводы Рено, и они продолжали бы выпуск военного снаряжения. Американские самолеты уже поступали во Францию в большом количестве, и Америка ускорила бы отправку новых. Она посылала бы также другие предметы вооружения и боеприпасы, если бы только знала, что Франция воспрянула духом, что она вновь обрела инстинкт самосохранения и полна решимости бороться до конца.

Франция знает, что такое всенародное ополчение; это — одна из ее революционных традиций. Но к народу не обращались. Солдатам приказывали, а гражданскому населению даже ничего и не приказывали, кроме того, чтобы оно в определенные дни недели не ело мяса и не пило спиртных напитков. И только. На людей не смотрели как на разумные существа. К несчастью, у Франции были руководители, которые боялись народного движения больше, чем победы Гитлера. Такие люди, как Вейган, Петэн и многие другие министры, были одержимы страхом перед коммунистическим восстанием. Правительство не хотело, чтобы рабочие завода Рено и вообще граждане Парижа сражались с противником. Оно даже отдало полиции распоряжение расстреливать их, если они сделают хоть малейшую попытку организовать оборону столицы.

Большое давление на правительство оказывали крупные собственники, которые дрожали при одной мысли о том, что Париж подвергнется бомбардировке и их прекрасные дома, фабрики и заводы могут быть разрушены. Нельзя, конечно, говорить, будто Франция навеки потеряла всякую жизнеспособность, а французы — упадочная,

«конченная» нация, как уверяли немцы и итальянцы. Рядовые французы — и в рядах армии, и в рядах народа — не разложились изнутри, но политическая система была гнилая, и она за редким исключением давала стране правителей, не способных вести за собой великую нацию. При хорошем руководстве Франция проявила бы такую же жизнеспособность, как и в прошлые времена, когда ей грозила беда. Французский индивидуализм, который дает себя знать на каждом шагу, сыграл с нацией плохую шутку; она слишком долго терпела никуда негодную политическую систему, а когда враг уже стоял у ворот, у народа была отрезана возможность восстать против своих руководителей. Пять миллионов французов были мобилизованы и превратились в пленников французского генерального штаба, а население держала в полном неведении жестокая цензура.

Впрочем, вопрос о степени загнивания Франции чисто академический. Пока на этот счет сколько голов, столько и мнений, ибо положение очень запутанное и мы еще не знаем всех фактов. Только будущее расскажет нам правду. Но уже сейчас, по-моему, можно сказать, что девять десятых ответственности падает на тех, кто в решающий час правил Францией. Народ не понял своевременно, что эти люди неспособны привести его к победе. Правительство все время твердило, что оно будет бороться до конца. «Париж находится в состоянии обороны», — возвестило оно, а несколько дней спустя объявило его открытым городом. «Если понадобится, мы будем продолжать борьбу из Северной Африки», — торжественно заявили руководители Франции и вскоре же запросили Германию об условиях перемирия. «Мы не согласимся на позорные условия перемирия», — утверждали они, а сами дали Гитлеру карт-бланш. Они не только были неспособны вести народ, они обманывали его. Именно те, кто хотел организовать римский процесс, должны сами сидеть на скамье подсудимых.

## Глава XI

### ЦЕНЗУРА

Тупое упрямство французской цензуры означало, что власти не верят в здравый смысл и хладнокровную выдержку французского народа. Это неверие в немалой доле ответственно за последующий хаос.

Даже виднейшим журналистам не разрешали высказывать общие соображения о характере и ходе войны; лишь иногда какая-нибудь статья случайно проскакивала через цензуру. Недовольство цензурой было всеобщим и нашло отражение даже в парламентских дебатах; Леон Блюм в блестящей речи бичевал чиновников отеля «Континенталь», где устроилось министерство информации.

Отель «Континенталь» охранялся не менее строго, чем военные учреждения в Лондоне. Всякий раз, когда вам надо было посетить министерство информации, приходилось снова заполнять анкету. Функции этого министерства заключались в удушении всякой информации. Там тоже преобладала «оборонительная» точка зрения. Лучше вычеркнуть все, чем пропустить что-нибудь сомнительное, а цензоры и днем и ночью находились в состоянии перманентного сомнения. Никто не хотел брать на себя ответственность. Журналистам не позволяли рассуждать, чтобы какое-нибудь критическое замечание не навлекло на отель «Континенталь» гнев верховного командования. Мы натянулись на своего рода линию Мажино, которая выражалась в лозунге «тс-тс!» и убивала всякий живой дух. Генеральный штаб недостаточно верил себе; именно поэтому он не решался атаковать линию Зигфрида, пока Германия была занята в Польше, и именно поэтому он не решался позволить печати думать и говорить. А между тем, во время перерыва парламентской сессии и для правительства, и для общественного мнения было особенно важно иметь такой источник информации, как печать.

Пропаганда теряет свое значение, если читатель не получает ничего, кроме официальных коммюнике и тщательно процenzурованных статей, представляющих собой вариации на заданную тему. Общественное мнение не может довольствоваться скудной официальной информацией, одобренной восторженными восхвалениями французской армии. Впрочем, оптимистические сообщения почти всегда пропускались цензурой, и поэтому большинство французских журналистов усвоило раз навсегда оптимистический тон. Их примеру последовали и некоторые английские журналисты. Парижский корреспондент одной из лондонских газет систематически снабжал ее победными реляциями, а газета помещала их на видном месте. Французская общественность жила в блаженном неведении, люди ни в чем не меняли своих довоенных привычек и

не подозревали, что на них может обрушиться катастрофа.

Отношение к военным корреспондентам — яркий пример упущенных возможностей пропаганды. Генеральный штаб не взлюбил журналистов с самого начала. Когда вспыхнула война, генерал Гамелен заявил, что он не хочет ни журналистов на фронте, ни «военных» радиопередач. Генеральный штаб считал, что война касается только его, а себя он считал избранной кастой, которая одна должна вершить судьбы страны. Эти люди не понимали, что теперешняя война — война нового типа, в которой гражданскому населению предстоит играть почти такую же важную роль, как и армии. Они не догадывались, что если Гитлер мало знаком с военной стратегией, а большинство его генералов не участвовало в прошлой войне, то в этом не слабость, а сила Германии. Германский генеральный штаб стряхнул с себя узы традиционной военной теории, которая сковывала и ослепляла французов, и нашел весьма действенные методы, чтобы сломить дух гражданского населения, методы, которым придавалось не меньшее значение, чем военным операциям. Немцы пользовались всяческими средствами пропаганды, а французы не хотели пустить в ход даже передовые пропагандные части — своих военных корреспондентов.

В то же время было одно средство пропаганды, которое власти оставили без надлежащего присмотра. Когда немцы были всего в 30 милях от Парижа, я вместе с Эдди Уордом отправился на радиостанцию, чтобы рассказать по радио о ночном бомбардировочном полете, в котором я принимал участие; это делалось по заказу Британской радиовещательной компании. Прислонившись к большому концертному роялю в изысканной позе конца XIX века, диктор возвестил: «У микрофона Гордон Уотерфилд», а затем я был всецело предоставлен самому себе. Как мне сказали, потом никто на станции не слушал меня, чтобы выключить микрофон, если я начну говорить что-нибудь преступное. Агент «пятой колонны» легко мог бы воспользоваться случаем и объявить, что немцы уже окружили Париж и с минуты на минуту ожидается занятие города.

Париж и Франция нуждались в живых рассказах, которые пробуждали бы в населении патриотические чувства. Печать могла бы давать своим читателям такой материал. Вместо того Францию кормили бесцветными официальными

ми коммюнике, а под конец она питалась паническими рассказами беженцев. Париж почти до самого конца жил своей обыкновенной жизнью, как будто ничего особенного не происходило. Всякий раз, как я приезжал в Париж, меня неизменно поражало открывавшееся моим глазам зрелище: переполненные кафе, нарядные дамы, элегантные молодые люди, фланирующие вечером по бульварам. Париж производил впечатление беззаботности; в этом отношении он был не похож на Лондон. Солдаты, которым доводилось взглянуть на веселящийся Париж, возвращались на фронт с тяжелым осадком в душе. Они отказывались понимать, во имя чего они должны жертвовать жизнью, когда тыл продолжает жить в свое удовольствие.

Прошло немного времени, и по бульварам уже шагали германские солдаты, а нарядные дамы лили слезы за плотно закрытыми ставнями или пробирались из одной деревни в другую, спасаясь от неприятельского нашествия на юг.

## Глава XII ИСХОД ИЗ ПАРИЖА

Да, жизнь в Париже протекала нормально, и это было особенно трагично в последние дни перед вступлением немцев. Я видел, как деревни и города в несколько минут меняли свой облик и пустыли, едва появлялись германские самолеты или германские войска. Но никто, казалось, не хотел верить, что пришла очередь Парижа. 10 июня правительство переехало в Тур; немцы находились всего лишь в 20 милях к северу от Парижа. Они наступали в обход с двух сторон. Вместо лихорадочной подготовки к обороне, в Париже наблюдалась только безучастность. Теоретически город все еще находился «в состоянии обороны». Когда французские часовые проверяли мои документы и видели, что имеют дело с журналистом, они спрашивали меня, что же происходит. Но я знал не больше, чем они, то есть я знал, что французская армия отступает. Они все, как один, говорили: «Я больше ничего не понимаю». И действительно, никто из них не понимал, ибо им не было «дозволено» понимать. Но когда тревожные вести неожиданно стали поступать одна за другой и в заключение немцы взяли Париж, это произвело на всю Францию такое же впечатление, какое месяц тому назад производили пикирующие бомбардировщики на солдат. Держа общественность

в неведении, французское правительство помогло немцам осуществить один из основных тактических приемов, а именно — привнести элемент неожиданности.

Почему во Франции не произошло восстания? Ответ, по-моему, сводится к следующему: буржуазия находилась в замешательстве и продолжала верить своему правительству; многие лидеры левых партий находились, как и коммунисты, в тюрьме или вынуждены были бежать; фашистские правые группы считали, что победа Германии позволит им осуществить свои цели; а тем солдатам, которые, возможно, захотели бы поднять восстание, просто не дали времени опомниться. Ланжерон оставался во главе парижской полиции; несколько недель тому назад полицейским было роздано оружие и строго приказано подавлять всякую попытку обороны Парижа.

В то время как в центре Парижа господствовали порядок и спокойствие, дороги, ведущие из столицы, были забиты беженцами, передвигавшимися иногда со скоростью не больше нескольких сот ярдов в час. В районе железнодорожных станций дороги на большом расстоянии были запружены людьми, пытавшимися попасть на поезд, который скорее всего даже и не предполагался. Они простаивали целый день, а иногда и ночь, чтобы добраться до кассы, где им отвечали, что поезда не ходят. Английское посольство выехало из Парижа, консульство собиралось покинуть столицу, но английские подданные не получили никаких указаний насчет того, как им поступать.

В общем, парижане оставались на редкость спокойными, хотя им каждую минуту грозила атака с воздуха или нападение пехоты и танков. 10 июня рано утром я проезжал по Елисейским полям, по Авеню де Гранд Арме и Авеню Фош. Поперек улиц через каждые 50 ярдов были расставлены автобусы, чтобы помешать германским транспортным самолетам совершить посадку. Французская разведка получила сведения, что немцы собираются высадить воздушные десанты. Днем автобусы были убраны, но к вечеру были расставлены телеги для вывозки мусора и другие тому подобные «препятствия». Я недоумевал, куда делись автобусы. Их было не менее пятисот, и каждый имел значительный запас горючего. Они могли бы с успехом служить для эвакуации населения из Парижа, но ни тогда, ни потом я не видал ни одного из них на дорогах. В тот вечер в воздухе чувствовался какой-то странный за-

пах гари, а утром, когда я взглянул в окно, за несколько сот ярдов уже ничего нельзя было различить. Можно было подумать, что Париж охвачен кольцом пожаров, зажженных неприятельскими бомбами. Я вышел из дому. На улицах все было окутано густым дымом. Везде царил тишина. Париж казался мертвым городом. Я мог придумать только одно объяснение: Париж горит, и не пройдет нескольких дней, как один из красивейших городов Европы исчезнет с лица земли, и только торчащие над пепелищем дымоходные трубы, словно надгробные памятники, будут указывать те места, где когда-то стояли дома.

К счастью, мои страхи вскоре рассеялись, так как к 11 часам утра поднялся ветер и очистил город от дыма. Но откуда взялся этот дым? Высказывалось много разных предположений. Одни говорили, что французские власти устроили дымовую завесу, чтобы скрыть от неприятельских бомбардировщиков отходящие из Парижа железнодорожные составы и беженцев, бредущих по дорогам. Но так как власти не делали никаких попыток помочь желающим покинуть Париж и приостановили почти всякое железнодорожное движение, эта теория казалась маловероятной. Более вероятным было другое предположение, а именно, что дым занесло ветром из Руана, где горели нефтехранилища, или с Сены, над которой немцы устраивали дымовые завесы.

Половина сотрудников парижского отделения агентства Рейтер выехала в Тур еще до того, как французское правительство покинуло столицу. Пора было, пожалуй, перевезти остатки нашего инвентаря в здание агентства Гавас, которое почти совершенно опустело, так как гавасовский персонал тоже переехал в Тур. Из работников агентства Рейтер в Париже оставалось трое — Гарольд Кинг, Кортней Юнг и я. Все утро мы сжигали дела агентства, не желая оставлять немцам ничего, что могло бы им пригодиться. Уехать мы решили на следующий день.

Большинство магазинов было закрыто, а владельцы их покинули город. Но кое-где еще торговали. Открыта была моя молочная и моя бакалейная лавка. Портной-шотландец, который днем раньше принес мне пару брюк, тоже не собирался уезжать: автомобиля у него нет, а стоять в хвосте на вокзале он не намерен. 11 июня из Парижа можно было выехать только через один вокзал — Лионский, все остальные были уже закрыты. Английские под-



данные не отдавали себе отчета в том, что Париж не сегодня — завтра будет захвачен немцами. А англичане и другие иностранцы, приезжавшие с юга, вообще не знали, что происходит. Группа англичан прибыла в Париж из Италии 11 июня. Они отправились на станцию; после нескольких часов стояния в очереди англичанам заявили, что билетов им не выдадут, так как у них нет французских удостоверений личности. Но оказалось, что можно очень легко пробраться на перрон без билета. В течение четырех дней они разъезжали по Франции и доехали до Бордо без всяких билетов. Вообще приключения с уезжающими были самые удивительные.

12 июня утром, за день до того, как немцы расположились на бивуаках в Булонском лесу, мы выехали из Парижа на двух автомобилях.

В двухместный «Форд» мы упаковали две пишущие машинки, кое-какие папки с делами, наш личный багаж и разбирающуюся на части лодку. Я считал, что она нам может пригодиться, если немцев не удастся остановить: мы покинем французские берега, когда захотим. К сожалению, я забыл одну из необходимых частей в Париже, и от лодки нам было мало проку. Мы хотели выехать из Парижа на юг через Орлеанские ворота, но полиция остановила нас, так как там был назначен сборный пункт для только что призванных новобранцев. Трудно предположить, что их мобилизовали в последний момент для усиления войск на Луаре. Более вероятно, что власти хотели держать их под своим контролем, так как именно эта молодежь школьного возраста скорее всего могла попытаться организовать оборону Парижа.

Мы потратили три часа на первые 5 миль. Порою мы делали не больше 100 ярдов в час, а иногда удавалось проехать за час 2—3 мили. Мы попали в густую колонну автомобилей, шедших по три, а иногда по четыре в ряд, так что занята была вся дорога. Некоторые пробовали объехать колонну сбоку — не по дороге, а между деревьями. К 6 часам утра вереница автомобилей тянулась на милю впереди нас и мили на две за нами. С каждой минутой хвост позади вырастал. В течение нескольких суток можно было ежедневно наблюдать такую же картину: великий исход из столицы. Раньше всех поспешили уехать богачи, за ними потянулись торговцы, а потом и люди победнее. Большинство автомобилей давно уже были уволены в от-

ставку за выслугой лет и праздно стояли в гаражах. Больше половины машин не имело стартеров. Чуть ли не каждые десять минут мы останавливались и, чтобы не тратить даром бензин, выключали моторы. Затем раздавался сигнал: можно двинуться дальше; все выскакивали и заводили моторы. Если это удавалось не сразу, задние поднимали шум, и многим приходилось просто подталкивать плечом свою упрямую, тяжело нагруженную машину. Проехав 10—20 ярдов, мы снова останавливались; эта трагикомедия повторялась часами, но настроение у всех было очень веселое. Милях в пяти от Парижа нам удалось выбраться из колонны, которая продолжала путь к Рамбуйе и в конце дня подверглась ожесточенной воздушной бомбардировке и пулеметному обстрелу. Выкарабкавшись из гущи, мы поехали под деревьями по проселкам. Над нами сияло солнце, вокруг было тихо и мирно, но стоило въехать в какой-нибудь город или деревню, как мы сейчас же чувствовали всю близость войны.

Тяжелое впечатление производили автомобильные очереди, ожидавшие бензина. Если кто-либо пытался получить бензин без очереди, завязывалась ожесточеннейшая перепалка. В некоторых городах полицейскую службу несли английские унтер-офицеры, а на всех перекрестках стояли французские военные патрули. Путь от Парижа до Орлеана (75 миль) занял у нас двенадцать часов. В Орлеане мы ночевали в своих машинах на площади, как и сотни других беженцев. В Тур мы добрались лишь на следующий день.

## Глава XIII

### ТУР И БОРДО

Попасть после благодатной тишины деревенских поселков в бессмысленную сутолоку Тура было все равно, что войти в ворота с надписью: «Оставь надежду всяк сюда входящий». И судя по разговорам, которые приходилось слышать, сенаторы, депутаты, общественные деятели и генеральный штаб действительно отказались от всяких надежд.

В эти дни цензура неожиданно перестала свирепствовать, и мы получили возможность правдиво обрисовать положение. Я отправил корреспонденцию, в которой высказывал мысль, что Франции грозит разгром наподобие

1870 года. На следующее утро Гарольд Кинг послал агентству Рейтер еще более мрачную телеграмму, и ни одного слова не было вычеркнуто. Когда наши корреспонденции были получены в Лондоне, английские цензоры были так поражены, что задержали их на довольно продолжительное время и стали выяснять в высших инстанциях, действительно ли Франция находится в таком отчаянном положении. 13 июня представителей печати в Париже созвал майор Вотрен, твердо веривший в политику Рейно. Он хотел дать несколько иллюстраций к тому, что было сказано в обращении Рейно к Соединенным Штатам, которое было опубликовано в это утро. Вотрен нарисовал неприкрашенную картину положения на линии Сены, не предвещавшую ничего, кроме нового поражения. Он сказал, что многие французские части, не сменяясь, ведут бой уже в течение 10 дней, тогда как немцы постоянно получают подкрепления. Численно они превосходят французов втрое. Немцы бросили в атаку на Сене до 120 дивизий, то есть около двух миллионов человек, так как германская дивизия в военное время насчитывает 17 тысяч солдат. У Франции же, по подсчетам Вотрена, было лишь около 700 тысяч солдат.

Английские офицеры, находившиеся на фронте у Сены, утверждали, однако, что французы могли бы удержать эту линию на несколько дней дольше, чем они ее удерживали. Многие французские артиллерийские и пехотные части рвались в бой, но не знали, что им делать, так как у них не оказалось офицеров. Французская армия была обучена в духе старой теории, согласно которой «врага необходимо иметь всегда перед собой». Если же враг обошел армию с фланга, надо отступать, пока окажется возможным снова встретить его лицом к лицу. Но в этой войне немцы с помощью моторизованных частей и парашютных десантов все время применяли тактику обхода. На эту тактику был только один ответ: отдельные войсковые группы французов должны были самостоятельно вести борьбу и удерживать свои позиции до последней возможности, помня, что противник, заходя с фланга, в свою очередь подставляет свой фланг под удар. На Сене была сделана попытка сочетать этот метод с эшелонированием в глубину, и многие германские части были отрезаны и уничтожены. В районах Вернона, Лез-Андели и Пон-дез-Арш, где прорвались немцы, южный берег у Сены крутой, оборонять

его легко. Английские войска еще долго держались здесь после отступления французов. Но французское верховное командование решило, что битва проиграна, и дало приказ об отходе. После четырех недель непрерывного отступления трудно было сохранить моральное состояние армии. Отдельные французские части, отрезанные от главных сил и снабжаемые боеприпасами с воздуха, продолжали мужественно отбиваться, но армия в целом отступала. Можно было видеть офицеров, удиравших с фронта на своих боевых конях, а за спинами у них сидели молодые девушки. Солдаты толпами брели по всем дорогам, бросая по дороге оружие. Если бы линия фронта держалась, французы могли бы перевозить подкрепления ночью, когда германская авиация действовала не так активно.

Я спросил у майора Вотрена, правда ли, что англичане не помогают французам в этой решающей битве. Он ответил: «Это неправда, союзники сражаются плечом к плечу». Надо сказать, что Вотрен не принадлежал к числу сторонников Петэна.

На приеме у Вотрена мы впервые узнали, что Париж объявлен открытым городом. Сообщали также, что французы просили американского посла Буллита снести с германским командованием и договориться, чтобы вступление немцев в Париж обошлось без кровопролития. В этот вечер немцы разбили свои бивуаки в Булонском лесу. Это были, повидимому, свежие части, переброшенные сюда специально для парадного вступления в Париж, назначенного на 14 июня. Вскоре затем из Берлина прибыл на самолете Гиммлер со списком видных евреев и других лиц, «интересующих» Гестапо. Германские офицеры расположились со всеми удобствами в домах богатых евреев, и для них были вновь открыты фешенебельные парижские рестораны. Из Германии прибыли их жены и семьи. Большие магазины были полны немок, покупавших шелковое белье, которого в Германии они достать не могли.

В эти дни Тур подвергался довольно частым бомбардировкам, и правительство решило переехать в Бордо. Так же как и при отступлении из Парижа, невозможно было выяснить, где находятся германские войска. Были сообщения, что после прорыва на Эн немцы быстро продвигаются на юг в двух направлениях. Одно направление — к во-

стоку от Парижа на Труа, Дижон и дальше к швейцарской границе, а второе — к западу от Парижа, через Шартр на Ле Ман и Тур. Часть сотрудников агентства Рейтер уже перебралась в Бордо. Агентство Гавас упаковывалось и увольняло всех, кому не удалось пристроиться на автомобилях и грузовиках. Наша группа, к которой в субботу 15 июня присоединились Эдди Уорд и Вирджиния Коульс, тоже решила последовать примеру правительства. Должен сказать, что наша поездка в Бордо прошла на редкость удачно: нас нигде не задержали беженцы. Одну ночь мы провели в поле у небольшого ручья, а утром позавтракали в деревенском кафе. Жизнь в деревне протекала спокойно и мирно, словно здесь ничего не случилось сотни лет. Только по разговорам в кафе можно было заключить, что идет война. Вирджиния Коульс умеет внушать доверие обитателям захолустных углов, так что мы могли наговориться с крестьянами вволю. Мы с Кингом ехали впереди, и когда мы теряли из виду другой автомобиль, в котором ехала остальная половина нашей компании, мы знали, что он застрял в очередной деревне, где Вирджиния выясняет местные настроения.

В какую бы деревню мы ни въезжали, люди везде держались спокойно и бодро. Население не собиралось бежать ни при каких обстоятельствах. Но, конечно, могло случиться, что поток беженцев, докатившись сюда, внесет в спокойную деревню смятение и увлечет с собой ее жителей.

С внешним миром нас связывал только радиоприемник. По радио мы узнали, что французское правительство заседало в этот день в Бордо и перенесло продолжение заседания на завтра, так как не пришло ни к какому решению. Это было грустное сообщение, и мы сделали вывод, что необходимо спешить в Бордо и выяснить, что же, собственно, происходит.

Бордо, как мы и ожидали, производил гнетущее впечатление. Все дома были переполнены, люди спали на полу. Городские площади были загромождены автомобилями; счастливицы, имевшие машину, в ней и ночевали; остальные довольствовались мостовой. К югу от Луары насчитывалось уже около 7 миллионов беженцев; через две-три недели там скопилось 10 миллионов беженцев, свыше миллиона демобилизованных солдат и столько же французских военнопленных, отпущенных немцами.

Совет министров все еще спорил о том, должна ли Франция капитулировать, или продолжать борьбу из Северной Африки. Ходили недобрые слухи, что партия мира берет верх. В переполненных кафе мелькала зловещая фигура Лавалья. В конце концов колеблющиеся дали себя уговорить. На них подействовали аргументом, что Франция ничем не рискует, если запросит Германию об условиях перемирия. Если условия окажутся унижительными, борьба будет продолжаться из Северной Африки. Капитулянты прекрасно знали, что стоит только начать переговоры, и тогда уж ничем не заставишь правительство возобновить борьбу. Колеблющиеся попались на эту удочку. На долю Мандела выпало объявить нам в воскресенье вечером, что он сам, Рейно, Монне и некоторые другие министры, сторонники борьбы до последней капли крови, потерпели поражение. Правительство Рейно пало, премьером назначен Петэн. Мы знали, что это означает конец. Правительство запросит немцев об условиях и будет вынуждено принять их, чего бы Германия ни потребовала. О борьбе из Северной Африки не могло быть и речи. Однако Поль Бодуэн, оставшийся министром иностранных дел, попрежнему делал вид, что правительство намерено продолжать борьбу, если германские условия окажутся неприемлемыми. Английский посол, сэр Рональд Кэмпбел, делал все возможное, чтобы убедить новое правительство не подписывать сепаратного мира. Он доказывал, что оно может продолжать борьбу, опираясь на колонии. Поляк Залесский и другие дипломаты также посетили членов правительства. В понедельник 17 июня Бодуэн еще раз подтвердил им, что правительство Петэна намерено продолжать политику Рейно, то есть политику сопротивления, если Германия предъявит неприемлемые требования. Он заявил лорду Ллойд и Александру, которые были специально делегированы в Бордо Черчиллем, что правительство намерено на следующий день переехать в Перпиньян, а оттуда в Северную Африку. Если некоторые из министров действительно питали такие намерения, то они изменили свои планы после того, как немцы в тот же день подвергли Бордо ожесточенной бомбардировке. Среди офицеров и в некоторых политических кругах начало расти возмущение. Тогда было решено арестовать Мандела, которого капитулянты считали главным зачинщиком этого «бунта». Но после резкого протеста со стороны Эррио и Жаннене — председателей

палаты депутатов и сената — Мандель был освобожден, и Петэн заявил, что его арест был простой ошибкой.

Тем временем возникла проблема эвакуации английских подданных из Франции. Во всех портовых городах западной Франции, в Бордо, в Нанте, Сен-Назэре, в Сен Жан де Люс, у дверей английских консульств стояли длинные очереди. Английские суда получили распоряжение делать остановки в мелких бухтах, где германские бомбардировщики едва ли станут их искать.

Во вторник мы покинули берега разгромленной Франции. Некоторые из английских граждан так и не успели выбраться. К середине недели во Франции уже не осталось ни одного английского консульства, и некому было организовать отъезд английских подданных, хотя консулам следовало бы, как капитанам кораблей, уезжать последними.

Еще до того, как мы сели на пароход, были получены официальные известия, подтверждающие, что все кончено. Петэн произнес свою пресловутую речь — «надо прекратить борьбу». Мы ехали в Ле Вердон на автомобиле и остановились в маленькой деревушке спросить дорогу. Как раз в этот момент на улицу выбежала из дому взволнованная женщина: она слышала речь Петэна по радио и была вне себя от горя. В порту за завтраком нам прислуживала веселая очаровательная молодая девушка. Кто-то сообщил ей последние новости; она расплакалась и до конца завтрака ходила с распухшими глазами. Никто не радовался тому, что Франция прекратила борьбу.

# А н д р е М о р у а

## Трагедия Франции

### I

В конце 1935 года на обеде у лэди Лесли я встретился с ее племянником Уинстоном Черчиллем. После обеда Черчилль взял меня под руку и увел в небольшую комнату рядом. И здесь он сразу же приступил к разговору.

— Господин Моруа, — сказал он мне, — я хотел бы, чтобы вы прекратили писать романы. Да, да. И я хотел бы, чтобы вы прекратили писать биографии.

Я посмотрел на него с некоторым недоумением.

— Чего я хотел бы, — продолжал он, — это чтобы вы каждый день писали статью, каждый день об одном и том же. В любой форме, какая вам нравится, вы должны пронести через эти статьи одну и ту же мысль: французская авиация, которая была когда-то одной из лучших в мире, отодвинулась на четвертое или пятое место; германская авиация, которая раньше вовсе не существовала, имеет шансы стать лучшей в мире. Только об этом может идти речь. Только в этом все дело. Если вы возвестите Франции эту истину, если вы заставите Францию услышать это, вы сделаете гораздо больше, чем если будете изображать влюбленность женщины или же честолубие мужчины.

Я возразил ему, что, к сожалению, я не специалист в вопросах авиации и не могу говорить о них с должным авторитетом, а если я и заговорю, то никто не захочет меня слушать, и что поэтому уж лучше мне продолжать писать романы и биографии.

— Вы неправы, — ответил Черчилль, и в его сильном голосе прозвучали столь свойственные ему иронические нотки. — Сейчас есть только одна тема, которая может инте-



ресовать француза, — это угроза со стороны авиации. Для вашей страны это может означать гибель. Культура и литература — это вещи, которым нет цены, но культура, не опирающаяся на какую-то силу, легко рискует стать обреченной культурой.

Я так никогда и не написал статей, которых требовал от меня Черчилль, и теперь горько сожалею об этом. Разговор с ним уже тогда произвел на меня глубокое впечатление и оставил во мне неизгладимое чувство тревоги. Я неоднократно осведомлялся у посвященных лиц о состоянии нашей авиации, но то, что я слышал в ответ, звучало уклончиво или же свидетельствовало об откровенном пессимизме.

— Если вспыхнет война, — сказал мне один полковник, командовавший эскадрильей бомбардировщиков в Лионе, — то мы все храбро умрем, но больше мы ничего сделать не сможем.

— Почему? — спросил я.

— Потому, что нас мало и наши машины устарели.

В 1936 году положение еще ухудшилось. Занятие фабрик бастующими рабочими, инертность правительства, всякие бюрократические проволочки и сумасбродные требования профсоюзов катастрофически снизили продукцию авиапромышленности. В 1937 году ежемесячный выпуск самолетов во Франции выразился в невероятной цифре: 38. И это в то время, когда Германия ежемесячно производила тысячу самолетов. Между тем как во Франции пагубная вражда отравляла взаимоотношения между руководителями промышленности и рабочими, в Германии все силы были мобилизованы на подготовку к войне. Бессмысленные рассказы о слабости национал-социалистского режима принимались во Франции за чистую монету — воистину грезы, которые желание выдавало за явь. Люди, которые по-настоящему знали Германию, как сэр Эрик Фиппс, английский посол в Берлине, и его французский коллега, Франсуа Понсе, предупреждали уже давно. Я вспоминаю разговор этих дипломатов в 1937 году, происходивший в моем присутствии.

— Не следует создавать себе иллюзий, — сказал Франсуа Понсе, — Германия сильна, она это знает и полна решимости воспользоваться своей силой. Франция и Англия могут выбрать одно из двух: либо оба наши государства должны отказаться от всего остального и сконцентриро-

вать всю свою энергию на вооружениях, либо следует искать путей соглашения с Германией.

— Возможно ли это? — спросил я. — Действительно ли Германия желает соглашения?

Франсуа Понсе ответил:

— Германия ничего не хочет и хочет всего... Германия прежде всего стремится к движению, она жаждет перемен. Ее нынешних вождей увлекают исполинские символы и внушительные демонстрации. Вы хотите завоевать их симпатии? Так соорудите на противоположных берегах Рейна две огромные лестницы. Соберите на одном берегу Рейна миллионы немецких юношей под знаком свастики, а на другом берегу — миллионы молодых французов под нашим флагом, и пусть эти юноши в безупречном строе дефилируют по этим лестницам вверх и вниз, в то время как посреди Рейна, на плоту, французский главнокомандующий сойдется лицом к лицу с Гитлером. Это, пожалуй, может дать некоторые надежды на соглашение между Германией и Францией, при условии, что к этому времени вы станете достаточно сильны. Но если свои отношения с Германией вы хотите регулировать путем дипломатических махинаций и выкрутасов, к чему немцы испытывают только презрение, если вы попрежнему будете писать ноты и произносить речи, вместо того чтобы строить самолеты и танки, то мы прямехонько придем к войне, к войне, которую нам не удастся выиграть.

Но так оценивал положение не только Франсуа Понсе. Правительства других стран, которые сравнивали военные расходы Германии с нашими и английскими, не замедлили понять, что соотношение сил в Европе изменилось, и многие из них приняли соответствующие меры предосторожности. Французский посол в Варшаве Ларош говорил мне не раз, что несправедливо упрекать Польшу за то, что с 1936 года она начала искать благосклонности Германии. «Чего же еще можно было ожидать? Когда они видят, что Германия вооружается, а Франция и Англия ничего не делают, чтобы затруднить ей это; когда в марте 1936 года Гитлер у всех на глазах занимает Рейнскую область, а Франция, что называется, и бровью не ведет; когда они слышат по радио заявление французского премьера о том, что он не допустит, чтобы Страсбург оказался в сфере действия германских орудий, а потом, к их изумлению, за этими словами не следует никаких действий, — то они те-

ряют всякое доверие к нам. Руководители Польши заявили мне тогда, что если Франция не помешает вооружениям Гитлера, Польша будет вынуждена пойти на сближение с ним. Так оно и вышло. По тем же причинам из-под французского влияния ускользнули в то время и Бельгия с Югославией».

Несомненно, что и рядовые люди в Англии и Франции в какой-то мере сознавали нашу слабость, так как в 1938 году им была ненавистна мысль о войне. Это было ясно видно во время мюнхенской конференции. В Америке уже тогда открыто критиковали Чемберлена и Даладье. Но в Америке не представляли себе истинного положения дел. Им трудно было представить себе, что должны чувствовать жители Парижа и Лондона, которые знают, что в стране нет хороших бомбоубежищ, нет противогазов и зенитных орудий, и которые в то же время находятся под впечатлением страшных слухов, распространяемых немецкой пропагандой, о гигантских бомбах, взрывы которых могут разрушить целые кварталы. Люди, которые не дрогнули бы перед таким противником, как в 1914 году, приходили в ужас, думая о возможности нападений на тыл, жертвой которых станут их жены и дети. Поэтому мюнхенское соглашение, считавшееся в Нью-Йорке позорным, было воспринято в Париже и Лондоне с неимоверным воодушевлением.

Однако после мюнхенской конференции политика умиротворения утратила в Англии всякую популярность. Английская общественность вынуждена была примириться с Мюнхеном, так как армия и авиация были недостаточно подготовлены. Но она восприняла это как горькое лекарство и была полна решимости принести все необходимые жертвы, чтобы избежать подобного унижения в будущем. В январе 1939 года я отправился в Англию в лекционное турне, во время которого мне пришлось объездить всю страну. По возвращении в Париж я написал статью, в которой утверждал, что Англия в марте введет всеобщую воинскую повинность, и это тогда показалось большинству моих французских знакомых безумием. Но в марте 1939 года действительно последовало решение о воинской повинности.

Занятие немцами Праги было для Чемберлена и остальных сторонников политики умиротворения болезненным ударом. Британский премьер-министр был искренно

возмущен. Несмотря ни на что, он твердо верил, что аннексионистские планы Гитлера не имеют в виду не-немецкое население. Теперь он получил доказательство обратного. Он стал одним из решительнейших противников Гитлера в Англии — факт, который многим остался неизвестен. Движимый негодованием и гневом, он неожиданно для себя дал гарантию Польше. Я был тогда в Америке. Мне сразу же стало ясно, что это означает войну, так как, с одной стороны, Германия не откажется от своей политики экспансии и нападет на Польшу, но и Англия со своей стороны останется верной данной ею по всей форме письменной гарантии.

Внезапное возвращение Англии к европейскому политическому сотрудничеству, разумеется, привело ее к более тесному сближению с Францией. В июне 1939 года состоялся торжественный обед в Париже, на котором присутствовали английский военный министр Хор-Белиша, французский министр иностранных дел Боннэ и генерал Гамелен. На этом обеде Хор-Белиша заявил, что в случае войны британские войска будут сражаться под руководством французского главнокомандующего и что он гордится возможностью говорить о «нашем генерале Гамелене».

Несколькими днями позже в Париж опять приехали Хор-Белиша и Черчилль, чтобы присутствовать на параде 14 июля. Это было великолепное зрелище — последний счастливый день, пережитый Парижем. Мы собрали для парада все, что составляло гордость Франции, наших стрелков, зуавов, морскую пехоту, иностранный легион и регулярные войска. Черчилль сиял. «Слава создателю за французскую армию», — были его слова. Мы еще тогда не знали, что храбрость и превосходные боевые качества людей бессильны, если техническое снаряжение недостаточно.

Вечером меня посетил Хор-Белиша. Он рассказал мне о тех трудностях, которые встречаются при создании английской армии. «Воинская повинность дело разумное и правильное, — сказал он, — но пока она существует больше на бумаге. Нехватает оружия, чтобы вооружить всех военнообязанных, нет офицеров для их обучения. Офицеры мировой войны не умеют обращаться с новым оружием». На вопрос о том, сколько же дивизий он сможет послать во Францию, если завтра вспыхнет война, он ответил: «Поначалу самое большее — шесть». Это число ис-

пугало меня, но еще больше я испугался, когда вскоре узнал, что наш генеральный штаб потребовал от Англии на все время европейской войны всего-навсего 32 дивизии. Я вспомнил, что в 1918 году у нас было не меньше 85 британских дивизий, и хотя Америка, Россия, Италия и Япония были нашими союзниками, мы все же были на волосок от поражения.

Боннэ, тогдашний министр иностранных дел, разделял мое беспокойство. От него я услышал следующее: «За несколько дней до войны, примерно в конце августа 1939 года, я пригласил к себе двух высших офицеров, ответственных за командование нашей армией и авиацией. Я рассказал им, что мы идем навстречу войне, которая станет неизбежной, если Польша не пойдет на уступки. И все же, — заявил я, — если они мне скажут, что у нас нет шансов на победу, то я посоветую полякам уступить Германии Данциг и коридор. Я знаю, что этим самым я создаю серьезную опасность. Станут говорить, что я предал Польшу, после того как я это уже сделал с Чехословакией. Но это не существенно. Это все же будет лучше, чем уничтожение нашей страны, что одновременно означало бы и уничтожение Польши. Не думайте, что я недооцениваю военный азарт Германии. В продолжение семи лет Германия готовилась к европейской войне, и она рано или поздно начнет войну, если не сможет добиться господства над Европой только при помощи военных угроз. И все же возможно, что в наших интересах задержать войну, с тем чтобы выиграть год или полгода для развертывания энергичнейшей кампании вооружений. Поэтому я ставлю сейчас перед ними вопрос: имеются ли со стороны военных инстанций веские соображения в пользу того, чтобы заставить Польшу принести эту жертву? Оба командующие мне ответили — каждый за себя — что они не видят никаких серьезных оснований для откладывания войны и что такая отсрочка будет полезна Германии не меньше, чем нам. При таких обстоятельствах мне оставалось только согласиться с ними».

Несмотря на это, Боннэ предпринял последнюю попытку. 31 августа в 13 часов ему телефонировал Франсуа Понсе, ставший к этому времени французским послом в Риме, и сообщил, что граф Чиано предложил ему созвать конференцию для обсуждения польской проблемы и всех спорных вопросов. Боннэ верил в искренность Чиано.

Италия не была готова к войне. Договор с Германией предоставлял ей еще трехлетний срок. Общественное мнение в Италии было против войны. Италия могла бы и без войны добиться на конференции удовлетворения большей части своих требований. Боннэ решил предпринять все от него зависящее, чтобы осуществить план созыва конференции. Он рассказал Даладье об этом плане и добавил: «Сегодня вечером в 6 часов состоится заседание совета министров, на котором я буду рекомендовать принятие итальянского предложения. Я прошу вас поддержать меня. Этим самым мы поставим Германию перед свершившимся фактом». Даладье обещал свою поддержку. Но Боннэ слишком хорошо знал премьера. Вечером, на заседании, Боннэ натолкнулся на сопротивление Даладье. Итальянское предложение не было окончательно отвергнуто, но совет министров выразил желание, чтобы сперва были продолжены прямые германо-польские переговоры. Наутро германские войска перешли польскую границу.

На следующий день в 14 часов 15 минут в кабинете Боннэ на Кэ д'Орсэ раздался звонок. Сняв трубку, он к своему удивлению услышал: «Здесь граф Чиано. У меня сейчас Франсуа Понсе и сэр Перси Лоррен. Я думаю, что все еще не поздно принять предложение о конференции...» Боннэ обещал итальянскому министру, что до воскресенья, то есть до 3 сентября, он не направит Германии окончательного ультиматума. Это-то и привело к весьма своеобразному положению, которое, насколько мне известно, нигде еще не освещалось.

Известно, что, в соответствии с обещанием, которое Боннэ дал Чиано, Франция ждала с направлением ультиматума Германии до полудня и с объявлением войны — до 17 часов. Англия же объявила войну в 11 часов утра. Дело в том, что общественное мнение Англии в 1939 году было против всяких новых капитуляций. Депутаты парламента, которые во время недавних парламентских каникул имели возможность войти в тесное соприкосновение со своими избирателями, находились под впечатлением охватившей народ решимости. Депутаты были твердо намерены помешать Чемберлену проявить такую же слабость, как летом прошлого года. Это привело к тому, что 3 сентября в 9 часов утра лорд Галифакс позвонил Боннэ и сказал ему: «Мне известны причины, которые мешают вам направить ультиматум Германии в полдень, но мы не да-

вали Чиано никаких обещаний и вынуждены направить свой ультиматум уже сегодня утром. Парламент созван на полдень. Если премьер-министр появится там без того, чтобы было сдержано обещание, данное им Польше, то он может натолкнуться на единодушный взрыв негодования и кабинет будет свергнут...»

Так началась война, которая, поскольку это касается Франции, была проиграна уже в тот момент, когда она началась. У нас не было достаточно самолетов, танков, зенитной артиллерии. У нас не было достаточно фабрик для производства того, чего нам не хватало. Война уже заранее была проиграна и потому, что наш союзник предполагал только ничтожной армией и не обладал необходимыми средствами для ее увеличения, средствами, которые дали бы ему возможность быстро использовать свои огромные людские и материальные ресурсы.

## II

Вскоре после того как первые британские войска высадились во Франции, я был в октябре 1939 года затребован британским военным советом на должность «официального французского наблюдателя» при главной квартире британской армии. Моя задача должна была состоять в наблюдении за ходом операций и в обеспечении контакта между британскими войсками и французским населением посредством статей, докладов и радиовыступлений. В последнюю войну я в продолжение четырех лет был офицером связи британской армии. У меня остались наилучшие воспоминания о моих товарищах англичанах и шотландцах, так что это предложение, сделанное с большой теплотой и сердечностью, показалось мне заманчивым. Так как я офицер запаса французской армии, то я предъявил письмо своему начальнику, который приказал мне принять это предложение. В форме лейтенанта (этот чин у меня с 1918 года) я выехал в Аррас, чтобы представиться лорду Гарту, главнокомандующему британскими войсками.

Лорд Горт жил тогда в замке Д'Абарка, в окрестностях Арраса. Никогда у полководца не было более простого кабинета. На входной двери четырьмя кнопками был прикреплен клочок бумаги с надписью: «Office of the C.

in C.»<sup>1</sup>. В комнате не было никакой мебели, и только доски, положенные на козлы, изображали письменный стол. За этим-то столом и работал лорд Горт. Простота эта была преднамеренной. Лорд Горт держится того мнения, что жизнь офицера ничем не должна отличаться от жизни его подчиненных. Единственным его отдыхом во время войны были далекие прогулки. Ранним утром его можно было видеть прогуливающимся по грязным дорогам в окрестностях Арраса. Он шагал, крепко прижав руки к туловищу и выставив голову, а за ним с трудом поспевал его адъютант.

Первый адъютант главнокомандующего, Гордон, рассказал мне, что однажды лорд Горт взял его с собой на свидание с Гамеленом в отеле «Криллон». Молодой офицер обрадовался случаю провести приятный вечер в Париже. Но после обеда лорд Горт заявил: «А сейчас мы немного погуляем». И по аррасскому своему обыкновению он, не меняя привычной позы, быстро зашагал по Рю де Риволи и по набережной Сены, а затем обежал вокруг Лувра; проделав этот маршрут трижды, он в сопровождении своего безутешного адъютанта отправился к себе в отель на покой.

Когда я впервые увидел лорда Горта, меня поразил его молодой крепкий вид и его природная живость. Незадолго до этого Хор-Белиша почти полностью омолодил верховное командование британской армией, и, видно, он сделал это из вполне разумных соображений. Разговаривать с лордом Гортом было легко, беседа текла непринужденно и плавно. Лорд Горт сразу же заговорил о планах Гитлера:

— Будет ли он наступать через Бельгию? Я думаю, да. Это единственное направление, представляющееся мне возможным. Только вот я не представляю, как немцы смогут начать свое наступление зимой, принимая во внимание эту ужасающую фландрскую слякоть. Но если в продолжение нескольких месяцев не будет никаких боев, наши люди совсем обленятся. Вы знаете, это не шутка, когда с наступлением сумерек, в четыре часа, вам приходится уходить в темный сарай и корпеть там при свете свечи...

— Но ведь в 1914 году мы не вылезали из блиндажей и окопов, — возразил я.

---

<sup>1</sup> Кабинет главнокомандующего.



— Это совсем другое дело, — отвечал лорд Горт. — Тогда перед нами был враг, который не давал нам спать. Здесь же мы расположились фронтом против Лилля и Дуэ. Перед нами Бельгия, нейтральная страна. При таких обстоятельствах нелегко поддерживать в войсках боевой дух. Если эта бездеятельность будет долго продолжаться, придется надумать какое-нибудь занятие для солдат. Лорд Наффильд предложил мне радиоаппараты, но это не так просто. Наши солдаты не могут пользоваться аппаратами, которые включаются в электросеть, так как такой сети на наших участках нет. Нам нужны батарейные радиоприемники. Но батареи нуждаются в регулярной зарядке. В настоящее время мы занимаемся оборудованием нескольких автомобилей, которые будут специально для этого объезжать посты.

Потом он рассказал мне об укрепленных позициях, которые, по сведениям разведывательных органов, немцы возвели в Польше против русских. После этого разговор перешел на мою работу.

— Я хочу, чтобы вы побольше рассказывали моим солдатам о французской армии, а французским солдатам о нашей армии, — сказал мне генерал Горт. — Мы должны предоставить нашим полкам возможность познакомиться друг с другом. Вчера мои уланы встретились с французскими кирасирами. Это хорошо. Я сам часто посещаю генерала Жиро, его войска стоят на моем левом фланге. Какой это замечательный солдат!

Сигара, которую дал мне лорд Горт, обжигала мне пальцы. Напрасно я оглядывался в поисках пепельницы.

— Бросьте ее на пол, — предложил мне генерал. Так как на время войны он отказался от всяких излишних удобств, то у него не нашлось и пепельницы.

На следующий день я начал объезжать передовые линии. В то время перед ними было только несколько бельгийских пограничников, но в любой день эти линии могли превратиться в арену гигантских боев. Я был до глубины души потрясен их жалким состоянием. Я и раньше слышал, что линия Мажино кончается вблизи Монмеди, но по своей наивности я представлял, что вдоль бельгийской границы тянутся укрепления, которые пусть

и уступают линии Мажино, но все же значительны. Это было одним из ужаснейших и мучительных потрясений моей жизни, когда я увидел жалкие линии, которые должны были нас защитить на этой границе от вторжения и поражения. Они состояли из небольших бетонных укреплений, возведенных, примерно, в одном-двух километрах друг от друга и огороженных проволочными заграждениями. В каждом из этих укреплений была размещена группа в составе пяти-семи человек. Отделение имело тяжелый и легкий пулемет и перископ для наблюдения за местностью. Помимо того здесь же должно было стоять противотанковое орудие, но пока для него было только заготовлено место, самого же орудия не было.

Между убежищами тянулся неглубокий ров, который должен был служить противотанковым препятствием. Немного позади солдаты копали окопы и блиндажи, но во Фландрии в это время года это было почти безнадежным предприятием. Стоило только врыться на несколько футов в желтую глинистую почву, как сразу же показывалась подпочвенная вода. Солдаты проделывали настоящие чудеса, чтобы отвести эти неисчерпаемые источники и укрепить вырытые ямы.

Английские военные корреспонденты, в большинстве своем, как и я, бывшие участники мировой войны, очень критически рассматривали эти сооружения. «Если это должно стать нашими линиями, — сказал один из них, — то храни нас бог! Наступательное оружие сейчас уж, верно, раз в десять сильнее, чем четверть века тому назад, а оборона в десять раз слабее». К великому сожалению этих достойных людей, строгая цензура запрещала всякие сообщения о действительном положении вещей.

Британские офицеры прилагали все усилия к тому, чтобы видеть все это в более розовом свете. Один из них, показывая мне жалкий ров, который был выкопан его солдатами с неимоверными усилиями, сделал при этом следующее замечание: «Конечно, эта штука не сможет задержать атакующие танки. Но, если уж на то пошло, перед моими позициями густой лес, и нет оснований ждать немецких танков именно в этом месте».

Впрочем, в последующие недели французы и англичане немало поработали над сооружением оборонительных укреплений. Позади передовых позиций возникли и другие бетонные сооружения. Во французском секторе эти соо-

ружения хорошо маскировались. Многие из них выглядели, как крестьянские дома, сараи и т. д.

Во французской армии в то время усердно читали книгу генерала Шовино, профессора одной из военных школ, который был убежден в том, что бетонные укрепления делают наступление совершенно невозможным. Такие сооружения, писал он, возводятся в столь короткий срок, что обороняющаяся армия может построить вторую позицию, в то время как противник занят наступлением на первую. Генерал упустил из виду две вещи: во-первых, возможность появления новых средств для овладения бетонными укреплениями, а во-вторых, то обстоятельство, что при прорыве вражеское наступление разворачивается уже за укрепленной линией. И действительно, линия, над сооружением которой в снег, холод и дождь всю зиму работали наши войска, не была взята фронтальной атакой.

Большинство экспертов не разделяло мнения генерала Горта в отношении путей германского наступления. Германия, по их твердому убеждению, не захочет превратить в своего врага хорошо обученную и вооруженную бельгийскую армию. Но так как, с другой стороны, линия Мажино казалась им непреодолимой, то они приходили к выводу, что немцы имеют только две возможности вторжения — в Голландию и Румынию. Совершенно невероятно, однако, чтобы Германия превратила одну из этих стран в театр военных действий. Они полагали, что летом немцы вообще ничего не предпримут. В общем, положение расценивалось как вполне благоприятное, так как время работает на союзников, которые в 1941 году обеспечат себе превосходство в воздухе, а в следующем году будут располагать такой тяжелой артиллерией и бронесилами, что это даст им возможность предпринять фронтальное наступление на линию Зигфрида. Такие рассуждения можно было слышать в то время в каждой офицерской столовой, и так же думал и я.

Гитлер как-то заявил, что он выбьет у союзников войну из рук. В течение долгой зимней бездеятельности ему это и удалось. Люди устали непрерывно рыть под дождем окопы против неприятеля, которого они не видели. А между тем можно и нужно было выводить дивизии в

поле одну за другой и обучать их новым методам боевых действий. При этом необходимо было учесть и уроки польской кампании. Но мы так мало думали о настоящей войне, что наши генералы проявляли щепетильность, которая была бы достойна похвалы только в мирное время. Как-то я спросил одного генерала, почему он не приучает своих солдат к действиям огнеметных танков и пикирующих самолетов. «Если люди впервые столкнутся с этим в момент сражения, — сказал я, — то ими овладеет смертельный страх. Другое дело, если уже сейчас приучать их к таким вещам». — «Вы правы, — ответил генерал, — и я уже много раз порывался сделать это. Но мне неизбежно отвечали, что такие учения могут повредить урожаю и что поэтому против них возражают гражданские власти».

Позади линий никто, казалось, не думал о возможности вражеского вторжения. Все жаловались на скуку. В самом начале войны нехватало одеял, белья, обуви. Были созданы агентуры по поставке этих вещей в армию. Отовсюду приходили посылки. Скоро солдаты стали получать слишком много посылок, слишком много подарков. «При всем желании я не могу выкурить двести сигар в день», — сказал мне как-то один английский солдат.

Видные деятели в Париже и Лондоне организовали полевые библиотеки для армии, радио для армии, концерты для армии, спорт для армии, искусство для армии, театр для армии и т. д. Одна дама, обеспокоенная этим легкомыслием, выразила намерение создать новую агентуру — «Война для армии». Военные автомобили с надписью «Concert parties»<sup>1</sup> объезжали британский фронт. Эти группы состояли из известных артистов и блестящих артисток варьете. Морис Шевалье любезно согласился спеть для солдат союзной армии. Его прибытие в Аррас вызвало больше шума, чем приезд президента Лебрена. Все это было очень мило и очень безобидно, но всего этого никак нельзя было назвать подготовкой в германскому наступлению. В то время как страна в наиболее критический период своей истории располагала только несколькими неделями для исправления прошлых ошибок, для сооружения укреплений и обучения войск, французская и английская армии (за исключением лишь некоторых отрез-

---

<sup>1</sup> Концертные ансамбли.

ков фронта) все еще продолжали жить в косной рутине военного бюрократизма.

В Аррасе было размещено много тысяч солдат французских территориальных войск, для которых военное руководство не находило никакого применения. Они разводили кроликов и кур, откармливали свиней, возились на огородах. Это очень похвально, но гораздо важнее было бы укрепить Аррас и линию Скарпы. Один из моих приятелей-офицеров набрался как-то смелости сказать об этом своему генералу. Тот накинулся на него: «Укреплять Скарпу! Враг никогда сюда не придет. Вы пораженец! Дождитесь приказов!»

После нескольких таких попыток даже лучшие офицеры стали втягиваться в рутину. Солдаты на вольных хлебах стали заметно поправляться.

Английские солдаты каждый вечер писали бесконечные письма женам и возлюбленным. Корреспонденция в армии приняла столь угрожающие размеры, что офицеры едва справлялись с цензурой. Будничные мелочи поглощали все внимание людей. А между тем у них было достаточно времени, чтобы задуматься над тем, что судьбы мира и свободы всецело зависят от их боевых качеств и способности оказать сопротивление врагу. Гитлер действительно выбил войну у нас из рук.

И все же это удалось ему далеко не в полной мере. Встречались отдельные островки героизма, которые резко выделялись над тиной повседневности и не тонули в будничной суете. В конце декабря я пробыл несколько дней на линии Мажино и вернулся оттуда в восторге. И не только потому, что эти «волшебные горы», ошетилившиеся дулами орудий и непроницаемые для газов, создавали впечатление безопасности, пусть иллюзорной, — нет, прежде всего меня восхищали здесь люди. Людской состав линии происходил из Лотарингии и рекрутировался из той местности, где расположен данный форт. Я познакомился с молодыми офицерами, которые в частной жизни были инженерами и адвокатами. В течение восьми лет они каждое воскресенье производили на линии Мажино артиллерийские расчеты. Эта трудная работа обеспечивает наилучшую меткость огня. Вера этих молодых людей в свое оружие и чувство живой связи с солдатами казались мне идеалом. Я не жалею о восторге, которому я тогда дал волю, и о похвале, с которой отозвался о личном

составе этих укреплений. Еще и сегодня я того мнения, что характер и патриотизм этой молодежи поистине удивительны. Когда позже линия Мажино была так быстро занята, то это случилось не по вине и не вследствие какого-нибудь промаха этих людей. Линия была занята потому, что ее обошли с тыла. Эта катастрофа ставит под сомнение мудрость тех политиков, которые потратили на сооружение неполноценной и потому уязвимой линии укреплений такую сумму, которая была бы достаточной для вооружения огромной полевой армии. Чести солдат это несколько не затрагивает.

И на других участках, а именно среди моторизованной кавалерийской дивизии, я встречал замечательные части. Я вспоминаю парад полка моторизованных драгун. Какие замечательные солдаты! Знаменитые гренадеры гвардии не могли бы показать лучшую выправку. Но не один пронзительный офицер часто низводил меня с неба на землю. Генерал одной северо-африканской дивизии рассказал мне, что он надеется на мирное соглашение. «Немцы, — говорил он, — многочисленнее и много лучше нас вооружены. Борьба будет исключительно неравной. Мои солдаты не уступают в храбрости другим, но если у них нет противотанковых орудий, то не смогут же они задержать танки голыми руками».

Даже генерал Жиро, истинный рубака, выражал надежду, что наступление начнется не раньше 1941 года. «Нам многого нехватает. И в первую очередь самолетов! Вы знаете, сколько я, командующий армией, имею в своем распоряжении самолетов? Всего только восемь. Правда, мы имеем английскую авиацию, она замечательна. Но когда необходимо, чтобы для меня был произведен разведывательный полет, я вынужден обратиться к генералу Жоржу, который обращается к генералу Гамелену, последний направляет заказ к маршалу Баррату, который в свою очередь передает его вице-маршалу Бленту для окончательного распоряжения о полете. Но к тому времени полет часто теряет всякий смысл».

### III

Как была использована нашей промышленностью восьмимесячная передышка, предоставленная нам немцами? Очень плохо, по самым различным причинам.

Первой причиной были те нелепые методы, которые применялись при мобилизации промышленности. Квалифицированные рабочие, незаменимые при производстве самолетов и орудий, засылались в какую-нибудь провинциальную казарму, где они должны были подметать двор или чистить картофель. На их розыски и возвращение на предприятия необходимы были недели и месяцы. В результате получилось то, что, например, заводы Рено, на которых в мирное время работало 30 тысяч рабочих и которые должны были сыграть исключительную роль в производстве танков и грузовиков, сохранили к началу военных действий только 6—8 тысяч рабочих.

Вторая причина: так как инженеры и финансисты намеревались вести эту войну так же, как и войну 1914 года, то все планы строились на том, что война продлится 4—5 лет. Вследствие этого фабрики сооружались с таким расчетом, чтобы достичь полной производственной мощности в 1941 и даже 1942 году. Вместо того чтобы как следует использовать имеющиеся во Франции предприятия, начали заказывать станки новейших моделей в США, откуда мы должны были бы получать самолеты и машины. По этим же причинам запасы валюты и золота, которыми располагали Англия и Франция в США, были строго нормированы. Все запасы были разделены на четыре или пять частей, причем каждая часть предназначалась на год. Большие американские предприятия, которые могли бы своевременно поставлять нам необходимое вооружение, не получили от союзников никаких заказов. «Моторы, которые строятся во Франции, обходятся дешевле» — это можно было часто слышать. Но эти моторы стоили нам войны.

Третья причина: программа была рассчитана на такую войну, которая вообще и не начиналась. Наш генеральный штаб решил провести продолжительную подготовку к наступлению на линию Зигфрида. С достойной удивления точностью было высчитано количество тяжелых орудий, которое потребуется для этой операции. Эти орудия и были заказаны в тот момент, когда следовало сконцентрировать все внимание на непосредственно необходимом вооружении: противотанковых пушках, зенитной артиллерии, пулеметах. Наши патрули на Сааре умоляли офицеров раздобыть им легкие пулеметы, вроде тех, какими пользуются немецкие патрули. Но достать их было невозможно.

Когда немцы начали сбрасывать парашютные десанты, все наши офицеры получили приказ иметь при себе револьвер. Но таковых во Франции не оказалось. Револьверы были заказаны в Италии в начале июня — так сказать, с легким запозданием.

Улучшение сразу же наметилось, как только министерство вооружений было возглавлено Раулем Дотри, выдающимся инженером, который произвел реорганизацию на французских железных дорогах. Но его назначение пришло слишком поздно. Еще в 1936 году ему следовало бы поручить создание военной промышленности. Маленький приземистый Дотри был энергичным человеком. На всех постах, которые он занимал, он неизменно добивался успеха. Когда его спрашивали, в чем тайна его успехов, он отвечал: «У меня один секрет: работа».

В министерстве вооружений Дотри начинал работу с восходом солнца. Он записывал срочные приказы начальникам департаментов на красных листочках, и эти красноречивые бумажки, которые его подчиненные находили с утра на своих конторках, говорили им о том, что приказ должен быть выполнен в тот же день. Содержание записок было кратким, ясным, а иногда и резким. Если кто-либо был в состоянии заставить Францию работать, так это Дотри. Но когда я с глазу на глаз беседовал с этим человеком, в котором всегда бил неиссякаемый ключ энергии и уверенности, он показался мне встревоженным и удрученным. «Когда вы сможете дать нашим войскам все, что им необходимо?» — «Все? Не раньше 1942 года, — ответил мне Дотри, — мы начали слишком поздно». Он невозмутимо и самоотверженно работал до самого конца, но сотворить чуда он не смог, тем более что у немцев было перед нами преимущество в несколько лет.

В январе 1940 года я был послан в Англию. Мне показывали военные корабли в Северном море, военные школы, авиационные и оружейные заводы, учебные лагеря. Все, что делало адмиралтейство, производило прекрасное впечатление. Очень радовал и воздушный флот, хоть он и казался малочисленным. Что же касается армии, то даже французская военная миссия не смогла установить, сколько солдат проходит обучение.



Однажды вечером я встретился в парламенте с Хор-Белиша: «Ну, как вам показалась наша армия?» — спросил он меня. «Мне кажется, что она состоит из хорошего материала, — отвечал я, — но, подобно Оливеру Твисту, мне бы хотелось «этого же самого побольше».

Если не считать канадскую дивизию, то нигде нам не смогли показать войсковое соединение больше батальона. Пехоту обучали старые унтер-офицеры, почти не знакомые с новыми способами ведения боя. Обучение в танковых школах было умелым и основательным, но машин было мало, да и те устарели. Но повсюду я видел добрую волю, хорошее настроение, невозмутимость духа и неисповедимую уверенность в победе.

Когда в феврале 1940 года я вернулся в Аррас, начальник штаба генерала Горта сделал нам блестящий доклад. По его мнению, зима принесла союзникам решительную победу, если вспомнить то положение, которое было у нас в конце августа 1939 года. Тогда предполагали, что придется воевать не только против Германии, но и против Италии, Японии и Испании. Тогда еще нельзя было сказать, отменит ли Америка эмбарго на вывоз оружия, будут ли доминионы сражаться на стороне своих европейских союзников и не поднимут ли арабы восстание. Теперь же Италия, Испания, Япония практически хранят нейтралитет. Америка отменила эмбарго, доминионы определили свою позицию, и даже арабы держат сторону союзников. К тому же мобилизация во Франции прошла без всяких помех. Что же касается молниеносной войны, то на Западном фронте немцы вряд ли на нее решатся.

В то время эти аргументы казались неопровержимыми. Но люди, которые могли наблюдать обе стороны, были другого мнения. В Италии, например, в начале войны следили за ходом операций с известной беспристрастностью, хотя Муссолини откровенно оказывал предпочтение немцам. Но в феврале итальянцы пришли к заключению, что союзники плохо использовали зимние месяцы и что несоответствие между их боевыми силами и силами немцев не только не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось. Уже тогда Италия приняла решение — там ждали только благоприятного момента, чтобы вступить в войну.

Но что же происходило на самом деле? Действительно ли мы проспали все эти восемь месяцев? Такое утверждение было бы безусловно несправедливым по отношению к французским войскам в Сааре, по отношению к французским и английским солдатам, которые с большим усердием рыли окопы и строили укрепления, по отношению к офицерам генерального штаба, которые потратили немало усилий на изготовление всяких планов.

Очень много англичан и французоз усердно поработали за эти месяцы, с сентября по май, но большая часть их работы была напрасной. Их начальники исходили из трех неправильных предпосылок. Они верили, что укрепленную линию можно удерживать, как в мировую войну, и дело лишь за тем, чтобы построить такую линию и укрепить ее. Далее, они были того мнения, что опыт Польши неприменим во Франции, и поэтому бесполезно заново переучивать и снаряжать армию. И, наконец, они были убеждены в том, что война будет длительной и что в первую очередь следует, в промышленном и финансовом отношении, готовиться к будущим годам войны. Если к этому клубку ошибок прибавить общий недостаток энтузиазма, который был во Франции следствием политических разногласий, а в Англии вытекал из преувеличенного оптимизма, то нетрудно понять, почему после восьми или десяти месяцев войны Франция и Англия были не в состоянии оказать действенное сопротивление военной машине, которую Германия с ужасающей пунктуальностью готовила на протяжении семи лет.

#### IV

Очень часто в истории случалось, что конфликты между руководящими деятелями мешали ходу военных действий и правительственным мероприятиям. В 1918 году Франция имела счастье найти вожда, который был достаточно энергичен, чтобы держать в узде всех своих врагов, мешавших его работе, — это был Клемансо. В 1939 году во время военной кампании Эдуард Даладьё и Поль Рейно, оба хорошие французы, ни на миг не переставали оспаривать друг у друга политическую власть, и их непримиримая вражда была одной из причин нашего злополучия.

При коронации короля Георга VI в Вестминстере один британский офицер, сидевший со мной рядом, при входе

Поля Рейно, повернулся ко мне и спросил: «Кто этот небольшой человек, смахивающий на японца?» Я ответил: «Этот небольшой человек—будущий премьер-министр Франции».

С того дня, как Поль Рейно женился на Жанне Анри-Робер, дочери выдающегося адвоката и подруге детства моей жены, я с интересом следил за его жизненным путем. Я считал его одним из проницательнейших наших политиков и в то же время человеком большого мужества. Мне не раз приходилось наблюдать, как он, вопреки собственным интересам, отстаивал мысли и идеи, которые казались его избирателям ужасными. Только у него одного хватило храбрости потребовать, во время обесценения английского фунта, девальвации французского франка, — последующие события подтвердили неизбежность этого мероприятия. Единственный среди государственных деятелей, он внимательно изучал идеи полковника де Голля о моторизации армии и провел кампанию за создание сильных танковых дивизий. В момент, когда французская молодежь была оставлена на произвол судьбы, он написал книгу, которую озаглавил: «Молодежь, какую судьбу ты желаешь Франции?»

Незадолго до войны он был поставлен во главе министерства финансов, при обстоятельствах, когда его предшественники отчаивались в возможности изыскания кредитов для Франции. В несколько недель ему удалось собрать для государственной казны миллиарды франков золотом. Рейно нравился мне, когда, зажегшись какой-нибудь идеей, он поднимался, засовывал руки в карманы, откидывал голову назад, чтобы вытянуться во весь свой небольшой рост, и начинал говорить образными и резкими предложениями, голосом, который звучал, словно удары молота. «Боевой петушок», — говорили мы, и мы надеялись, что он будет сражаться за правильные вещи.

Но этот задорный ум, эта дерзкая самоуверенность, резкая и блестящая логика и неизменный вид превосходства при разговоре с партнером, не подкованным в финансовых и хозяйственных вопросах, очень сильно раздражали многих политиков и в особенности Даладье.

Даладье не уступал Рейно как оратор, но его стиль не был таким триумфальным, агрессивным и блещущим всесторонним знанием предмета, как у его соперника. Это был простецкий стиль, в нем звучали ноты задушев-

ности и тревоги. Когда Даладье говорил с французским народом о войне, мелкие торговцы, рабочие, крестьяне и вообще все слушавшие его чувствовали, что этот печальный тон, эта тяжелая экспрессия и сердечная преданность делу мира превращают премьер-министра в близкого друга всех французов. Эдуард Даладье был когда-то преподавателем истории, и в истории Франции, как и в глубине своего честного сердца, он черпал страстную преданность своей стране. Все это было достойно восхищения. Но Даладье вредили два его больших недостатка: крайняя подозрительность, которая заставляла его не доверять никому из своих коллег, и слабость воли, которая временами доходил у него до болезненных размеров. Иногда Даладье впадал в ярость и колотил кулаком по столу. Его коллеги утверждали, что кулак Даладье издает пустой звук. «Бархатная рука в железной перчатке», — любили они говорить. Но действительный характер Даладье был неизвестен широкой публике, она видела только его сильную, широкую фигуру, называла его *le taureau de la Camargue*<sup>1</sup> и верила в его прямоту.

— Каким должен быть настоящий человек, который мог бы заменить Даладье? — спросил я однажды у Рейно.

— Даладье такой, каким его представляет себе французский народ, — ответил он мне.

Импульсивная недоверчивость Эдуарда Даладье привела к вражде между ним и Эдуардом Эррио, и партия радикалов из-за борьбы двух Эдуардов была расколота на два лагеря. В одной из комедий Тристана Бернарда выведен персонаж, которого его друзья называют «Triple-raw». Он настолько не знает, чего ему хочется, что в день своей свадьбы он колеблется, идти ли ему в церковь, или нет. «Даладье — это Triple-raw», — говаривал Рейно, и эта сторона его характера, повидимому, объясняет, каким образом этот министр-радикал мог стать основателем Народного фронта и вскоре за этим — надеждой консервативной буржуазии. Даладье в свою очередь говорил о Рейно: «Стоит ему заговорить, как вид у него становится такой самовлюбленный, что мне поневоле мерещится у него за спиной пышный павлиний хвост».

---

<sup>1</sup> Камаргский бык.

Таковы были оба эти человека, которых долг призывал к совместному сотрудничеству в правительстве Франции, втянутой в ужаснейшую из войн. На деле же каждый из этих людей только старался раздражать другого. Эта взаимная неприязнь со временем превратилась в ненависть, когда между ними встали тени двух женщин. Я бы не стал касаться этой на первой взгляд столь тривиальной стороны той ужасной трагедии, жертвой которой была Франция. Но факты эти в основном уже общеизвестны, и к тому же несомненно, что частная жизнь некоторых государственных деятелей оказывает влияние на их общественную жизнь. Было бы неверно, совершенно неверно утверждать, что французские нравы в 1939 году свидетельствовали о круговой испорченности. Миллионы добрых семейств вели простую и скромную жизнь. Но это не относится к трем тысячам лицам в Париже, которые, по словам Байрона, «считают себя правителями мира на том основании, что они поздно ложатся спать». Большинство этих людей не придавало значения своим сентиментальным и эротическим интрижкам, но события показали, что эти интрижки несли в себе известную опасность для народного благополучия и что «человек, который хочет быть королем», должен, в первую очередь, сам подчиняться дисциплине и быть господином своих страстей.

После смерти жены Даладье нашел свою Эгерию в лице маркизы К. Эта кокетливая и красивая женщина, белокурая и еще моложавая, любила власть и имела злополучную слабость к хозяйственным и политическим теориям. Но она умела держаться в тени. Она никогда не афишировала перед всем светом свою близость с великим человеком, а ее тайное влияние не было слишком ощутительным.

С другой стороны, подруга Поля Рейно, графиня де П., была чуть сумасбродной, назойливой и неуравновешенной женщиной, постоянно во все вмешивавшейся. Как показали события, ее вмешательство было весьма вредным. Однажды, когда я в присутствии Рейно стал критиковать одно крайне сомнительное политическое назначение, исходившее от Даладье, Рейно сказал:

- Это был не его выбор, это был ее выбор.
- Это не оправдание, — ответил я.
- Ах, — вздохнул он, — вы не представляете, на что

только не способен человек, зверски поработавший целый день, чтобы хоть вечером вкусить мир и спокойствие.

Я подумал, что Бальзак записал бы это выражение.

С началом войны тщеславие стало доминирующей чертой характера графини де П. Она не удовлетворялась тем, что Поль Рейно остается министром финансов, она во что бы то ни стало решила сделать его премьером. Во всех салонах Парижа она только и говорила, что о недостатке энергии у Даладье, о его бездеятельности и лени, и давала всем понять, как необходимо, чтобы его заменил Рейно. Разумеется, все это в тот же вечер передавалось Даладье, и в соответствии с этим росла и его ненависть к Рейно. Одно время дошло даже до того, что оба эти человека, члены военного кабинета, перестали разговаривать друг с другом. Это была нелепая и неслыханная ситуация, угрожавшая стране опасными осложнениями.

Для меня лично, проводившего все свое время в армии, не было ничего более интересного, чем встречи с Рейно во время моих побывок в Париже. Блестящий и желчный собеседник, он лучше, чем кто-либо, мог меня проинформировать о политическом положении. Так это и было 19 марта 1940 года, когда он между двумя заседаниями палаты, пришел к нам поужинать. Это был тяжелый день для кабинета Даладье. Поражение Финляндии создало в палате исключительно возбужденное настроение, и Даладье был подвергнут резкой критике за свою медлительность. Возможно, что критика эта и была несправедливой, так как было бы трудно, если не сказать невозможно, организовать экспедиционный корпус для Финляндии. Мало того, вполне вероятно, что такое предприятие кончилось бы катастрофой. Но депутаты потребовали тайного заседания, которое продолжалось весь день и должно было опять открыться в 10 часов вечера.

— У бедняги Даладье был плохой день, — сказал нам Рейно, когда он заглянул к нам в восемь часов. — Я несколько не удивлюсь, если он полетит еще этой ночью.

— А кто же будет его преемником? — спросила моя жена. — Не вы ли?

— Все зависит от президента республики, а также и от обстоятельств, при которых будет свергнут кабинет Даладье, — ответил Рейно.

— Если вам будет поручено сформировать правительство, — сказал я, — вы должны обеспечить себе поддержку Даладье. Его популярность в стране все еще велика.

— Да, — ответил Рейно, — потому что страна его не знает.

— Возможно, но все же это так. У вас большие способности, но за вами нет партии, на которую вы могли бы опереться. Радикалы сохраняют верность Даладье, а правые, к которым вы и сами принадлежите, также благоволят к Даладье, потому что все вы ведь презираете правых политиков и не стараетесь даже скрыть это.

Рейно улыбнулся и сказал, что если президент поручит ему сформировать кабинет, он сохранит Даладье в должности военного министра. К 10 часам он опять вернулся в Бурбонский дворец. В эту ночь, как и ожидал Рейно, Даладье был свергнут. Президент Лебрэн призвал Рейно, который, не задумываясь, дал согласие на формирование правительства. Но перед лицом выпавшей ему трудной задачи этот столь проницательный человек обнаружил свое полное незнание с общественным мнением и такое же отсутствие всякого чутья. При представлении нового кабинета парламенту Рейно с огромным трудом удалось добиться большинства в один голос. Парламент не желал его и явно сожалел о свержении Даладье. Рейно почувствовал эту атмосферу враждебности, и это поколебало его обычную самоуверенность. Речь, с которой он выступил, производила плачевное впечатление.

Назавтра я возвратился в Аррас, где я нашел всех своих французских товарищей возмущенными новым составом кабинета. Такой состав казался им сознательным вызовом общественному мнению. В условиях военного времени непопулярность правительства среди большей части населения была тревожным симптомом. Я долго не виделся с Рейно после того, как он стал премьер-министром. Из Арраса я вместо поздравления процитировал ему в письме выражение Барреса: «В мирное время нацию представляет парламент, но в военное время — армия». К этому я добавил: «Не теряйте же с нею связь».

С самого начала войны Поль Рейно был враждебно настроен по отношению к Гамелену. Он критиковал его бездеятельность и утверждал, что в армии он не поль-

зуется доверием. Это были вопросы, о которых мне трудно было составить собственное мнение. Верно, что в сентябре 1939 года Гамелен не предпринял энергичного наступления на линию Зигфрида, а ограничился осторожными операциями в Саарском бассейне. Его враги утверждали, что момент, когда большая часть немецких войск была занята в Польше, был самым подходящим для решительного наступления. На это Гамелен отвечал, что к началу военной кампании у союзников не было материальной базы для этой операции и что у них не было особо необходимых для этого самолетов и тяжелой артиллерии. Без такого материала наступление привело бы к большим потерям. «Я не хочу начать борьбу битвой у Вердена, — говорил Гамелен. — Франция страна с низкой рождаемостью, и в последнюю войну она понесла ужасающие потери. Еще раз пережить это ей было бы не по силам. Война, которую Франции предстоит вести сейчас, должна быть научной войной, и мы обязаны все предусмотреть, чтобы по возможности обойтись без потерь».

Признаюсь, его поведение казалось мне тогда вполне разумным. Человеку, не посвященному во все тонкости, трудно судить о военных способностях Гамелена. Во время битвы на Марне он был ближайшим сподвижником Жоффра, и ему принадлежит план маневра, который принес тогда победу французской армии. Он был образцовым офицером генерального штаба и потом, на поле битвы, прекрасным командиром дивизии. При первой встрече вас поражало в нем впечатление какой-то непроницаемости. Его короткие щетинистые усы, небольшие глаза и тонкий рот, лицо и движения, всегда сохранявшие полную сдержанность, казалось, преграждали всякий доступ в его внутренний мир. У него не было ни брызжущей живости Фоша, ни тяжеловесной гениальности Жоффра. Он говорил очень редко. Как-то еще до войны мне пришлось обедать с Гамеленом, и я обратил внимание, что он за все время не произнес ни одного слова. Он был вежлив и скромен. Офицеры его генерального штаба были очень преданы ему.

По отношению ко мне Гамелен всегда был чрезвычайно предупредителен. Когда он впервые прибыл в главную квартиру генерала Горта и встретил меня в форме, он сказал:



— Как, вы в вашем возрасте все еще лейтенант?

— Я лейтенант еще с прошлой войны, господин генерал!

— Двадцать лет без повышения! — сказал он смеясь. — Это никуда не годится. Я вам присвою чин капитана.

Когда Гамелен в следующий раз приехал в британскую ставку, я все еще был лейтенантом. Он выразил удивление.

— Что это значит? — спросил он полковника Птибона. — Я ведь вам поручил позвонить в военное министерство и сказать, что Андре Моруа производится в капитаны.

— Что я и не замедлил сделать, господин генерал, — отвечал полковник. — Но есть одно препятствие. По уставу необходимо пройти два учебных сбора. Господин Моруа прошел только один.

Тогда генерал Гамелен обратился к генералу Гортю:

— Оказывается, все сопряжено с трудностями. Но все же я не предполагал, что главнокомандующий должен потратить столько усилий, чтобы произвести человека в капитаны!

Когда я, наконец, получил производство, Гамелен прислал мне дружескую записку: «Наконец-то! Но я не решаюсь поздравить вас с этим запоздалым производством». Он пригласил меня посетить его в Венсеннском замке. В моей памяти живо запечатлелся обед в сводчатом зале замка, на котором, помимо личного штаба Гамелена, присутствовал также генерал Ногес, командующий войсками в Северной Африке, и Брюжер, посланник в Белграде. Разговор вертелся вокруг деловых вопросов. Генерал Ногес говорил о нуждах своей армии, потом Брюжер завел речь о военных заказах, размещенных Югославией во Франции и оставшихся невыполненными. Гамелен отвечал обоим точно и ясно, обнаружив исчерпывающую осведомленность. Ко мне он обратился с вопросами о 51-й британской дивизии, которая была на пути в Саарскую область. Потом разговор переключился на Французскую академию и на издаваемый ею словарь, и Гамелен сказал, обращаясь ко мне: «Что нам нужно, — это имя для солдат этой войны. Солдаты 1914 года называли себя *poilus*, но солдаты 1940 года еще ждут своего крещения».

Брюжер спросил, скоро ли он ждет немецкого наступ-

ления. «Да, — ответил генерал Гамелен, — все указывает на это. Наши летчики и агенты устанавливают признаки подготовки: это — массирование артиллерии, накопление боеприпасов, эвакуация гражданского населения. Разумеется, все это может быть и военной хитростью. Но Геринг вчера произнес речь, в которой он предсказывает важные события, а он всегда в таких случаях говорит правду. Возможно, что предстоит большое наступление».

Спокойствие, с которым он ожидал этого удара, укрепляло доверие к нему. Каждый невольно говорил себе: «Да это Жоффри, его ничто не берет».

Но Поль Рейно не разделял его веры. «Почему у нас два главнокомандующих? — спрашивал он. — Раз генерал Жорж командует нашими армиями, то с генерала Гамелена хватит роли начальника генерального штаба и обороны страны».

## V

Разногласия между премьер-министром и генералиссимусом были не столько личного характера, сколько вытекали из столкновения двух различных военных теорий. С самого начала кампании Гамелен был сторонником обороны и выигрыша времени, в то время как Рейно надеялся стать человеком наступления и действия. «Генерал, остающийся в обороне, проигрывает все свои битвы», — говорил он. Премьер-министр, пришедший к власти с обещанием вести войну с «нарастающей энергией», он чувствовал себя обязанным заняться большими проектами. Но возможности были крайне ограничены. После своей первой поездки в Лондон он настоял на том, чтобы британское правительство установило минные поля в норвежских территориальных водах. Немного позднее он раскопал в актах министерства иностранных дел проект соглашения с Англией, в котором содержалось обоюдное обещание, что ни одна из сторон не заключит сепаратного мира, — план, на который Даладье все время не давал согласия.

Потом Рейно занялся бельгийским вопросом. Следует ли для вступления в Бельгию ждать просьбы о помощи от бельгийского правительства? Рейно пытался добиться ясности в этом вопросе. «Вы с нами или против нас? —

спрашивал он у бельгийских министров. — Если вы с нами, то надо совместно торопиться с усилением обороны наших границ. Если же вы против нас...»

Генерал Гамелен был резким противником такой позиции, так как он думал, что это может привести к тому, что 25 бельгийских дивизий попадут в лагерь врага. Дело дошло до бурных сцен между премьером и главнокомандующим. Рейно еще в апреле хотел заменить Гамелена генералом Жоржем, но против этого был Даладье, бывший в то время военным министром. Он угрожал своей отставкой. Рейно не решился принять его отставку.

Личные позиции Рейно, казалось, усиливались. Британская морская победа у Нарвика произвела большое впечатление во Франции, и престиж Рейно, сторонника норвежского проекта, значительно вырос. «Путь железа нарушен», — заявил он 20 апреля в палате депутатов. И если за несколько дней до этого он получил в палате большинство в один голос, то сейчас палата единодушно поддержала его. Это казалось мне благоприятным симптомом. Но один сенатор, которого я встретил в тот вечер, объяснил мне с коварным удовлетворением, что это ровно ничего не значит. «Вы не понимаете парламентской закулисной игры», — сказал он мне тоном снисхождения. — У Рейно есть противники, которые приложили немало усилий, чтобы добиться единогласия. Единогласие в данном случае безлично, национально, патриотично; другое дело, если бы это было сильное большинство, — тогда бы это означало личный успех».

На следующий день меня принял Рейно. Засунув руки в карманы и расхаживая взад и вперед по своему кабинету на Кэ д'Орсэ, он в звучных фразах обрисовал мне ситуацию, при которой он принял на себя руководство правительством. Слушая его, я испытывал ужас.

— Танки, — сказал он, — существуют только на бумаге. Беспорядок был настолько велик, что пушки и пулеметы, крайне необходимые армии, бесполезно лежат в арсеналах. У немцев было двести дивизий, возможно даже двести сорок, в то время как у нас было только около ста. Даладье своей бездеятельностью срывал все реформы и делал невозможным управление.

— Все же, — заметил я, — Даладье человек, который

безусловно любит свою страну. Он так красноречиво говорит об этом по радио, что этому невольно веришь.

— Да, — ответил Рейно, — я верю, что он хочет победы Франции, но еще больше ему хочется видеть мое поражение.

Это страшное, высказанное со всей серьезностью, но едва ли справедливое мнение показывает всю глубину пропасти, которая разделяла этих людей.

Я вновь встретил Поля Рейно 6 мая и нашел его в нервном и подавленном состоянии. На его столе стояли три телефона. Один из них связывал его с министерством, другой — со всем внешним миром, а третий с мадам де П. Этот телефон звонил непрерывно. Рейно снимал трубку, слушал секунду и отвечал: «Да, да, разумеется... Ну, ясно... Но я прошу вас, дайте мне возможность работать...» Наконец он предпочел совсем не отвечать.

Норвежская экспедиция окончилась плохо. Она впервые показала сокрушительное превосходство материальной части, которую имела в своем распоряжении германская армия. Энтузиазм величайшего оптимиста тускнел, когда становилась очевидной разница между хорошей подготовкой какого-либо действия, когда предусмотрены и разработаны все мелочи, и скороспелой импровизацией, когда храбрые, но плохо вооруженные солдаты, которым в особенности нехватало зенитной артиллерии, оказывались брошенными под бомбы и пулеметы вражеской авиации.

Ответственность за недостатки в подготовке операции, которые привели к катастрофе, Рейно возлагал на своих противников. «Они скрыли от меня важные вещи, — рассказывал он мне. — В особенности письмо адмирала Дарлана, в котором описываются все трудности этого предприятия и которое, очевидно, удержало бы меня от него. Но сегодня вечером я буду говорить в сенатской комиссии и скажу там всю правду». К этому времени разногласия между Рейно и Даладье были так велики, что президент Лебрен вынужден был вмешаться и помирить их.

10 мая в 9 часов утра я собирался поехать в деревню, чтобы провести там свой отпуск. В 8 часов 30 минут я включил радио и услышал о вторжении в Бельгию и Гол-

ландию. Большое наступление началось. Все офицеры, бывшие в отпуску, призывались обратно, и я отправился на Северный вокзал, чтобы вернуться в Аррас. Поезд был так переполнен английскими и французскими солдатами, что пришлось прицепить много добавочных вагонов. Рядом со мной в проходе, у открытого окна, капитан пехоты давал последние указания своей жене: «Так не забудь же, детка! Деньги в левом ящике письменного стола, а мелочь в ночном столике. Ключи от гаража и машины лежат на шкафу в моей комнате. Пусть Берта уложит и пересыплет нафталином мой выходной костюм. Велосипед Жана пора смазать, он скрипит. Ты не заметила, как пролетели эти два дня? Да, но подумай о том, что их могло бы и вовсе не быть. А когда мы задержим этих молодчиков, может быть, это и будет конец войны».

Маленькая женщина храбро улыбалась. Это неправда, когда говорят, что перед наступлением моральное состояние населения было плохим. В высших и лучше осведомленных кругах это, может быть, так и было, но не среди масс, которые все еще полны были надежды и которым радио восемь раз в день отмеряло очередную дозу иллюзий.

Сообщение о германском прорыве у Седана было для парижан страшным и совершенно не предвиденным ударом. Они были готовы к мысли об отступлении; с этим их научила мириться прошлая война. Но они верили, что продвижение врага будет быстро задержано. 17 мая генерал Гамелен сообщил правительству, что немецкая мотодивизия продвигается к Лаону и что Париж может чувствовать себя в безопасности только одну ночь. В этот день в министерствах царила паника.

На следующее утро парижане узнали, что немцы повернули к морю и что Париж может на несколько дней вздохнуть. Теперь Рейно нашел в себе храбрость нанести удар, который он давно готовил. Чтобы освободиться от Гамелена, которого он считал ответственным за поражение и которого все время защищал Даладье, он взял себе портфель военного министра, а Даладье поручил министерство иностранных дел. Кто должен был стать главным командующим? Рейно давно уже носился с мыслью о генерале Жорже. Но это было бы ударом для Гамелена.

Между Жоржем и Гамеленом были примерно такие же отношения, как между Рейно и Даладье. Один английский генерал как-то сказал: «Они так воюют между собой, что им некогда воевать с немцами». Другой возможностью было назначение генерала Ногеса, который продолжительное время успешно действовал в Марокко и во всей Северной Африке. Из более молодых генералов популярностью пользовались Хюнтцигер и Жиро. Хюнтцигер слыл человеком большого ума, и армия его оказала упорное сопротивление неприятелю. Жиро был блестящим полководцем, но многим внушала опасение его смелость. Впрочем, дело решало то, что в то время Жиро уже был в плену у немцев.

Рейно решил назначить генерала Вейгана, командовавшего Восточной армией, и срочно вызвал его в Париж. В 1918 году Вейган был правой рукой генерала Фоша в момент, когда Фош возглавил кампанию, которая всеми считалась проигранной, и обратил поражение в победу. Естественно, что человек с таким опытом был теперь как нельзя более кстати. Одновременно Рейно предложил маршалу Петэну пост вице-премьера. В глазах многих французов маршал Петэн пользовался большим престижем. Он был одним из двух оставшихся в живых маршалов первой мировой войны. Назначением маршала Петэна Рейно хотел усилить свою позицию и, используя авторитет последнего, поднять настроение масс. Но он сильно просчитался, когда искал в Петэне только имя и популярность; он сам в нем нашел себе преемника и судьбу.

Злополучная борьба между Рейно и Даладье, наконец, окончилась 6 июня, когда Даладье был окончательно выведен из правительства. Человек, бывший за несколько месяцев до этого господином Франции, исчез во время шторма, надвинувшегося на страну, и никто не заметил его исчезновения, никто о нем не пожалел.

Между тем генерал Гамелен поселился в нижнем этаже тихого домика на Авеню Фош, выходявшего в небольшой садик. Бывший генералиссимус теперь носил гражданское платье и целыми днями был занят тем, что сам печатал на машинке меморандум для оправдания своих действий. Одна дама, знавшая семью Гамеленов в дни ее славы и остававшаяся им верной в эти тяжелые дни, посетила перед отъездом из Парижа мадам Гамелен. Она нашла ее совершенно спокойной. «Генерал здесь, со мной, — ска-

зала она. — Он не думает о себе, все его мысли о Франции и о наших солдатах. Он высоко ценит генерала Вейгана и надеется, что ему удастся задержать противника». Потом она показала на соседнюю комнату и с выражением любящей и преданной жены сказала: «Вы слышите? Это он печатает на своей пишущей машинке».

Таковы были самые серьезные из личных конфликтов, которые затрудняли руководство войной. Легко возразить, что такие столкновения бывали и раньше, что ревность и честолюбие — это страсти, присущие всем временам, и что во время войны 1914 года Клемансо и Пуанкаре тоже ненавидели друг друга, а между тем Франция побеждала. Это верно. Но в 1914 году душевное благородство и безраздельный патриотизм взяли верх над этими страстями. Пуанкаре не любил Клемансо, но он с ним лояльно работал. А в 1940 году Франция была так растерзана внутренними разногласиями, политическая ненависть была так сильна, а политические нравы так низко пали, что ничто больше не сдерживало личную ненависть. Конечно, та роль, которую играли отдельные личности, не была главной причиной поражения. Как мы уже показали, этой причиной была неподготовленность союзников в военном, дипломатическом и военно-хозяйственном отношениях. Но споры министров и отсутствие вождя, который мог бы объединить нацию, отняли у армии ее последние шансы.

## VI

В начале мая я поехал на французский фронт, чтобы посетить 9-ю армию, которой командовал генерал де Корап. Несколькими днями позже эта армия распалась под страшными ударами немецких танковых дивизий. Генеральный штаб этой армии был расположен в маленьком базарном местечке Вервейн, где офицеры с невозмутимой пунктуальностью чиновников шествовали в свои канцелярии, наполняя улицы сонного городишка грохотом шагов. В день приезда я писал жене: «Я здесь нашел хороших людей, но что-то уж очень они старомодны и на них лежит вековая пыль...»

Генерал Корап был застенчивым человеком без всякой военной выправки и с склонностью к толщине. Когда ему приходилось надевать свои обмотки, это стоило ему уси-

лий. Собеседник он был интересный, но создавалось впечатление, что он живет далеким прошлым. Он рассказал мне, как во время фашодского инцидента он служил в армии молодым лейтенантом и как он 15 лет тому назад, во время восстания в Марокко, захватил в плен Абд-эль-Керима. Это была вершина его карьеры. По сравнению с той задачей, которая на этот раз ожидала генерала Кораса, эта вершина была словно кучка земли, вырытой кротом.

Я навелstil также войска под Фурмие и Шарлевиллем, и меня поразила их малочисленность. Когда я возвращался в Вервейн, у меня было чувство, что я еду по покинутой стране. В то время как моя машина мчалась от одной пустынной деревни к другой, у меня возникла неотвязная мысль о вторжении неприятеля. Ведь стоит такой армии миновать наши границы, как она докатится до самого Вервейна, не встретив на своем пути сколько-нибудь серьезного сопротивления. А что ее ожидало у ворот этого города? Деревянные заграждения, которые могли быть опрокинуты ребенком, часовой с примкнутым штыком да полицейский. Этим не удержишь танковую дивизию.

Дислокация войск союзников ни в какой мере не соответствовала ни новым военным требованиям, заявившим о себе в польской кампании, ни обычным неизменным требованиям всякой войны. Необходимость прикрыть очень длинную границу вынудила армейское командование создать своего рода пояс от Дюнкерка до Ментона. Это линейное расположение войск было пережитком войны 1914 года. Тогда эти позиции можно было очень долго удерживать, так как у противника не было достаточных средств для прорыва наших линий. Но всеми большими полководцами в истории она отвергалась как исключительно опасная. Все они рекомендовали эшелонированный в глубину порядок и, в первую очередь, создание подвижных резервов, которые, в случае прорыва противником первых линий, были бы в состоянии предпринять контратаку или закрыть появившуюся брешь. Но так как наши силы были недостаточными, то в 1940 году у нас не было никаких подвижных резервов.

Наши лучшие войска стояли вдоль границ. Стоило врагу прорвать эту линию, как перед ним уже не оказывалось никаких серьезных препятствий. Конечно, ему встретятся



на пути многочисленные населенные пункты, но кто же станет их защищать? Мысль о фронтальном наступлении, которое протекает очень медленно, максимум по километру в день, настолько глубоко внедрилась в некоторые головы, что никто не думал о необходимости что-то сделать для защиты Дуэ, Вервейна Аббевиля и Амьена.

Полковники и генералы, командовавшие войсками этих местностей, лежащих так близко к фронту, были очень любезными, старыми господами, давно уволившимися в отставку, но вновь призванными после начала войны для того, чтобы получить назначения, считавшиеся в армии административными синекурами. Эти почтенные бюрократы, тонувшие в потоках бумаги, никогда не задумывались над тем, что они предпримут, если вражеские танки или мотоциклы с пулеметами окажутся у ворот их города. Положение было тем более серьезным, что эти местности были за фронтом, а железные дороги, которые их связывают, представляли коммуникационные линии наших армий.

Британская армия могла снабжаться через дорогу Амьен — Аррас — Дуэ — Лилль или в крайнем случае по линии Булонь — Аббевиль. Если же эти линии прервать, то армия оказалась бы полностью отрезанной от своих баз. Ее запасы снабжения, снаряжения и боеприпасов находились в Гавре, Шартре и Нанте, ее склады находились в Аббевиле, Сен-Поле и Аррасе. Что должно было случиться, если бы противник прорвал эту линию фронта и перерезал коммуникационные линии между армией и ее складами? Очевидно, войска через несколько дней оказались бы без продовольствия и боеприпасов. Что же сделало армейское командование для предупреждения этой опасности? Что было предпринято для задержки наступления, которое могло последовать не во фронтальном направлении, а с фланга? Да ровно ничего.

Если же сознательно решено было поставить судьбу союзников на единственную карту—фронтальную линию, то ее надо было удерживать любой ценой. Она, правда, была не слишком сильной, но все же она существовала. В марте и апреле большие машины, привезенные из Англии, выкопали на английском фронте немного более удовлетворительные противотанковые рвы, чем те, которые причинили мне столько беспокойства в октябре. Но истинного

своего предела человеческая глупость достигла тогда, когда войска, в течение восьми месяцев строившие укрепления, при первом же движении противника бросили свои позиции, укрепленные с таким трудом, чтобы в открытом поле встретить случайности войны.

Месяцами я видел, как генеральные штабы приводили в порядок планы и изучали «вступление в Бельгию», с тем чтобы выиграть хотя бы 5 минут в тот день, когда бельгийский король обратится к нам за помощью. Было высчитано, что сопротивление бельгийской армии даст нам время занять линию от Антверпена до Намюра. Генерал Жиро должен был немедленно продвинуться до Бреды. Немцы в точности знали, какие шаги мы предпримем в случае наступления через Бельгию, так как мы любезно разыграли у них на глазах нечто вроде генеральной репетиции.

Это произошло следующим образом. Однажды в Бельгии приземлился германский самолет. Его пассажирами были офицеры генерального штаба, которые имели при себе исчерпывающий план оккупации Бельгии с указанием точного числа, на которое намечалось выступление. Они для виду пытались сжечь эти документы, но сами же позаботились о том, чтобы этого не случилось. Нам немедленно обо всем сообщили. Британская армия была переведена на состояние готовности № 3, потом № 2 и, наконец, № 1. Это означает, что каждый человек должен быть готов в ближайшие два часа выступить в поход. Потом начались огромные передвижения войск, к фронту были подтянуты все резервы, а немцы все это наблюдали со своих разведывательных самолетов и мотали себе на ус, и сами, возможно, не могли надивиться тому успеху, которым увенчалась их не новая военная хитрость.

Нечего и говорить, что никакого наступления в назначенный день немцы не предприняли. Никакой просьбы о помощи со стороны бельгийцев не последовало, и наши дивизии возвратились на свои исходные позиции израсходовав огромное количество бензина. Генерал Мак-Фарлан, хорошо знающий германскую армию, единственный англичанин, не питавший никаких надежд на благоприятный исход войны, был убежден, что немцы обязательно нападут на Голландию. «Сто. десять германских дивизий все еще стоят у Аахена, — сказал он. — Их там даром держать не станут».

Вместе с английскими колоннами я 11 мая перешел бельгийскую границу. В очаровательных старинных городках и чистеньких деревушках женщины стояли у своих крылечек, руки их были полны цветов, и они протягивали их солдатам. Один из английских военных корреспондентов в лирических тонах описал это триумфальное вступление в страну, в ответ на что редакция призвала его к трезвой действительности, прислав ему телеграмму: «Пожалуйста, поменьше цветов и побольше фактов». Ему было нетрудно последовать этому указанию. Уже на второй день цветы исчезли и со всей жестокостью заговорили факты.

Женщины бельгийских деревень все еще стояли у своих крылечек, но теперь они со страхом всматривались в небо. Немецкие летчики пока еще причинили мало разрушений. Здесь и там в какой-нибудь деревушке были разрушены два-три дома. В другом месте летчик метил в железнодорожный переезд, и пострадала будка стрелочника. Кое-где на открытой местности пылали отдельные случайные строения, монастырь или церковь. Все это не казалось мне серьезным. Но я был неправ. Целью немцев было терроризовать гражданское население, и эта цель была ими полностью достигнута. Позже мы установили, что в каждой деревне был свой представитель «пятой колонны» — немец или бельгиец. Его задачей было сразу же после бомбардировки обратиться к жителям со словами: «Немедленно уезжайте, пока еще есть время! Деревня будет скоро разрушена и за летчиками сразу же последует Гестапо. Известно ведь, как они действовали в Польше!» Население слушалось этих людей. Целые поселения, охваченные паникой, обращались в бегство вместе со своими пасторами, бургомистрами и местными чиновниками в полном составе. Дороги были забиты беженцами. Впереди двигались автомобили состоятельных людей, управляемые шоферами в элегантной ливрейной форме, за ними следовали машины попроще, владельцы которых сами сидели за рулем, — обычно сверху к машине привязывали матрац, — дальше тянулись крестьянские повозки, нагруженные целыми семьями, а позади катили отряды, батальоны, полчища велосипедистов.

Ничто не действует так заразительно, как бегство. Едва такой поток достигал какого-нибудь населенного пункта, как он наводнял его и целиком увлекал за собой. Наши моторизованные колонны, продвигавшиеся в первый

день в образцовом ярядке, теперь безвольно носились в этом море человеческих тел. Никогда во время войны 1914 года не было такого беспорядка, даже во время прорыва фронта у Амьена. Почему? Потому, что страх был теперь неизмеримо больше, потому, что все находились под впечатлением страшных рассказов о Германии, которые упорно распространялись в народе — и, конечно же, не без умысла, — оказывая свое действие и на таких людей, которые были безусловно преданы своей стране, так что всех гнал этот страх перед чем-то неизъяснимо ужасным, и потому, что радио всполошило и крестьянство, которое в 1914 году пребывало в спокойствии неведения, и, наконец, потому, что германская авиация имела такое численное превосходство, что у этих несчастных создавалось впечатление, будто они брошены на произвол судьбы.

Чтобы задержать этих людей в их деревнях, нужна была большая решительность и энергия со стороны военных и гражданских властей. Но вместе с тем необходима была и какая-то видимость оборонительных мероприятий: там и здесь надо было установить на крышах некоторое количество пулеметов и выпустить в небо Бельгии побольше самолетов, принадлежащих союзникам. Но, к сожалению, слишком часто бегством были захвачены и местные власти, пулеметов же и самолетов не было. Все стремились прочь, не ведая куда и зачем, охваченные страхом и безнадежностью.

К этому ужасающему беспорядку, мешавшему проведению всяких распоряжений, прибавились еще обстоятельства, помешавшие своевременному изданию этих распоряжений. И дело было не только в том, что главнокомандующий и 15 генералов были смещены в самом разгаре военных действий, но и в том, что генерал Вейган, выехавший из Сирии, вынужден был задержаться в пути из-за шторма. Северная армейская группа, на которую обрушилась вся мощь вражеского наступления, потеряла в самый критический момент своего энергичного и сведущего командира, генерала Бийотта, погибшего во время автомобильной катастрофы. Назначенный на его место генерал Бланшар также был образцовым командиром, но, приняв командование при самых неблагоприятных обстоятельствах, он уже не мог установить достаточной связи со своими войсками.

Если обозреть всю неразрывную цепь несчастных случаев и роковых обстоятельств, без которых невозможна была бы такая быстрая и полная катастрофа, то невольно вспомнятся классические трагедии, в которых судьба злополучного человека, навлекшего на себя гнев богов, рисуется нам сплетением самых невероятных совпадений и случайностей.

Прорыв произошел с молниеносной быстротой и полностью удался. Он был результатом неожиданности, террора и массовости действий. Тысячи огнеметных танков и самолетов были брошены на армию Корапа. Даже у самых храбрых солдат, очутившихся перед такой грозной силой, какой они себе раньше и представить не могли, опускались руки. Они могли бы оказать сопротивление, если бы располагали эффективными противотанковыми орудиями. Можно представить себе ужас, охвативший всех, когда было установлено, что снаряды наши малы калибром и не пробивают броню немецких танков. Заводы Шкода соорудили такие броневые плиты, о которых раньше и не мечтали, и наши снаряды так же беспокоили эти танки, как стрелы лилипутов беспокоили Гулливера. Наши артиллеристы вскоре установили, что некоторые полевые орудия в нужном случае могут быть использованы для противотанковой обороны, но они могли играть роль только вспомогательной, а не органической обороны.

Все мы себя спрашивали, как удалось немцам форсировать реку Маас. Разве мосты не были взорваны? В английской армии рассказывали, что люди, которым было поручено произвести эти взрывы, были убиты парашютистами или шпионами, и в довершение всего оказалось, что взрывчатые вещества заготовлены в недостаточном количестве. К тому же «пятая колонна» настолько сильно содействовала продвижению немецких моторизованных соединений в Арденнах, что скорость, с которой они передвигались, опровергла все расчеты, и армия Корапа была форменным образом застигнута врасплох.

Бои за Марну видели немало примеров выдающегося героизма. Французские и английские летчики получили приказ во что бы то ни стало разрушить определенные

мосты. Две группы бомбардировщиков — англичан и французов — добровольно вызвались выполнить это трудное поручение. Они вылетели, держась на небольшой высоте, причем первыми летели французы, а за ними следовали англичане. Я никогда не мог узнать, как велики были потери французов, но я знаю, что из шестидесяти английских самолетов сорок не вернулись обратно.

Этот пример, как и тысячи других, показывает, что в армии союзников не было недостатка в храбрости. Неверно, когда говорят, что солдаты показали себя морально неспособными к сопротивлению. Точно так же, как микробы, неспособные одолеть здоровый организм, легко побеждают организм, ослабленный заботами и лишениями, так и элементы моральной слабости, в какой-то мере имевшиеся в нашей армии, начали быстро умножаться, как только для всех стало очевидно несоответствие нашего оружия. Победа и поражение — это привычка. Лейтенант де Юмилляк, прекрасный наездник и знаток лошадей, как-то в разговоре о норвежской экспедиции, сказал мне: «Нехорошо, что наш первый шаг в этой войне оказался неудачным. Молодой конь на первых скачках не должен оставаться позади, иначе это войдет у него в привычку, он потеряет веру в свои силы и будет считать свое отставание нормальным. Это наблюдение в такой же мере касается и армии. Победоносные войска воодушевляются внутренней силой, которая во много раз умножает силу их оружия. Войска же, потерпевшие поражение, теряют веру в себя».

После катастрофы у Седана начал распространяться миф о непобедимости противника. Многие пользовались им для оправдания собственной трусости. Панические слухи предвосхищали появление моторизованных колонн и расчищали им путь. Эти мчавшиеся на запад колонны обошли наши северные армии с тылу. Пытаясь выйти из окружения, британский генеральный штаб, к которому я все еще был прикомандирован, направился в Аррас. Город был наполнен слухами: «Немцы уже в Дуэ! Немцы достигли Камбрэ..!» Слухи эти вскоре оправдались, но в то время они не соответствовали действительности. Но достаточно было шепотка, который передавался из дома в дом и из лавки в лавку, чтобы тысячи мужчин, женщин и детей обратились в беспорядочное бегство и чтобы командующие вой-

сками отдавали приказы об отступлении к побережью, где, как впоследствии выяснилось, войска эти попали в ловушку.

Немецкие парашютные десанты в Голландии и Бельгии играли немаловажную роль, но страх перед ними в десятки раз увеличивал их эффективность. Только этим и можно объяснить то, что ничтожные по существу силы оказывались способными занять важные пункты. Небольшой отряд хорошо вооруженных мотоциклистов заезжал на железнодорожную станцию, расстреливал несколько человек из персонала и дезорганизовал движение.

Оборона Арраса показывает другой пример того, что может сделать небольшой отряд смелых людей. На всех подходах к городу, для защиты пулеметов и противотанковых пушек, были воздвигнуты баррикады из мешков с песком. Когда появились германские танки, их удалось задержать. Многие германские танки были частью выведены из строя, частью сгорели. Вражеская колонна вынуждена была обойти город, но действенное и мужественное сопротивление продолжалось еще добрую неделю, после чего отряд в полном порядке отступил к Дюнкерку.

Наличие множества таких гнезд сопротивления облегчило бы организацию контрнаступления, предусмотренного генералом Вейганом, и замкнуло бы брешь позади немецких моторизованных колонн. Беспорядок, вызванный беженцами, недостаток резервов, хаос на путях сообщений и дезорганизация работы штабов союзников, вносившаяся воздушными налетами противника, препятствовали выполнению этой операции. Быстрота, с которой германская агентура передавала свои сообщения, была поистине магической. Стоило только какому-нибудь генералу остановиться в одной из деревень, как немедленно появлялись вражеские летчики и начиналась бомбардировка.

Та молниеносная война, которая была описана итальянским генералом Дуэ и проведена немцами в Польше и которую у нас, в отношении армии, занимавшей хорошо укрепленные позиции, считали невозможной, стала возможной благодаря германскому превосходству в вооружениях, недостаточному количеству наших войсковых соединений, плохому эшелонированию их в глубину, а также и вследствие неосторожного, сумасбродного похода в Бельгию, который свел на-нет все значенье построенных нами за восемь месяцев укреплений.

## VII

В Амьене мы расстались с английскими товарищами. Здесь нас захлестнул неудержимый поток беженцев. Они наводнили весь город. Эти серые, словно выцветшие люди заполняли всю площадь вокруг вокзала. Примостившись на своих мешках, они сидели где попало, на тротуарах и на мостовой. Они начисто опорожнили кладовые съестных лавок, печи пекарен и полки бакалейных магазинов с той кропотливой беспощадностью, с какой могильные черви оглаживают остатки трупа. Только благодаря услугам Армии спасения мне удалось выпить чашку чаю. А потом я завернулся в одеяло и улегся спать.

В три часа утра полковник Медликотт, с которым я прибыл в Аррас, сообщил мне, что здесь оставаться опасно и что поэтому он направляется в Булонь. Он порекомендовал мне французских журналистов, прикомандированных к английской армии, сказав, что их надо доставить обратно в Париж. Сам он, к великому сожалению, не располагает необходимыми для этого транспортными средствами, — добавил полковник Медликотт.

Отдать этот приказ было легче, чем его выполнить. Немцы все приближались, и тысячи беженцев осаждали вокзал. Единственный поезд, идущий на Париж, был страшно переполнен. Не было никакой надежды попасть в пассажирский вагон, где в каждом купе сидело и стояло до двадцати человек. Наконец один расторопный военный комиссар порекомендовал нам забраться в багажный вагон, в котором увозились наличные деньги железнодорожной кассы и некоторых отделений Французского банка. Так, стоя между штабелями ящиков и преследуемые немецкими летчиками, возвращались мы в Париж.

Поездка, на которую в нормальное время уходит неполных два часа, продолжалась пятнадцать часов. На каждой станции нас осаждала новая волна беженцев. Полувоенная одежда наших журналистов, отличавшаяся от привычной военной формы, привлекала всеобщее внимание.

Я слышал, как люди передавали друг другу: «Везут парашютистов!»

Железнодорожный чиновник, сопровождавший багажный вагон, солидный, старый француз, сохранял невозмущен-



мое спокойствие. «Ничего не могу поделать, — говорил он беженцам, заслоняя всей своей фигурой дверь вагона. — Сюда никто не войдет. В вагоне деньги. Я имею приказ никого не пускать, и я никого не пушу. Нет, нет, дорогая, совсем я не бессердечен. Почему это вы все бежите? Потому что в вашу деревню угодила бомба? Велика важность! С 14-го и по 18-й год сколько при мне этих бомб падало! Я уж не говорю про торпеды и про заградительный огонь, а это вам почище бомб будет. И ведь никто же не бежал. Что это вы там говорите? Вы не солдаты? Ну, конечно же, разумеется, вы солдаты. В этой войне не солдат нет, все мы под огнем. Так разве вы не понимаете, что, забывая дороги и осаждая вокзалы, вы помогаете немцам и задерживаете наши войска?»

И в самом деле, наш поезд еле полз. Немецкие летчики пытались разрушить впереди нас путь. Но наш проводник не обращал на это внимания и только потихоньку пересчитывал свои ящики. У меня все еще оставалась какая-то надежда... Но когда я увидел страшный поток человеческих бедствий, заливший все от Амьена до Крейля, я почувствовал, что это катастрофа, которую больше невозможно предотвратить.

По приезде в Париж я составил докладную записку для Рейно, в которой указал на ряд необходимых, с моей точки зрения, мероприятий: это замена слишком старых командиров в прифронтовых пунктах более молодыми, запрещение гражданскому населению самовольно переезжать с места на место, организация защиты местностей от действия зажигательных бомб и т. д.

В военном министерстве меня принял дипломатический секретарь Рейно. «Подождите несколько минут, вас примет сам шеф», — сказал он мне.

И действительно, вскоре я был приглашен в кабинет премьер-министра, где передал ему свою докладную записку. Я нашел его в такой степени оглушенным всеми сыпавшимися к нему жалобами, что у меня пропала всякая надежда обратить его внимание на мои скромные предложения. Рейно казался кулачным бойцом, который еще пытается мужественно удержаться на ногах, но уже потерял равновесие и шатается, представляя легкую цель для решительного удара.

Я пробыл у него всего минуту, но все же успел спросить его: «Есть еще надежда?» — «До тех пор, пока больной дышит, — ответил он, — врач всегда отвечает родственникам, что есть еще какая-то надежда». Он стоял перед письменным столом, голова его была откинута назад, руки глубоко засунуты в карманы. Это была наша последняя встреча.

Назавтра я обратился к своим военным начальникам, которые не разделяли этого уныния. Они с похвалой отзывались об эшелонировании войск на линии Соммы и Эн. Генерал Вейган, — рассказывали они мне, — решил не создавать единой линии, а при необходимости пропускать немецкие танки, с тем чтобы потом отрезать их от пехоты и артиллерии. К сожалению, мы потеряли на севере наши лучшие дивизии, и новая линия была еще более жидкой, чем та, которую мы имели 10 мая.

3 июня 240 германских самолетов подвергли Париж бомбардировке. В этот день в Париже находился английский министр информации Дафф-Купер, и я вместе с двумя французскими министрами был приглашен к нему на обед в отель «Риц». Не успели мы сесть за стол, как раздался сигнал воздушной тревоги. Официанты немедленно спустились в убежище. Министры и сопровождавшие их чиновники оказались в затруднительном положении. Последовать за лакеями в убежище, по их представлению, значило бы проявить малодушие, но и перспектива заняться самообслуживанием за столом также не отвечала их представлению о собственном достоинстве. Решили сесть за стол, уставленный пустыми тарелками, и ждать конца событий под аккомпанемент канонады. Но тревога затянулась, беседа не клеилась на пустой желудок. Наконец один из секретарей позвонил в префектуру. Там сказали, что положение серьезное; горело министерство авиации, бомбы попали также на заводы Ситроена, было много жертв.

Когда я вернулся домой, дети рассказали мне, что видели эти самолеты. Они держались на большой высоте и в солнечных лучах казались роем пчел. Парижане несколько не испугались бомбардировки. Тогда я подумал, что германская угроза Лондону совсем не так ужасна, как говорят.

На следующий день было получено сообщение, что на всех фронтах Соммы и Эн немцы предпринимают новые

атаки. Так как генерала Горта и его штаба не было больше во Франции, то я попросил прикомандировать меня к английским воздушным силам. Просьба моя была удовлетворена.

Штаб-квартира находилась тогда в Труа. Меня принял вице-маршал авиации Плейфер. При знакомстве с многими высшими офицерами Royal Air Force<sup>1</sup> вас невольно поражает редкое, с трудом поддающееся описанию сходство между ними. Эти правильные черты лица и голубые глаза, производящие впечатление юности даже при седых волосах, это сочетание любезности и решительности, эта дружеская, но жесткая дисциплина, — вот черты, характерные для офицеров авиации.

По соседству с Труа я видел две кадровые эскадрильи самолетов «Харрикейн» и нескольких девятнадцатилетних юношей со светлыми волосами и глазами, голубыми, словно незабудки. Каждый из этих юношей имел в своем активе больше десяти побед, но мне бросилось в глаза ничтожное количество наличных самолетов. Англичане имели во Франции, по крайней мере в том районе, где я был, только несколько эскадрилий. По возвращении в Париж, где я натолкнулся на зловещее коммюнике, сообщавшее о моторизованных колоннах у Форж-лез-О и у ворот Руэна, я сообщил своему начальнику, полковнику Шифферу, свои впечатления и добавил:

— Я убежден, что англичане все же имеют большое количество боевых самолетов в Англии. Надо их заставить передать эти самолеты нам. Их судьба, как и наша, решается в этот момент.

— Вы должны поехать в Лондон, — ответил он, — и обратиться по радио к английскому населению со своего рода сигналами SOS. В Англии, повидимому, все еще не представляют себе того отчаянного положения, в котором мы находимся.

— Я с удовольствием поеду, господин полковник.

— Хорошо. Я согласую это с главной квартирой.

Главная квартира прислала капитана Эрманта, с которым у меня состоялась беседа. Было решено, что 10 мая я вылетчу на военном самолете в Лондон.

---

<sup>1</sup> Английская военная авиация.

Сведения поступали все более тревожные. Германские танки появились в Верноне, а потом и в Манте, у ворот Парижа. Правительство все еще продолжало уверять население, что столицу будут оборонять, но уже 9 июня, проходя по площади Согласия, я увидел, как матросы выносили архивы морского министерства и грузили их на огромные грузовики. 10 июня мне позвонил дипломатический секретарь Рейно Ролан де Маржери и сказал, чтобы я отправил жену на юг. Вместе с тем он сообщил мне, что правительство сегодня же переезжает в другое место. На мой вопрос, будет ли обороняться Париж, он ответил: нет.

В этот момент мне стало ясно, что все потеряно. Утратив Париж, Франция превратится в тело без головы. Война была проиграна.

В полдень я должен был быть на аэродроме. Перед этим моя жена и я решили посмотреть, возможно в последний раз, старые, любимые уголки Парижа. Никогда еще Париж не был так красив, как в этот день. Небо было бледно голубое, воздух чист и прозрачен. Полицейские, указывавшие путь нашему маленькому автомобилю, регулировали движение с обычной уверенностью.казалось, ничто не предвещает конца мира. Продавщицы в магазинах были, как всегда, любезны. У всех на глазах были слезы, но все выполняли свои обязанности, и никто излишне не распространялся о постигшем нас большом несчастье.

— Маленькие люди во Франции бесподобны, — сказала мне в этот день жена, — они простые и храбрые, как могут такие люди проиграть войну!

— Люди бессильны против машин, — ответил я, — нашим солдатам было приказано защищать определенную позицию, но эта позиция никогда не была атакована. Она была обойдена с тыла.

— И все же я не могу поверить, что немцы вступят в Париж, — настаивала моя жена.

За несколько дней до этого у нас зашел разговор о возможном вступлении немцев в Париж с одним из наших лучших друзей, хирургом Тьерри де Мартеlem. Он заявил нам: «У меня лично созрело решение: в тот миг, когда я узнаю, что они в городе, я окончу свою жизнь». Он

обстоятельно объяснил нам, что большинство людей не знает, как покончить самоубийством, и что они действуют поэтому очень неискусно. Другое дело хирург — револьвер не дрогнет в его руке, как и скальпель, он безошибочно поразит важный жизненный центр. Полусерьезно, полушутя он добавил: «Если и вы думаете, что лучше не пережить это несчастье, то я к вашим услугам».

В 10 часов вечера, когда я уже сидел в самолете и летел в Англию, моя жена, готовившаяся к отъезду, была вызвана к телефону. Это был Тьерри Мартель.

— Мне хотелось узнать, — сказал он, — в Париже ли вы еще.

— Андре послан с поручением в Лондон, а я уезжаю завтра утром, — ответила жена.

— Я тоже уезжаю, — сказал он тихо, — но много, много дальше.

Жена вспомнила разговор о самоубийстве и захотела отговорить его.

— Подумайте, сколько добра вы еще можете сделать, — сказала она. — Ваши больные, ваш персонал, ассистенты — все нуждаются в вас.

— Я не могу больше жить, — сказал Мартель. — В прошлую войну я потерял единственного сына. До сих пор я старался убедить себя, что он погиб за Францию. А сейчас гибнет сама Франция. Все, ради чего я жил, кончилось. Я не могу больше...

Жена снова стала уговаривать его, но он положил трубку.

25 июня, во время остановки самолета на Азорских островах, жена прочла в американской газете, что Тьерри Мартель покончил самоубийством в момент вступления немецких войск в Париж. Он сделал себе инъекцию стрихнина. Этот выдающийся хирург был великий джентльмен. Он зарабатывал огромные деньги и щедро жертвовал их на содержание больницы, в которых бесплатно лечились тысячи неимущих больных. Я знаю случай, когда он операцией, которой не мог сделать ни один врач, кроме него, спас от верной смерти человека, всю жизнь преследовавшего его ненавистью и ревностью. Он тысячу раз доказал свою отвагу и свое моральное мужество.

Это признание отважнейшего из людей в том, что жизнь стала для него невыносима, как нельзя лучше ха-

рактеризует неслыханное смятение, в которое впали французы перед лицом надвинувшейся на них катастрофы.

Во время отступления из Фландрии, на Вилийской дороге, старая французская крестьянка, вышедшая из своего дома, чтобы посмотреть на бесконечные толпы беженцев, сказала мне: «Жалко, господин капитан! Такая большая страна...»

Жалко, думал и я, услышав о смерти Тьерри де Мартеля. Меня ужасала мысль, что такие люди — а Франция потеряла их немало — были охвачены отчаянием перед тем, что великая цивилизация обречена на гибель, потому что пять тысяч танков и десять тысяч самолетов, которые нам ничего не стоило купить или построить, не были во-время построены.

## VIII

С самого начала войны немецкая пропаганда поставила себе целью поссорить Францию с Англией. В течение восьми месяцев эта пропаганда велась с беспримерной настойчивостью и искусством. Немцы распространяли карикатуры, на которых можно было видеть, как английский солдат толкает француза в кровавую купель, а также и другие, показывавшие, как английские офицеры развлекаются в Париже с полуголыми женщинами, в то время как французский солдат стоит на посту на линии Мажино. В июне 1940 года германская пропаганда достигла того, что между этими народами началось отчуждение и порой открытая вражда.

К английскому народу я уже давно питаю чувства симпатии и дружбы. Всю мировую войну я пробыл офицером связи в британской армии. Тогда я убедился на опыте в том, что Англия точно выполняет свои обязательства. Я знал, что англичане, как и всякий другой народ, способны на решительные и даже жестокие действия, коль скоро на карту ставятся их национальные интересы, но я был уверен, что за этим не скрывается мелкой нечестной игры. Народы, как и отдельные люди, становятся извергами только благодаря комплексу неполноценности. Но Англии вовсе не свойственны эти чувства. Девять веков благосостояния вдохнули в англичан непреодолимый оптимизм. Неизменно выходя победительницей

из всех войн, какие она когда-либо вела, Англия отучила себя от мысли о возможном поражении и о неисчислимых бедствиях, с которыми оно связано.

И все же германская пропаганда к апрелю 1940 года не достигла своей цели. Конечно, во Франции имелось много англофобов, но в них никогда не было недостатка, а некоторые даже сделали это своим символом веры. Однако взаимоотношения между генеральными штабами обеих армий были хорошие, в целом даже лучше, чем в мировую войну. Оба адмиралтейства не имели секретов друг от друга. Англичане предоставили в наше распоряжение свои лучшие изобретения, и мы в свою очередь дали им заглянуть в наши портфели. Установить братские чувства между войсками обеих стран было не так-то легко уже из-за языка. Но если представлялась возможность, солдаты высказывали друг другу сердечное расположение. Ярко выраженных англофобов можно было скорее найти в высших классах, чем в народе.

В глазах многих французских граждан английские матросы и Royal Air Force спасали военный престиж Англии. Случай с «Графом Шпее» и «Альтмарком» и сражение у Нарвика произвели глубокое впечатление. Английская авиация была очень популярна во Франции. В начале войны, когда Франция имела очень мало самолетов, действия английской авиации поднимали бодрость наших солдат. Они с удовольствием наблюдали, как вдруг появлялся «Харрикейн», выравнивался против «Хейнкеля» или «Дорнье» и одной очередью своих восьми пулеметов сбивал вражеский самолет. Английские машины, как старые, так и новые, считались нашими специалистами очень хорошими. А пилоты были достойны своих машин. Было истинным удовольствием встретиться с этими молодыми спортсменами-энтузиастами, одетыми в серо-голубую форму. Их скромность не уступала их отваге.

— Трудно ли сбить германский бомбардировщик? — спросил я однажды девятнадцатилетнего юношу, за которым уже числилось много сбитых немецких самолетов.

— Трудно? Нет, несколько. Достаточно следовать указаниям, полученным в авиационной школе. Нам сказали, что надо преследовать вражеский самолет, несмотря на его огонь, до расстояния примерно в триста ярдов, потом поймать его в центр красного кружочка, — вот видите, здесь, на моем ветровом стекле, — а затем просто нажать

кнопку, которая обслуживает все восемь пулеметов. После этого немецкий самолет должен упасть. Я просто следую этим указаниям. Это действительно нетрудно.

Если, с одной стороны, самолеты и летчики были превосходными, то, с другой стороны, организация военно-воздушных сил Англии была слишком сложна. На севере генерал Горт имел в своем распоряжении некоторое количество самолетов. В Шампани была расположена другая группа, состоявшая, главным образом, из бомбардировщиков, и, наконец, множество самолетов оставалось в Англии для внутренней обороны. Эскадрильи, расположенные в Англии, могли оказать Франции лишь незначительную помощь. Они приняли участие в сражениях у Дюнкерка, так как это было близко к английскому побережью. Снявшись с аэродрома, они за полчаса долетали до поля сражения, а затем могли полчаса принимать участие в бою, после чего у них оставался бензин только для обратного полета. Чем дальше к югу, тем такие маневры становились затруднительнее. Таким образом, участие английских воздушных сил в боях за Фландрию становилось все менее ощутимым, и это озлобляло французское военное руководство.

Битва во Фландрии привела, как и в каждой коалиционной войне, к взаимным обвинениям. В мужестве действительно не было недостатка. Много соединений английской армии, как и французской, отлично сражались, но ведь надо было найти какое-либо объяснение поражению. «Мы были окружены и потеряли наше снаряжение вследствие стратегической ошибки, которая допущена не нами», — утверждали англичане. «Безусловно правильно, что были допущены ошибки, но самая главная и самая тяжелая по последствиям ошибка состояла в том, что не было достаточного количества войска, и за эту ошибку вы также несете значительную долю ответственности», — отвечали им французы.

Непосредственно после боев у Седана Черчилль пытался преуменьшить значение этого поражения. Он был против отступления из Бельгии и сдачи Брюсселя и требовал контрнаступления. Но 26 мая Рейно приехал в Лондон, где он сделал уничтожающее сообщение и заявил, что если Англия не предпримет массового наступле-



ния, то Франция вынуждена будет отказаться от войны. Двумя днями позже, 28. мая, капитуляция бельгийской армии ускорила отступление на Дюнкерк.

После Дюнкерка в общественном мнении Англии наступил полный разброд. Некоторые журналисты резко выступали против обратнойсылки спасенных дивизий во Францию. «Они не помогут французской армии, положение которой и так безнадежно, и вместе с тем они будут окончательно потеряны для обороны островов», — утверждали они.

После жестокого опыта во Фландрии английские генералы боялись быть окруженными и инстинктивно жались к побережью. Французское командование чувствовало это и страшилось последствий таких настроений. Этим самым нарушилось доверие в совместной работе обеих армий.

В начале июня настроение в обеих армиях казалось мне настолько угрожающим, что я со всей настоятельностью довел это до сведения моих начальников. Тогда, как я указывал выше, мне и было предложено отправиться в Лондон — не для информации правительства, а для того, чтобы обратить внимание английского населения на отчаянное положение Франции и заявить, что, несмотря ни на что, Великобритания должна послать во Францию каждый последний самолет, каждый последний батальон.

## IX

С одного из аэродромов вблизи Версаля я вылетел на военном самолете через Ламанш. Сразу же после прибытия в Лондон я направился во французское посольство, а оттуда в министерство информации, где встретил много хороших знакомых: министра Дафф-Купера, его парламентского секретаря Гарольда Никольсона, который известен как один из лучших писателей современности, Рональда Три, лорда Худа и других. Я прибыл в министерство как раз в тот момент, когда открывалась ежедневная пресс-конференция. Чарльз Пик, чиновник министерства иностранных дел, председательствовавший на этой конференции, представил меня присутствующим, а затем сказал мне: «Раз вам поручено обрисовать нам положение во Франции, то здесь вам представляется наилучшая возможность для этого, так как здесь вы обращаетесь ко всей английской прессе».

Это предложение застигло меня врасплох, так как я не успел подготовиться, к тому же я не настолько владею английским языком, чтобы в обычных условиях отважиться на импровизацию. Но в тот день я настолько был потрясен несчастьем, постигшим Францию, и ее страшным будущим, что слова лились сами собой. Когда я кончил, все триста журналистов, бывших в зале, вскочили с мест и бурно меня приветствовали. Я думаю, что до этого никто им не говорил с такой откровенностью о положении Франции, о том, как необходима немедленная помощь и как невозможно дальнейшее сопротивление, если Англия не пошлет нам подкрепление.

После этого Никольсон и Пик проводили меня к Дафф-Куперу. Мы условились с ним, что я по радио повторю то, что перед этим говорил представителям прессы. В тот же вечер британская радиоккомпания предоставила мне свое «лучшее время», после ночного выпуска последних известий. Я второпях набросал обращение, которое кончалось следующими словами:

«Не в 1941 году, и не будущей осенью, и не в следующем месяце могут наши друзья оказать нам помощь: это должно быть сейчас. Мы знаем, как отлично сражалась британская армия и воздушный флот, мы знаем, что они сделали все, что было возможно. Но сейчас настал момент, когда необходимо совершить невозможное. Мы сохраняем полное доверие к нашему английскому союзнику. Мы знаем, что он готов бросить в бой все, чем он владеет. Но мы просим вас учесть все то значение, которое теперь играет вопрос времени. Думайте о том, что я хочу назвать духом Дюнкерка. Перед Дюнкерком считалось невозможным оттранспортировать из полуразрушенной гавани более 30 тысяч человек. Оптимисты говорили о 50 тысячах, а на самом деле удалось спасти 350 тысяч человек. Как это стало возможным? Никто этого не знает лучше, чем вы, так как это сделано вами... Если вы оживите дух Дюнкерка, то вы сможете выиграть и нынешнюю битву и всю войну в целом. Для Дюнкерка вы отдали каждый свой корабль. Дайте нам каждый свой самолет, каждого человека и каждое орудие. Мы вместе попросим Америку, которая сейчас готова нам помочь, чтобы она в один или два месяца произвела такое количество вооружения, на которое при нормальных условиях потребовались бы годы. Невозможно за несколько недель воору-

жить, обучить и перевезти через канал большую армию — говорят нам эксперты. Они правы. Это невозможно. Но это должно быть сделано и это будет сделано».

Британская радиокomпания потребовала, чтобы я в два часа утра повторил это обращение — на этот раз по-французски — для канадской провинции Квебек, а на следующий день я выступил по радио для школьников. Я чувствовал себя совершенно разбитым, так как уже две ночи не мог сомкнуть глаз, но я рад был видеть, как быстро реагирует английская общественность на мой призыв. В следующие дни я получил большое количество писем, в которых шла речь об одном и том же: «Мы хотим помочь Франции. Что мы можем сделать?»

У меня создалось впечатление, что общественное мнение страны требует от правительства решительных мер. Но одни лишь требования не могут заменить танки, самолеты и винтовки. Своим английским знакомым я говорил: «Да, эти письма действительно нельзя читать без волнения; но какую реальную помощь можете вы оказать нам?» Их лица вытягивались, и они говорили мне с унылым видом:

— Если не считать посланную уже вам канадскую дивизию, то у нас нет войск, готовых к сражению на континенте. У нас нет достаточного количества материалов, чтобы возместить все потери во Франции. Мы, разумеется, пошлем вам несколько эскадрилий самолетов, но в интересах нашей общей обороны необходимо, чтобы наши авиазаводы и порты были хорошо защищены. Если бы вы смогли продержаться до 1941 года...

Я понял, что партия проиграна и что Франции не на что больше надеяться.

Французскому послу Корбену, который в это тяжелое время не терял присутствия духа, я сказал: «Как хотите, а это странно, что на десятом месяце войны англичане не имеют армии». — «Да, — ответил он, — но будем справедливы. Все соглашения, которые мы заключили с ними, они в точности выполнили. Ошибка состояла в том, что мы не потребовали от своего союзника такого же количества дивизий, как в 1914 году. Но факт остается фактом: мы не поставили им таких требований. Миф о мощи обороны и об укрепленных линиях ввел в заблуждение наш генеральный штаб и наших министров».

13 июня утром газеты сообщили о появлении герман-

ских войск под Парижем. В то время как я, потрясенный, пробежал телеграммы в «Таймсе», меня позвали к телефону. Это была одна из придворных дам, она сообщила мне, что в 11 часов королева будет ожидать меня в Букингемском дворце.

Я был представлен королеве Елизавете, когда она была еще герцогиней Йоркской, потом видел ее в Париже уже королевой, но сейчас я не знал, какими обстоятельствами вызвана эта аудиенция. Дворец с его рослыми гвардейцами в красных мундирах, многочисленными батальными картинами и старомодной мебелью все еще кажется пережитком викторианской эпохи. Сэр Александер Гардинг проводил меня к королеве.

— Господин Моруа, — обратилась ко мне королева, — я хочу вам сказать, что я глубоко озабочена положением Парижа... Что у меня величайшее сочувствие к французам в их несчастье... Я очень люблю Францию. Во время нашей поездки в Париж, два года тому назад, я чувствовала, как близко от моего сердца бьются сердца французских женщин. Я хочу попытаться сегодня вечером обратиться к ним по радио и сказать им простые слова, которые лежат у меня на душе.

Она еще долго говорила со мной об этой речи по радио, а потом стала расспрашивать обо всем, что мне пришлось пережить, а также о том, где я оставил жену и детей. Я сказал ей, что у меня нет никаких сообщений от них. Ее глаза выражали такое неподдельное человеческое сочувствие, что я был глубоко тронут. Я чувствовал, что ее слова — это не обычные официальные фразы, а свободное выражение искреннего чувства. Королева, как и ее народ, охотно сделала бы все, чтобы помочь нам. Но было уже слишком поздно.

После падения Парижа Черчилль прибыл в Тур, где он с ужасом убедился в полной дезорганизации страны. Аэродром, на котором он приземлился, был всеми покинут. Английского премьера никто не встретил. Город был переполнен беженцами, и английский премьер с трудом разыскал правительство Франции.

И вот в одном из дворцов на Луаре французский премьер-министр Рейно заявил Черчиллю, что он — за продолжение войны, но что, возможно, ему придется уступить

место другому правительству, которое будет просить о перемирии. Как поступит в этом случае Англия? Черчилль считал, что он не в праве освободить Францию от взятого ею обязательства — не заключать сепаратного мира, но, насколько мне известно, английский кабинет дал понять, что он воздержится от бесполезных протестов и что восстановление Франции до полной независимости останется одной из главных военных целей Англии. Это была последняя встреча Черчилля и Рейно.

17 июня я поехал в Уилтшайр к бывшему английскому послу во Франции, сэру Эрику Фиппсу. Он пригласил меня прослушать радиосообщения из Франции. Услышав боевой клич марсельезы: «Aux armes, citoyens!»<sup>1</sup>, я не мог сдерживать слез. По радио я узнал об отставке Рейно и об обращении к немцам с просьбой о перемирии. Из уважения к истине я должен сказать, что мои друзья-англичане в этот столь болезненно острый для них и для меня момент проявили благородство и великодушие в духе их лучших традиций. Они признавали, что обе страны допустили ошибки и что упреки бесполезны. Меня пригласил к себе сэр Эдвард Григг из военного министерства. «Я хотел только сказать вам, — заявил он мне, — что мы вас понимаем и что мы не делаем вам никаких упреков. Мы не были в состоянии своевременно помочь вам. У вас не оставалось выхода». Потом он беседовал со мной о судьбе французского флота, которая в те дни больше всего беспокоила англичан.

Однако в следующие дни атмосфера сгустилась. Условия, на которых было заключено перемирие, рождали тысячи опасений. Передавали, что английский посол в Бордо, сэр Рональд Кэмпбелл, больше не получает нужных информации. Ллойд-Джордж и генерал Спирс, которые были посланы для участия в правительственных совещаниях, как передавали, были встречены очень холодно. Французский посол в Лондоне Корбен подал в отставку, мотивируя это тем, что он не хочет представлять политику, противоречащую той, которую он долгое время проводил. Его преемник Роже Камбон вскоре тоже подал в отставку.

---

<sup>1</sup> К оружию, граждане!

В последнюю минуту у Черчилля возникла мысль побудить кабинет Рейно к дальнейшему продолжению борьбы тем, что он предложит объединение обеих империй под одним правительством, во главе которого будет стоять француз. Каждый гражданин обеих стран должен был в будущем состоять в двойном гражданстве: французском и английском. Все наличные силы обеих держав должны были объединиться. Это было предложение, открывавшее огромные возможности. Если бы оно было сделано несколькими неделями раньше, то течение войны было бы другое. Но оно поступило в такой момент, когда Франция была истощена и ни о чем другом не помышляла, как о немедленной помощи — самолетами, танками, орудиями.

Черчилль, считавший, что он делает Франции совершенно неслыханное предложение, предложение, которое в первую минуту поставило английский парламент в тупик, а потом навлекло на премьера резкую критику за его смелый шаг, — почувствовал себя уязвленным, когда увидел, что его проект об объединении принят так равнодушно. Много англичан разделяли его сожаление. В особенности же преданные друзья Франции и ее горячие заступники были задеты в своих лучших чувствах.

«Как жаль, — сказал мне величайший английский критик Десмонд Мак-Карти, — а я бы так охотно стал французским гражданином!» С ним и с Раймондом Мортимером, другим известным писателем, я провел меланхолический, но вместе с тем чарующий вечер, когда впервые за долгое время я нашел в себе силы позабыть о страшных событиях и отдаться беседе о вечных истинах. Мы вели один из тех разговоров, какие, возможно, не раз возникали в IV и V веках, когда люди, начитанные в Виргилии и Горации, собирались для совместной беседы в галло-римских городах и деревнях, терпевших уже гнет варварского вторжения. Мы говорили о французской поэзии, которую мои гостеприимные хозяева хорошо знали. В нашей беседе оживали строфы Маллармэ и Валери, стихи Расина и Малерба.

Мак-Карти сказал тогда: «Мы знаем, что нам угрожают многие опасности и в первую очередь опасность смерти, что, пожалуй, не так важно, и что всего хуже — опасность тирании. И прямая наша обязанность спасти то, что еще можно спасти и что зависит единственно от нас

самих, — это то доверие, которое мы чувствуем друг к другу. А для этого необходимы две вещи. Во-первых, мы никогда не должны забывать о существовании наших друзей, об их преданности и доброте. Даже если мы годами не будем их видеть, даже если французам будут твердить, что англичане изверги, а нам доказывать, что французы нас предали, мы должны помнить об англичанах и французах, о которых мы достоверно знаем, что они не способны ни на что другое, как на благородство и великодушие. И как только нам представится возможность, мы должны проявлять друг к другу преданность и доброту, больше преданности и доброты, чем когда бы ни было. Мир страдает в эти дни от большого недостатка доброты. Мы должны восстановить равновесие».

В тот вечер для меня снова ожило все то лучшее, что я любил в Англии. Но трудности положения давали о себе знать слишком часто, слишком болезненно. Отношения между обеими странами становились все более напряженными.

Англия стала думать исключительно об организации своей собственной обороны. В мае в ее распоряжении не было ни одной хорошо снаряженной дивизии, которую можно было бы отправить во Францию, а в июле в стране было свыше миллиона человек, достаточно подготовленных к обороне страны на случай вражеского вторжения. Впервые в истории канадцы и австралийцы выразили готовность сражаться в самой Англии. Повсюду на дорогах и в городах можно было видеть, как строятся укрепленные позиции. На основе нашего страшного опыта британское главное командование отдало гражданскому населению приказ — в случае вражеского нападения не покидать своего местожительства, и заявило, что, при необходимости, дороги будут очищаться пулеметами. В каждой деревне были созданы местные команды для защиты от парашютистов. Везде господствовал новый дух решимости и отчаянной храбрости. Неожиданный разгром французской армии и непосредственная угроза безопасности островов подействовала на Англию, как страшный удар грома. Но британский народ, как и всегда во время серьезных кризисов в его истории, не утратил мужества. В сознании опасности он черпал новые силы.

2 июля французская военная миссия освободила меня от военных обязанностей. Так как всякая связь между Англией и Францией к этому времени была уже прервана, а мне в недалеком будущем предстояло прочесть курс лекций в Харвардском университете, то я решил перебраться в Америку. Я попал на один из тех пароходов, на которых англичане переправляли своих детей в Канаду. Тысячи мальчиков и девочек играли на палубе парохода под жерлами пушек, которые должны были их защищать. Нас сопровождал крейсер «Ривендж» и два истребителя. Из пароходного бюллетеня я узнал страшную весть о морском бое у Орана.

Из всех несчастий, свидетелем которых я был в последние недели, это показалось мне самым страшным. Француз в первую голову, но вместе с тем — вот уже двадцать лет — друг Англии, я представлял собой как бы ребенка в семье, в которой родители развелись. Мое сердце говорило: «*My country right or wrong*»<sup>1</sup>. Но разумом я сожалел о разрыве, происшедшем между двумя народами, которые так сильно нуждаются друг в друге. Прислонившись к перилам, я долго смотрел на пенистое море и на мощный военный корабль, спокойно плывущий рядом с нами. Мои спутники-англичане, уважая мое горе, молча проходили мимо меня. И вдруг мне вспомнились слова Десмонда Мак-Карты: «Что бы ни случилось, никогда не следует забывать, что наши друзья остались все теми же». Высоко над башней крейсера зажегся световой сигнал — его непонятные для нас светящиеся точки и тире несли в мир какое-то сообщение.

---

<sup>1</sup> Права или неправда — моя страна.



# А н д р е Ж е р о

## (ПЕРТИНАКС)

### Г а м е л е н

#### I

Кто не знает позиции французского и английского правительства в течение долгого периода ожидания, предшествовавшего новой европейской войне? Как известно, решение дать отпор было принято лишь через 18 месяцев после того, как Германия начала опрокидывать пограничные столбы в Европе, то есть когда соотношение сил существенно изменилось и притом не в нашу пользу. Но деятельность французского генерального штаба в решающие годы — с лета 1935 года до лета 1939 года — все еще остается покрытой мраком неизвестности. Пришло время познакомиться с ней поближе.

7 марта 1936 года германские войска вступили в демилитаризованную рейнскую зону. Во главе французской армии стоял тогда генерал Гамелен, занимавший этот пост уже в течение 14 месяцев. Он проявил в данном случае некоторую осторожность. Он не отказывался оккупировать Саарскую область; но он не соглашался с премьер-министром Сарро, который считал нужным мобилизовать только три последних контингента запасных. Гамелен говорил, что если предпринимать какие-либо военные операции, то правительство должно быть готово довести их до конца и, в случае необходимости, объявить всеобщую мобилизацию. Французский военный аппарат не обладал гибкостью. Пускать его в ход частично — значило бы рисковать общей аварией. Мы тогда впервые стали догадываться, какими неприятностями грозит недостаток гибкости — недостаток, за который нам пришлось так жестоко поплатиться в 1940 году. Впрочем, Гамелен одновременно дал понять, что при правильном использовании

нашего военного механизма, он вполне уверен в его непобедимости.

В начале сентября 1938 года, во время нюрнбергского съезда, генерал Гамелен снова выступил на авансцену. В сопровождении генералов Жоржа и Бийотта он посетил премьера Даладье и заверил его, что демократические державы смогут «диктовать мир».

25 сентября того же года на совещании в Лондоне (состоявшемся сейчас же после поездки Чемберлена в Годесберг) он высказался в том же духе в присутствии Чемберлена, сэра Томаса Инскипа, Даладье и французского посла в Англии Корбена. А когда он узнал, что Боннэ тенденциозно истолковывает некоторые его заявления и что это встревожило Чемберлена и лорда Галифакса, Гамелен обратился к английскому военному министру Хор-Белиша с письмом, в котором точно определил свою позицию.

Накануне Мюнхена генерал Гамелен еще раз изложил свою точку зрения. В письме к Даладье он подробно объяснил, до каких пределов, по его мнению, можно идти на уступки Гитлеру. Он подчеркивал, что нельзя отдавать немцам ни главной линии чехословацких укреплений, ни стратегических железнодорожных путей Чехословакии, ни чехословацких военных заводов.

14 марта 1939 года, через 6 месяцев после Мюнхена, я встретился с генералом Гамеленом на обеде у одного из иностранных послов. Германские войска шли в это время на Прагу. Никто уже не рассчитывал, что германский разлив можно остановить дипломатическими переговорами или каким-нибудь компромиссом; это можно было сделать только силой. Я спросил Гамелена, не является ли обстановка сейчас менее благоприятной, чем до Мюнхена. «Несомненно, — ответил он и добавил: — В конечном счете мюнхенское соглашение обернулось против нас». И он начал объяснять почему. Германская армия усилилась как количественно, так и качественно. Если в 1938 году насчитывалось лишь 100 германских дивизий (причем 50 из них были недостаточно обучены и недостаточно укомплектованы опытными офицерскими кадрами), то теперь у Германии 140 дивизий. Вместо трех бронетанковых дивизий 1938 года, Германия располагает теперь пятью, и вскоре эта цифра удвоится. Три чехословацкие бронетанковые дивизии не только войдут в состав германской ар-

мий, но и снабдят ее ценными образцами вооружения. Воздушный флот Геринга насчитывает теперь около 6 000 самолетов против 3 500 или 4 000 в прошлом году. Линия Зигфрида, состоявшая в 1938 году почти исключительно из полевых укреплений, теперь сооружена наново из бетона и стали. Германская военная промышленность работает с полной нагрузкой, тогда как французские инженеры все еще спорят о преимуществах различных моделей и ломают голову над всевозможными производственными проблемами. И, наконец, в руки немцев попала не только материальная часть 30 чехословацких дивизий и всех чехословацких укреплений, но и превосходнейшие чехословацкие заводы, которые уже начали работать для Германии.

Но несмотря на все это, несмотря на то, что, по его собственному признанию, наши силы сократились по сравнению с германскими (за исключением авиации; здесь отставание франко-британской авиации, пожалуй, уменьшилось с пропорции 1:10 до 3:10), Гамелен попрежнему был уверен в победе союзников. В июле я снова встретил его. Он все еще не потерял своей уверенности. Гамелен считал, что война начнется примерно в двадцатых числах сентября. По его предположениям, Муссолини настаивает на оттяжке до первых снегопадов, так как тогда Италии легче будет оборонять Альпы.

Мне известно, что Боннэ, подробно беседовавший с Гамеленом приблизительно за неделю до объявления войны Германии, не нашел его обескураженным. Иными словами, генерал Гамелен несколько не был удручен потерей возможности развернуть маневренную войну против Германии на полях Восточной Европы от Балтийского моря до Карпат. Он предвидел, что польское сопротивление будет быстро сломлено и Франция не получит поддержки на от одного из восточно-европейских государств, даже пахэдящихся под явной угрозой. Все французские расчеты были опрокинуты, но это его не пугало.

3 сентября возникла новая возможность восстановить равновесие сил. Италия объявила о своем нейтралитете. Но это был особый сорт нейтралитета — в полной гармонии с «железным пактом» 22 мая между фюрером и дуче. Это означало, что Муссолини намеревается драться на стороне Германии всеми средствами, кроме оружия, и одновременно желает пользоваться преимуществами ней-

тралитета. Муссолини и Гитлер обменялись телеграммами, показывающими, что именно в этом и заключается смысл занятой Италией позиции «невоюющей страны». Мы стояли перед выбором: примириться с этим трюком или же потребовать, чтобы Италия пришла к соглашению с нами.

В октябре я беседовал с лучшим французским специалистом по итальянским делам. Несмотря на «железный пакт», согласно которому война отсрочивалась на три года, и несмотря на то, как обошлись недавно с Чиано в Зальцбурге, Муссолини еще 3 сентября хотел немедленно вступить в войну. Бадوليو и другие итальянские генералы старались удержать его, доказывая, что нельзя воевать без артиллерии, не говоря уже обо всем прочем. По словам моего собеседника, итальянское высшее командование не остановилось бы в тот момент перед государственным переворотом, если бы Муссолини не внял этим предостережениям. Италия испытывала недостаток в самых необходимых материалах. После сентября 1938 года в Италии едва ли был построен хоть один самолет. У Италии, в сущности, не оставалось никакого выбора. Пока Германия была занята в Польше, мы должны были просто «взять Италию за горло». Припугнув Италию, мы могли бы повернуть ход событий в обратную сторону и доказать, что мы еще в состоянии блокировать противника. Но мы упустили момент.

Но генерал Гамелен был не лучше всяких Даладье, Боннэ и большинства других французских политиков, мало понимавших, какие блестящие возможности открывает перед нами Апеннинский полуостров. Подобно им, Гамелен предпочитал уклоняться от решения этой проблемы. В конце августа Совет национальной обороны обсуждал необходимые ответные меры на случай, если Италия выступит против нас. Генерал Вийемен, командующий французским военно-воздушным флотом, решительно высказался за налеты наших тунисских бомбардировщиков на стратегические пункты в Италии. Гамелен же считал достаточным «занять место на балконе»; под этим выражением он подразумевал, что французские войска должны расположиться на высотах, господствующих над долиной По, откуда они смогут вторгнуться в Италию весной 1940 года. Командующий французским военно-морским флотом адмирал Дарлан, обычно заносчивый и крикливый,

на сей раз помалкивал. Мне говорили, что генерал Вейган очень хорошо понимал, чего требуют интересы Франции. Но в тот момент решающее слово принадлежало не ему.

## II

Как объяснить невозмутимое спокойствие генералиссимуса, когда будущее готовит потоки огня и крови? Объяснение только одно: абсолютная вера в линию Мажино.

Это *credo* покоилось на трех «догматах».

Первый из них — убеждение в превосходстве оборонительного оружия над наступательным. «Чтобы сломить оборону противника, атакующий должен иметь втрое больше пехоты, в шесть раз больше артиллерии и в двенадцать раз больше боеприпасов». Эта фраза заимствована из книги генерала Шовино «Возможно ли еще вторжение?» и с одобрением цитируется в предисловии к ней, автор которого — маршал Петэн. Второй «догмат» — глубокая уверенность французского командования, что немцы, как бы они ни хвалились, не придумали еще верного средства для прорыва оборонительных линий противника. Самолеты и танки не смогут разрешить задачу, которая в прошлую войну оказалась не под силу артиллерии вместе с пехотой. Наконец третий «догмат» — уверенность, что предстоящая война будет войной на истощение. Линия Мажино позволит Франции и Англии не спеша мобилизовать свои ресурсы и самим выбрать момент для перехода в наступление.

Пренебрежительное отношение к количественному фактору давало себя знать и в Англии, и во Франции. Англичане не очень торопились с формированием новых дивизий, а во Франции планы мобилизации колониальных войск, разработанные министром колоний Жоржем Манделем, оказались явно недостаточными.

А между тем, вера в линию Мажино вовсе не исключала возможности англо-французского контрнаступления в случае, если бы германская армия была расшатана неудачными атаками на укрепленную линию французов. Французское командование не зарекалось даже от маневренной войны, если бы удалось захватить германскую армию врасплох на бельгийско-германской границе.

Эти взгляды о превосходстве обороны над нападением были присущи не только Гамелену. Они целиком разделялись Петэном, Вейганом и всей военной верхушкой. Их придерживались и кадровые и отставные командиры. Правда, полковник де Голль, начиная с 1933 года, неоднократно подчеркивал, что самолеты и танки дают возможность прорвать фронт. Но его считали еретиком.

Вейган, благодаря Поля Рейно за книгу, одна из глав которой излагала тезисы де Голля, писал: «Книга меня очень заинтересовала, но я не согласен с вашими взглядами». Были и другие молодые офицеры, которые на разный лад доказывали старую истину: «На войне неподвижность означает гибель». Но доводы этих офицеров либо вовсе не доходили до верхов военной иерархии, либо доходили, но не в состоянии были убедить кого следует.

Изменил ли официальную точку зрения опыт польской кампании, подтвердивший уроки войны в Испании? В глазах непогрешимых оракулов военной мудрости ничего не изменилось. Они считали, что военная слабость Польши не позволяет выводить какие-либо определенные заключения.

Восьмимесячная передышка на западном фронте на первый взгляд подтверждала доктрину верховного командования французской армии. Эта передышка была неожиданной для Англии и Франции, и Гамелен очень ей обрадовался. У него словно камень с сердца свалился. Мобилизация и сосредоточение войск прошли без помех со стороны противника, и у Гамелена оставалось еще время для устранения различных недостатков французской военной системы, для укрепления границы от Монмеди до Северного моря, для ускорения темпов производства военных материалов и, наконец, для того, чтобы поднять боевой дух солдат и их командиров.

К несчастью, ничего этого не было сделано. Гамелен не сумел стряхнуть с себя оцепенение, не сумел сломить бюрократизм гражданской и военной администрации. Его не интересовало моральное состояние солдат и офицеров, которые в ожидании военных действий томились без дела на позициях и часто разлагались под влиянием тоталитарной пропаганды журнальчиков, вроде «Гренгуар» и «Же сюи парту». Эта сторона французской трагедии достаточно хорошо известна, и нет надобности подробно о ней говорить.

Теперь посмотрим, что было сделано за это время для улучшения материальной части.

В сентябре 1939 года французская армия располагала оружием и боеприпасами старого типа, рассчитанными на войну в масштабах 1914—1918 годов. Во всем остальном она сильно отставала. Впрочем, этого оружия и боеприпасов тоже хватило бы только до мая 1940 года, да и то при условии медлительного темпа военных операций. Предполагалось, что с весны 1940 года непрерывным потоком начнет поступать вооружение новейших образцов. Однако постепенно выяснилось, что союзники в лучшем случае будут готовы лишь к концу лета или к осени 1940 года.

Известны лишь отдельные фрагменты этой прискорбной эпопеи. Я изложу их без всяких претензий на полноту картины.

Наиболее благополучно обстояло у нас дело с артиллерией. Орудий старых образцов было более чем достаточно — свыше 4 000 75-миллиметровых орудий (в том числе и усовершенствованные модели дальностью в 11 километров) и более 3 000 тяжелых орудий. Пушечные заводы в спешном порядке изготавливали 105-миллиметровые орудия, которые должны были заменить 75-миллиметровые. Главная проблема заключалась в недостатке снарядов. Исключение составляли только 75-миллиметровые снаряды, которые к марту или апрелю поступали уже в достаточном количестве. Но для 105-миллиметровых, 155-миллиметровых и 25-миллиметровых зенитных орудий снарядов не хватало. В артиллерийском ведомстве все время шли ожесточенные споры о наилучшем типе взрывателей. Эти споры так и остались незаконченными.

Мы располагали двумя типами пушек, которые, казалось, не имели равных себе в других странах: 47-миллиметровой противотанковой пушкой и 90-миллиметровой противотанковой и зенитной пушкой, которая пробивала своими снарядами броню толщиной в 90 миллиметров на расстоянии 1800 метров. К несчастью, у нас нечем было заряжать эти пушки. Первая тысяча 90-миллиметровых снарядов была получена только в апреле 1940 года. К концу мая имелось всего лишь 5000 снарядов. Вот почему во время битвы за Францию мы вынуждены были вернуться к приданным пехоте старым 37-миллиметровым пушкам, 25-миллиметровым противотанковым пушкам и традицион-

ным 75-миллиметровкам. Все это были орудия устарелые или не отвечающие своему назначению.

Наступил апрель 1940 года, а французское командование все еще никак не могло решить, сколько ему требуется ежемесячно снарядов — три миллиона, четыре или пять. А кроме того, оставался нерешенным вопрос, какие снаряды более выгодны — стальные или чугунные. Чугунные были дешевле и поэтому могли изготавливаться в большем количестве, но зато стальные были эффективнее. Надо, между прочим, отметить, что у нас совсем не было химических снарядов. Если бы Германия пустила это оружие в ход, нам нечем было бы отвечать. Что касается мин, то, вместо того чтобы просто скопировать германскую модель, мы хотели придумать усовершенствованный образец. Начались бесконечные изыскания, которые так ни к чему и не привели.

Когда Франция вступила в войну, у нас было всего 1700 танков. К 10 мая 1940 года французская армия располагала уже 3600<sup>1</sup> танками. Большинство танков были двадцати- и тридцатитонные; имелось также немного семидесятитонных машин. Бронетанковые войска состояли из трех дивизий, четвертая только формировалась. Часть танков поступила на вооружение этих дивизий, а часть была распылена среди легких моторизованных дивизий и т. п. Заводы Самюа должны были дать армии 4000 танков в сентябре, а в дальнейшем еще больше. Это были превосходные машины. Но не хватало грузового автотранспорта — в действии было от 600 до 900 грузовиков, не больше, и это сыграло роковую роль, так как для обслуживания каждого танка требуется три грузовика: один отправляется за горючим, другой возвращается, третий производит заправку. Во время одного из боев в Северной Франции великолепная бронетанковая дивизия израсходовала весь запас горючего и вынуждена была построиться в каре, наподобие бурского обоза, и отстреливаться, стоя на месте.

В начале войны Франция имела 1300—1400 самолетов, из них, строго говоря, ни одного бомбардировщика. К 10 мая 1940 года число самолетов первой линии оставалось прежним, но удалось создать резерв, так как ежеме-

---

<sup>1</sup> За то же время число германских танков возросло с 6000 по крайней мере до 11000, а может быть, даже до 16000.



сячное производство давало около 350 самолетов (в том числе 70 бомбардировщиков) и ежемесячные американские поставки еще 70—80 машин. Это цифры, которые приводил Ги ла Шамбр, министр авиации в кабинете Даладье. Но некоторые эксперты считают их раздутыми.

По этим данным нетрудно составить общую картину.

Гамелен и другие руководители армии предвидели, что критический момент наступит весной 1940 года, но не знали, как им повлиять на министра снабжения и объяснить ему, что время не терпит. Впрочем, за ними тоже числилось немало организационных грехов. Взять хотя бы такой факт, как отсутствие достаточного количества хороших карт Норвегии или Бельгии. А что касается мобилизации, то сама она прошла без сучка и задоринки, но оказалось, что нехватает различных предметов снаряжения и обмундирования.

### III

Из сказанного не следует делать вывод, что Гамелен, восседавший на вершине французской военной пирамиды, был ограниченным человеком.

Он был, пожалуй, умнее других военных руководителей, соперничавших с ним в прошлом и отчасти продолжавших это соперничество и сейчас. Ему было 68 лет, но он полностью сохранил свои умственные и физические силы. Его доклады Совету национальной обороны были образцом ясности и точности. Леон Блюм, сам типичный кабинетный работник, на которого трудно было в таких делах угодить, был в восторге от этих докладов. Он почувствовал в них нечто от самого себя и, может быть, именно поэтому стал питать к Гамелену своего рода смутное недоверие. Гамелен в большинстве случаев подавлял своей логикой всех, кто обсуждал с ним военные проблемы. Как известно, под его влияние всецело подпал и англо-французский Верховный военный совет.

В чем же заключались его слабые стороны? «Гамелен — не боевой генерал», — говорил лорд Горт английским министрам. Но Гамелен по заслугам приобрел имя «боевого генерала» в 1918 году, когда повел в бой почти полностью окруженную дивизию. Точно так же его нельзя было упрекнуть в недостатке творческого воображения,

когда, в качестве офицера оперативного отдела штаба генерала Жоффра, он первым предложил контрнаступление, получившее впоследствии название битвы на Марне. Правда в том, что впоследствии Гамелен постепенно превратился в «академика». Он зарылся в уроки прошлой войны. Его идеи выродились в штампы. Он перестал задумываться над вопросом, не устарели ли они в наши дни. Гамелен считал, что он все предусмотрел, все рассчитал, все организовал и ничего больше делать не надо. Аристотеля заменила схоластика.

Гамелен был скорее ученым, чем администратором. Для любого дела, кроме плана, нужен еще и «хлыст». Никак нельзя было обвинять Гамелена в неповоротливости или склонности к бюрократизму. Но именно при нем французская армия пропиталась духом рутины. На всякую инициативу смотрели косо. В июне 1940 года генерал Вейган рассказал историю об одном дивизионном генерале, который, получив наставление о различных способах уничтожения танков противника, телефонировал в штаб главнокомандующего, спрашивая, каким параграфом устава предусмотрен один из рекомендуемых методов, а именно метание бутылок с горящим бензином.

Глава армии не был связан с ней живыми человеческими отношениями. Гамелен — это свет без тепла, абстракция. Как мало похож он на Фоша, вдумчивого и в то же время страстного Фоша! Для Фоша было физически невозможно потерять надежду, капитулировать. Гамелен — человек прямо противоположного типа. Он сидел за столом военачальника, как за шахматной доской. Он был вполне способен в определенный момент заявить: «Все потеряно», и смешать фигуры. Маршал Петэн принадлежит к числу людей такого же сорта. Гамелен постепенно превратился в чиновника, правда, очень высокопоставленного, но все же чиновника, который считал себя застрахованным, если ему удавалось в письме к премьеру сделать определенные оговорки или поставить известные условия. Он не умел страстно добиваться поставленной цели. Обладая сам темпераментом ответственного чиновника, он создал по образу и подобию своему множество других чиновников — высших, средних и низших. Республика 1875 года никогда не забывала уроков переворота 2 декабря 1851 года и жила в вечном страхе перед «генералами-заговорщиками». Она считала, что вы-

корчевала эту породу после дела Дрейфуса. Это верно, но при этом она перестаралась.

Гамелен понемногу привык считаться с желаниями французских политиков. Он инстинктивно старался придерживаться «золотой середины». Но, несмотря на это и вопреки распространенному мнению, его отношения с Даладье оставляли желать много лучшего. В течение января, февраля и марта 1940 года Гамелен, — поверим ему на слово, — восемь раз подавал в отставку. Он раздражал премьера своим односторонне-критическим складом ума. «Премьер не понимает меня, — говорил он, — а я не понимаю его». Когда премьером стал Поль Рейно, Гамелен в тот же день поспешил пригласить к себе на завтрак всех, кто, по его мнению, должен был теперь приобрести влияние. Его гости сами смеялись над ним.

В разговоре Гамелен избегал прямо смотреть на собеседника. Когда я бывал у него, он высказывал свои взгляды в самых определенных выражениях и всегда был изысканно любезен. Но однажды, когда Гамелен провожал меня к выходу, я обернулся и, к своему разочарованию, увидел, как он склонился в галантном поклоне и взор его прикован к кончикам его ботинок.

Гамелен жил в своей ставке в Венсенне, в атмосфере постоянной лести. При нем состоял небольшой «военный секретариат» из пятнадцати офицеров, славившихся своей преданностью ему. Ни один из этих офицеров не был на фронте дольше нескольких дней. В этом узком кругу кичились высокой культурой и увлекались книгами по истории и искусству. Я знаю одного офицера, приехавшего с фронта, который прожил в Венсенне две недели; ему ни разу не удалось рассказать о своих фронтовых переживаниях. Никто и не подумал расспрашивать его.

Генеральный штаб находился в Ла Фертэ-су-Жуарр при генерале Жорже, главнокомандующем армиями северного и северо-восточного фронтов, то есть, в сущности, всем фронтом — от Северного моря до швейцарской границы. Здесь собрались все академические знаменитости французской армии, все, кто блеснул на испытаниях и конкурсах — свыше тысячи офицеров. История, вероятно, расскажет, о чем рассуждал этот военный конвент, но, пожалуй, долго придется ждать, пока эта история будет написана.

Генерал Жорж прошел школу в штабе Фоша. Если бы

это зависело от Вейгана, его преемником в январе 1935 года был бы назначен Жорж. Жорж пользовался репутацией твердого и решительного военачальника, и армия верила ему больше, чем Гамелену. У него не было ума Гамелена, но его считали человеком с большой энергией. К сожалению, в октябре 1934 года он был тяжело ранен при покушении на югославского короля Александра (когда был убит также и Барту) и так и не оправился до конца от этого ранения.

Разделение командования произошло, когда генерал Гамелен думал, что ему придется руководить несколькими фронтами (на итальянской границе, в Северной Африке, в Восточной Европе, на севере Франции). Он в праве был считать, что ему как начальнику штаба национальной обороны (не надо смешивать это звание со званием генерал-инспектора, то есть главнокомандующего армией, которое Гамелен получил лишь в начале 1938 года) будут подчинены все вооруженные силы на суше, на море и в воздухе. Если бы вышло так, как он предполагал, то Гамелен занял бы во Франции такое же место, как в Германии генерал Кейтель, а Жорж — как генерал фон Браухич. Но неоправдавшиеся расчеты на участие России, итальянская позиция «невоюющей страны», а также противодействие со стороны некоторых кругов и отдельных влиятельных лиц урезали поле деятельности Гамелена и почти уравнивали его положение с положением генерала Жоржа.

Оба генерала встретились поэтому как соперники. Парадоксальность положения заключалась в том, что генеральный штаб, орган верховного командования, группировался вокруг подчиненного командира. Чтобы поддержать свое достоинство, Гамелен в декабре 1940 года решил разделить штаб главнокомандующего на две части и поместил одну из них (в которую были включены оперативный отдел и «Пятый отдел», являющийся придатком разведывательного) в Мо, на полдороге между Ла Фертэ-су-Жуарр и Венсенном. В результате получилось следующее: главнокомандующий и «военный секретариат» находились в Венсенне; штаб-квартира № 1 — в Ла Фертэ-су-Жуарр; штаб-квартира № 2 — в Мо. Неизбежным результатом было разделение власти.

Существовали также разногласия между Гамеленом и Дарланом, командующим военно-морскими силами — «ад-

миралом флота», как он самовольно себя величал в подражание англичанам. Адмирал Дарлан представлял собою очень любопытную фигуру. Сын местного политика из департамента Ло-э-Гаронн, он сделал карьеру благодаря покровительству своих земляков — президента Фальера и Жоржа Лейга. В последние годы его обурежала мечта занять место начальника штаба национальной обороны. Когда на этот пост был назначен Гамелен, он всячески старался ограничить его права и ослабить его положение. Это не мешало ему постоянно тереться возле Гамелена в Совете национальной обороны. Дарлан всегда щеголял грубым жаргоном «морского волка», который помогал ему скрывать свою вульгарность. Он не любил выступать с большими речами, так как быстро сбивался и терял нить. Он предпочитал бросать короткие реплики, отрывочные восклицания, случайные фразы. Гамелен раздражал его, и он подставлял ему ножку при каждом удобном случае. Что касается военно-морского флота, то Дарлан делал вид, что все обстоит благополучно, для такого командира нет ничего невозможного и он легко мог бы обойтись без английской помощи. А если его ловили на слове (например, когда предполагались операции у Петсамо или в Черном море), он выкручивался из затруднения при помощи очень простого маневра, а именно ставил разные предварительные условия, которые невозможно было выполнить. «Если дипломатия не справляется со своим делом, если она не может раздобыть для меня два порта, которые мне нужны, тогда и с меня нечего спрашивать!» И отговорка была одна и та же, все равно, шла ли речь о Норвегии, или о Турции. Он льстил англичанам, но в глубине души им завидовал и их ненавидел. «Я не хочу кричать на всех перекрестках, но если бы я не одолжил им шесть эсминцев, то...» и т. д. Надо, однако, сказать, что он не был лишен некоторых положительных качеств; у него были организационные способности, и он любил вникать в каждую деталь.

Военная верхушка во Франции в общем сильно напоминала замкнутый аристократический клуб. В период от 1920 по 1940 год сподвижники Жоффра и Фоша и — в несколько меньшей степени — сподвижники Петэна были окружены своего рода апостольским ореолом. Неверующие подвергались преследованиям. Возрастные ограничения обычно служат гарантией против самодержавия всемогу-

щих клик; но после 1919 года для наиболее высокопоставленных особ часто делались исключения. Маршал Петэн оставил командование французской армией в 1931 году, когда ему было 75 лет, а генералу Вейгану, когда он ушел в отставку в 1935 году, было 68 лет. Сравните это с образом действий Гитлера, который в феврале 1938 года поставил во главе армии двух энергичных людей в возрасте немногим больше 50 лет. После 1919 года у германской армии было несколько замечательных руководителей—фон Сект, фон Гаммерштейн, фон Фрич. Но ни один из них не цеплялся за свою должность и ни одного из них не приглашали обратно после отставки.

#### IV

Проследим теперь роль Гамелена во время войны. После того как Россия подписала пакт с Германией, а Италия объявила себя «невоюющей страной», главнокомандующий не пожелал расширить театр войны за пределы Западной Европы. Он был уверен, что рано или поздно Гитлер бросит войска на Голландию и Францию. Сначала он считал, что наступление начнется 12 ноября, затем 15 января (хотя в январе он не вполне был уверен, что поднятая Бельгией тревога действительно обоснована) и, наконец, в апреле. 3 апреля генерал Вейган был приглашен на заседание военного кабинета. Он произнес большую речь, в которой высказался за создание балканского фронта. Вейган был уверен, что достаточно послать три французских дивизии из Сирии и четвертую из Франции или из Туниса, чтобы вокруг них быстро сплотились все сто дружественных дивизий, рассеянных по четырем балканским странам. Гамелен пришел в ужас; он считал подобные планы нелепыми и крайне опасными, так как германская армия на западном фронте скоро будет почти вдвое больше англо-французской и германское наступление может начаться в любой день.

Большое место в стратегическом плане Гамелена занимала блокада. Однако, под давлением нейтральных стран, пришлось ее ослабить. Взамен надо было нанести удар по источникам сырьевого снабжения. Гамелен и Даладьё разрывались между двумя противоречивыми желаниями — не дробить своих сил и не расширять театра вой-

ны, чтобы не привести в движение германскую лавину, а вместе с тем отрезать Германию от существующих источников снабжения.

В попытках отрезать Германию от железа мы оказались более смелыми, даже слишком смелыми. Финны, получив вооружение, требовали людей на помощь против России. Интервенция в Финляндии дала бы нам возможность захватить Нарвик, главный порт по вывозу железной руды в Северном море. Даладье с таким пылом готовил «добровольцев» для генерала Маннергейма, что рисковал втянуться в конфликт с Россией. Это усложнило бы наши проблемы и усугубило бы наши затруднения. Гамелен соглашался на экспедицию, но без особой охоты. Финны спасли нас от риска, подписав 12 марта мирный договор с Москвой. И Гамелен согласился на роспуск 58 тысяч англо-французских войск, составлявших ядро экспедиционного корпуса, предназначенного для отправки в Финляндию. За это его очень ругали в апреле, когда войска срочно понадобились для Норвегии.

28 марта новый премьер Рейно вместе с Гамеленом был в Лондоне. Он предложил более решительный образ действий, чтобы отрезать Германию от железа, а именно интервенцию в норвежских водах. 8 апреля английский флот взял под контроль норвежские воды, а 9 апреля Германия нанесла ответный удар. Английское правительство не отважилось посылать военные суда против береговых батарей Трондгеймского фиорда. Результатом была потеря центральной Норвегии (27 апреля). Рейно обвинял во всем Гамелена, который возражал против расширения операций и против посылки в Норвегию более значительных сил. В Норвегию было отправлено 14 тысяч французов. По мнению главнокомандующего, этого было достаточно. После норвежской кампании звезда Гамелена померкла. Успех в Норвегии поощрил Гитлера к дальнейшему наступлению. 10 мая германские войска вступили в Голландию, Бельгию и Люксембург. Гамелен спешно бросил 22 отборных французских дивизии (в том числе 2 бронетанковых) вместе с 9 английскими дивизиями и огромной материальной частью на помощь бельгийской армии, которая насчитывала около 18 дивизий.

Тут возникает вопрос, который еще долго будет вызывать ожесточенные споры.

Начиная с 1937 года, когда Бельгия усвоила новый по-

литический курс «нейтралитета и независимости», Гамелен твердил всем французским премьерам, что при отсутствии соглашения с бельгийским генеральным штабом, он сможет оказать Бельгии лишь весьма ограниченную помощь. То же самое говорилось и в официальном предупреждении, которое Гамелен послал бельгийскому генеральному штабу 16 января 1940 года (через Даладье и бельгийского посланника).

В мае 1940 года, как и в ноябре прошлого года, когда Брюссель тоже забил тревогу, были двинуты вперед 22 французских дивизии. Но на сей раз Гамелен заявил бельгийцам: «Мы не можем каждые два месяца производить такие опасные опыты. Вы должны принять решение сегодня же до 8 часов вечера. Вы можете, в виде превентивной меры, призвать нас на помощь, и в этом случае мы попытаемся нанести решающий удар, захватив врасплох германскую армию, которая не ждет нападения со стороны вашей границы, так как думает, что вы никогда не откроете нам путь для инициативы, а если откроете, то мы побоимся ею воспользоваться<sup>1</sup>. Вы можете также не обращаться к нам, пока немцы не вторгнутся на вашу территорию. И в этом случае французские войска придут к вам на помощь, но тогда уж не ждите, что наши войска смогут пройти далеко за пределы французской границы, так как в Бельгии будут немцы». Сказано было ясно. К сожалению, действия оказались не такими четкими, как слова.

Французское и английское правительства не отказывались от своей декларации 1937 года, в которой они обязались защищать Бельгию, несмотря на то, что она расторгла союзные отношения с ними. Более того. После тревоги 12 ноября Гамелен пришел к соглашению с бельгийским генеральным штабом. Согласно намеченному плану, он в случае необходимости должен был продвинуть войска на линию Намюр — Лувен — Антверпен.

Говорили, будто на этом настояла Англия, желавшая защитить бельгийское побережье, но это неверно. Англи-

---

<sup>1</sup> Таким образом оборонительная доктрина Гамелена не только допускала контрнаступление против неприятеля, дезорганизованного своими атаками на укрепленные линии, но шла дальше и позволяла искать решение в маневренной войне. Генерал Жиро держался таких же взглядов.



чане приняли план Гамелена только после нескольких дней оживленных споров.

Практически заявление Гамелена от 16 января означало лишь, что он оставляет за собой право ограничить будущие операции, если этого потребуют обстоятельства. Гораздо важнее было, что он не считал для себя возможным требовать, чтобы Даладьё и Чемберлен отказались от декларации 1937 года; другими словами, он чувствовал себя морально обязанным сделать все, чтобы выполнить политические обещания Лондона и Парижа. Но и здесь, в Бельгии, в зоне, имеющей такое жизненное значение для Франции, дела главнокомандующего, как и в Норвегии, разошлись с его словами.

Утром 10 мая французские и английские войска вступили в Бельгию. Вопреки опасениям французского штаба, они не подверглись воздушным атакам. Вместо того неприятельские самолеты наносили удары по тылу, по железнодорожным станциям и коммуникационным линиям.

Легкость этого продвижения сама по себе должна была вызвать подозрение. Но у нашего командования не возникло никаких подозрений, оно не соблюдало даже простой осторожности. Согласно первоначальному приказу, передвижение должно было совершаться только ночью. Но так как небо было чисто от самолетов, то союзные войска продвигались также и днем.

Вместо того чтобы двинуть свои главные силы к Седану, Живэ и Намюру и заградить традиционный путь германского вторжения, Гамелен направил их за Антверпен. Генерал Жиро, самый стремительный из французских генералов, продвинулся даже в Зееланд, хотя он не одобрял всей операции в целом, так как видел, что инициатива уже не в наших руках, ибо бельгийцы обратились за помощью только после вторжения германских войск.

Я не буду приводить все подробности бельгийской кампании. Достаточно сказать, что, по расчетам Гамелена, бельгийская армия должна была в течение пяти дней задерживать неприятеля на канале Альберта; эта отсрочка дала бы ему возможность занять своими войсками линию Намюр — Антверпен, как он предполагал еще в ноябре. Согласно оборонительной теории, следовало скорее выжидать германской атаки на укрепленных позициях в Север-

ной Франции или в крайнем случае на Верхней Шельде. Однако Гамелен предпринял гораздо более рискованный маневр. Как это случилось?

## V

Возможны два объяснения. Гамелен знал, что за два дня до этого Рейно решил назначить главнокомандующим Вейгана, а может быть, даже Жиро или Хюнтцигера, на том основании, что Гамелен недостаточно энергичен. Психологически легко допустить, что он пожелал доказать свою способность к решительным и даже рискованным действиям.

Но есть и более вероятное объяснение. Гамелен всегда был апостолом контратаки, и он думал, что сейчас ему представляется на редкость благоприятный случай привести войну к быстрому и успешному завершению. Он исключал, конечно, всякую лобовую атаку на германские укрепления, но он считал, что если германские войска сами пойдут в атаку и наткнутся на линию бетона и стали, то они придут в расстройство и тогда можно с успехом начать ответное наступление. Гамелен надеялся, что бельгийские укрепления вдоль канала Альберта, укрепленный район Льежа и сильно пересеченный, трудно проходимый район Арденн сломят острие германских атак. Германское продвижение будет замедлено этими препятствиями, а германские войска понесут колоссальные потери, и тогда он сможет стереть их с лица земли. Ему так хотелось осуществить эту попытку, что он не побоялся пойти на риск и выдвинуться далеко вперед за французскую укрепленную линию.

По сведениям генерального штаба, главную свою атаку немцы собирались направить на Антверпен. Это очень существенно, так как объясняет, почему Жиро получил приказ пройти на запад от города. Германская армия должна была оказаться между молотом и наковальней — армией Жиро и главными французскими силами, идущими с юга. Этим объясняется также и гибельное упрямство французов. Французский план рухнул к вечеру 10 мая. Но французскому верховному командованию потребовалось целых пять дней, чтобы понять это. Любой командир, внимательно следивший за каждой фазой сражения и умею-

ший отдавать себе отчет в происходящем, еще вечером 10 мая отказался бы от утреннего плана и отдал бы приказ об отступлении. Гамелен, Жорж и все прочие потратили пять дней на изучение германской тактики, а вдобавок у них было слишком мало сил для перехода в контрнаступление, и в результате катастрофа сделалась неизбежной.

Любезный Гамелену классический военный мир трех измерений встретился с миром четырех и даже пяти измерений. Молниеносная война преподнесла генералиссимусу целый ряд неожиданностей. Прежде всего бельгийцы не удержались на линии канала Альберта. В первый же день, вернее, в первое утро, противник пересек Маас возле Маастрихта и канал Альберта между Маастрихтом и Гассельтом и захватил часть льежских укреплений. На второй день с утра немцы шли уже через считавшиеся непроходимыми арденнские леса и горы по направлению к Седану и Монмеди. На третий день они пересекли Маас в двух пунктах между Динаном и Седаном. Решающее звено французской линии укреплений оказалось под угрозой. Достигнув таких необычайных результатов, германская военная машина показала себя еще с одной стороны. Дело не в том, что самолеты и танки проникали за линию фронта, а в том, что они стали орудием разрушения важнейших коммуникаций и морального состояния в тылу. Замешательство, вызванное бельгийской неудачей на канале Альберта, еще более усилилось, когда французские и английские передовые части столкнулись с немцами, не имея ни нормального боевого построения, ни нормально функционирующего транспорта и других подсобных частей, ни стоящих наготове резервов. Союзные армии были захлестнуты океаном беженцев и дезорганизованных войсковых частей и едва могли продвигаться.

Французы и англичане очень хорошо дрались в нескольких местах — к западу от Брюсселя, у Лувена и между Намюром и Динаном. Сражение между механизированными войсками, у Сен-Трон, в котором участвовали две из наших трех или четырех бронетанковых дивизий, войдет славной страницей в историю. Но все это мало могло помочь, так как 12 и 13 мая на фронте от Динана до Седана была разбита 9-я армия под командованием генерала Корэпа. Именно здесь началось образование «мешка», который через 8 дней растянулся до Аббевиля. Бланшару,

Горту и Жиро, находившимся на севере, предстояло одно из двух: поспешно отступить или попасть в окружение.

Гамелен несет ответственность за всю кампанию в целом, но определенная ответственность падает также на генерала Корапа. Правда, сейчас еще нельзя сказать, где кончается его ответственность и начинается ответственность Гамелена. Армия Корапа была расположена на стыке между Маасом и линией Мажино. Специалисты из генерального штаба утверждали, что очень легко помешать противнику переправиться через Маас, хотя генерал де Голль в своей книге, вышедшей еще в 1933 году, высказывал противоположные взгляды.

Армия Корапа занимала очень растянутый фронт. Так, например, говорили, что дивизия генерала Вотье растянулась на 26 километров. А гарнизонная жизнь, повидимому деморализующе действовала и на офицеров, и на солдат. Во всяком случае 9-я армия слишком поздно двинулась к Маасу, и не все части успели занять свои позиции, когда началась атака.

Генерал Корап до 1933 года был начальником штаба у Вейгана, но он никогда не блистал военными талантами. В порядке старшинства он получал посты, отнюдь не соответствовавшие его способностям. Это не был человек железной выдержки, который мог бы что-нибудь спасти от ударов обрушившейся на него страшной атаки. Он был смещен, и на его место 15 мая был назначен генерал Жиро. Тем временем штаб 9-й армии рассеялся на все четыре стороны. Жиро, разъезжавший повсюду в поисках офицеров для формирования нового штаба, 18 мая был захвачен немцами в плен.

Лишь к вечеру 15 мая Гамелен отдал себе отчет в чудовищных размерах поражения. До тех пор он воображал, что все еще можно наладить. Это одно показывает, как плохо он разбирался в ходе сражения. Но внезапно глаза его раскрылись. Это случилось после происшедшего в тот день заседания Совета национальной обороны. Вернувшись к себе в Венсенн, он позвонил по телефону Даладье и обрисовал положение в самых мрачных красках. Даладье был ошеломлен.

16 мая меня поднял с постели один из моих друзей, который пришел поделиться со мной свежими сведениями, полученными им от графини де Порт. Оказывается, германская бронетанковая колонна на рассвете достигла

Лаона. Жорж Мандель, наш энергичный министр колоний, имел такие же сведения. Он позвонил Гамелену и сказал, что у него сидит сейчас Рейно. Сначала премьер не хотел сам разговаривать с главнокомандующим — тем самым, которого всего лишь неделю назад Даладье отказался сместить. Но когда Гамелен подтвердил, что немцы могут в тот же вечер достичь Парижа, Рейно почувствовал прилив энергии. Правительство решено было перевести в Тур, архивы министерства иностранных дел приказано было уничтожить. Но хотя германские колонны стояли в полной готовности и авиация могла защитить их от французской артиллерии, немцы не торопились к Парижу. Свою первую задачу они уже выполнили: разорвали коммуникации за линией французского фронта. Теперь они собирались повернуть к Ламаншу. В середине дня Рейно успокоился, и министры остались в Париже.

На шестой день боев Гамелен, этот невозмутимый Будда в генеральском мундире, признал, что он потерпел поражение. Неисправимо косная военная система, которую он унаследовал от своих предшественников и которой он сам придал законченную форму, бесповоротно осужденная, была повергнута во прах.

Словно освещенная вспышкой молнии, предстала перед ним вся картина. Строители линии Мажино, пожертвовав глубиной и гибкостью ради оцепенелой мощи, просчитались. Устоять или пасть линия могла только вся целиком; ее нельзя было заштопать, передвинуть или соорудить заново в другом районе. Разве только в Северной Африке можно было еще создать ее стратегическое подобие. Планы некоторых генералов, предлагавших отступить и организовать новые опорные пункты в Бретани или в Морване, между Верхней Луарой и Саоном, растаяли через несколько дней, как дым.

Значит ли это, что вся оборонительная доктрина была колоссальной ошибкой? Не обязательно. Многого ли достигли бы немцы, если бы у Франции было достаточно современных противотанковых пушек, если бы Гамелен добился ускоренного производства всех видов оружия? Но чем больше мы будем соглашаться со стратегическими теориями Гамелена, тем суровее мы должны осудить бесптолковщину в применении их на практике.

Вечером 15 мая Гамелен разговаривал с Даладье, а на следующее утро с Манделем и Рейно. Он говорил

вполне откровенно, не пытаясь скрывать своей тревоги. Но он не сомневался, что Рейно его сместит, и хотел уйти с видом человека, который знает больше, чем говорит, и верит в успех. С одобрения Даладье, но не посоветовавшись с Рейно, он издал 17 мая свой знаменитый приказ «Победить или умереть». Этот приказ напоминает обращение Жоффра к войскам накануне битвы на Марне, которое, весьма возможно, сочинял тот же Гамелен. Некоторые авторы попадают в плен к своему словарю. Но то, что могло произвести впечатление 25 лет тому назад, теперь звучало фальшиво. Действительно ли к Гамелену вернулась надежда? Или он боялся позора больше, чем поражения?

Как впоследствии выяснилось, на заседании кабинета 17 мая Рейно не удалось добиться замены Гамелена Вейганом. На следующий день главнокомандующий доказывал свою правоту Даладье и Петэну, который только что был назначен заместителем премьера и главным военным советником французского правительства. Оба они были склонны согласиться с доводами Гамелена. Даладье был не очень расположен к Вейгану, так как знал, что Вейган его недолюбливает, а Петэн, правда, не возражал в 1928 году против назначения Вейгана на должность начальника генерального штаба, а потом, в 1931 году — против присвоения ему звания главнокомандующего, но все же не забыл, как Фош и вся группа Фоша, к которой принадлежал и Вейган, резко критиковала его, Петэна.

Но Рейно нельзя было запугать, и 19 мая в 3 часа дня он назначил Вейгана главнокомандующим французской армией. За день до этого Вейган имел краткую беседу с Гамеленом и попросил разрешения просмотреть его папку с приказами. Рейно и Бодуэн рассказывали потом, что Гамелен не мог показать Вейгану ни одного приказа, так как он всегда разрешал своим подчиненным действовать по собственному разумению и не вмешивался в их стратегию. Возможно, что на это свидетельское показание нельзя вполне положиться. И Рейно, и Бодуэна тревожил вопрос, как отнесется общественное мнение к смене главнокомандующего, и они были непрочь сваливать все ошибки на Гамелена. Но и Вейган тоже говорил друзьям, что Гамелен не мог указать ему расположения наших войск, и, чтобы отыскать французские позиции, Вейгану пришлось самому производить наблюдения с самолета. Будем, одна-

ко, справедливы к Гамелену и добавим от себя, что генерал Жорж, преданный сторонник Вейгана, мог дать ему не больше сведений, чем Гамелен. Так или иначе, история эта доказывает не беззаботность Гамелена, а только то, что всякая связь между ставкой главнокомандующего и командирами действующей армии просто-напросто прекратилась.

## VI

После отставки Гамелена по всей Франции распространился слух, что он покончил самоубийством. Но один из его друзей 23 мая посетил его, и оказалось, что Гамелен чувствует себя хорошо и готов отстаивать свою политику. Он признавал, что Франция в большой опасности, но верил, что еще не поздно ее спасти. Друзья Гамелена впоследствии настойчиво указывали, что 19 мая в 10 часов утра, то есть за пять часов до своего отстранения, Гамелен послал генералу Бийотту, командовавшему французскими, английскими и бельгийскими дивизиями, приказ о контратаке. Вейган начал свою деятельность с того, что отсрочил эту контратаку. Защитники Гамелена приводили еще и такой пример: если бы Жоффре отстранили от командования после Шарлеруа, если бы тогдашнее правительство не дало ему возможности перегруппировать свои силы и снова повести армию в бой, то Франция не одержала бы победы на Марне.

Конечно, людей, стоявших у власти в 1940 году, нельзя сравнивать с людьми 1914 года — Пуанкаре и Мильтераном. Но если бы Гамелен в самом деле так верил в возможность успешной контратаки, то он бы мог еще в последний день настоять на своем в совете министров, несмотря на оппозицию Рейно. Дошло до того, что английский генеральный штаб потерял всякое доверие к французскому и составлял свои собственные оперативные планы<sup>1</sup>.

Согласимся на минуту с основной доктриной Гамелена. Забудем, что французский генеральный штаб недооценил германскую стратегию, хотя давно уже было известно, что

---

<sup>1</sup> Вейган потом утверждал, что английский штаб не соглашался с его приказами о наступлении. Англичане упорно отрицали это. По сведениям из достоверных источников, Вейган с самого начала считал, что армии, отрезанные на севере, там и должны оставаться, чтобы отвлекать как можно больше германских сил.

немцы рассчитывают прорваться и предполагают пустить вперед авиацию и танки, пользуясь авиацией как особым видом артиллерии; забудем и о том, что генеральный штаб игнорировал политические и психологические средства Германии. Все же трудно объяснить, почему генеральный штаб опрометчиво отказался от обороны и очертя голову бросился в контратаку? Почему пренебрегли обороной Мааса — этих исторических «ворот во Францию»? Почему во время передышки между сентябрем 1939 года и маем 1940 года укрепления типа линии Мажино не были продолжены от Монмеди до Северного моря? И почему там не расположили постоянные, специально обученные для этой службы войска? Почему армии, прикрывавшие прежде французский левый фланг, не были оттянуты из Бельгии до 15 или 16 мая, чтобы закрыть брешь, зияющую у них в тылу? Почему не оказалось общих армейских резервов, которые можно было бы послать им на помощь? Почему делались такие недостаточные попытки для освобождения французской и английской армий от многотысячной волны беженцев, которые, в конце концов, парализовали военные передвижения, подобно тому как лилипуты парализовали гиганта, сковав его мириадами крохотных цепей?

Даже самые выдающиеся военные авторитеты едва ли рискнут полностью ответить на такие вопросы.



## Т а й н а Г а м е л е н а

Если, как утверждают иногда, опыт лишь в том случае представляет собой известную ценность, когда он является ступенью к дальнейшему совершенствованию, то мой опыт с генералами мало чего стоит. Ибо ему как раз недостает постепенного развития.

На протяжении многих лет я не добавил ничего к тому, что я узнал еще будучи рядовым, в то время когда пехотный сержант представляет собой для человека его обычный горизонт, на который он осмеливается взирать без особого смущения, хотя и не без страха. Офицер — это уж далекая вершина, что же касается генерала, то это нечто вроде Гауризанкара, укрытого облаками и совершенно фантастического.

И вот все сложилось так, что после моего знакомства с пехотными сержантами первым офицером, с которым мне пришлось столкнуться, был Вейган. Он в то время был генерал-инспектором армии, то есть был облечен полномочиями генералиссимуса на случай войны. Случилось это около семи лет тому назад.

Подумав, я прихожу к заключению, что все это, разумеется, звучит несколько проще, чем было на самом деле. Конечно, во время моих путешествий по Европе мне случалось встречаться в посольствах не с одним генералом, однако в посольствах эта порода необычайно выдрессирована и безобидна. Мне не приходило в голову делать какие-нибудь выводы на основании этих встреч, так же как мне не пришло бы в голову хвастать, что я прекрасно знаю первобытную жизнь индейских племен только потому, что в Большом каньоне я видел, как отельные служащие, наспех переодетые в сиукских воинов, исполняли воинственный танец на террасе отеля.

Итак, я познакомился с Вейганом на одном завтраке, который был устроен моими друзьями. Хозяин предусмотрительно предупредил нас обоих. Генерал Вейган высказал некоторые опасения. «Я слышал, — сказал он, — что этот ваш Ромэн такой левый...» — «Нет, нет, вот погодите, вы увидите. Это человек широких взглядов, и он интересуется всем на свете».

После завтрака нас оставили вдвоем в саду, так что мы могли побеседовать с глазу на глаз. К счастью, я немедленно обнаружил в нем некоторые черты, свойственные генералам вообще, черты, которые проявляются в них все более и более отчетливо, чем выше вы поднимаетесь по лестнице военной иерархии, — подкупающую учтивость, приветливость, внимание к собеседнику, то общее впечатление непритязательной скромности, какая присуща разве лишь совсем молоденькой девушке; хотя должен признаться, что теперь редко приходится встречать молоденьких девушек, которые были бы столь же скромны.

Едва успели мы с Вейганом обменяться несколькими фразами, как в памяти моей выплыла из прошлого фигура одного сержанта, с которым я чувствовал себя далеко не так непринужденно, и я подумал, что если бы здесь был сержант Гамонэ, нам обоим было бы здорово не по себе, и мне, и Вейгану.

Я припоминаю, что я почти тут же спросил его, какую роль, по его мнению, будет играть авиация в будущей войне? Не следует думать, что это свидетельствует о какой-то моей исключительной прозорливости; просто я читал по этому вопросу в журналах статьи специалистов. Авторы их утверждали, что успехи, достигнутые авиацией, должны до такой степени изменить условия войны, что теперь уже будет неразумно возлагать надежды на большую численность войск. В частности, было немало разговоров о теориях некоего итальянского генерала Дуэ. Во Франции некоторые государственные деятели из левых, и даже — что следует отметить — из крайних левых, утверждали, что денежные средства, необходимые для того, чтобы продлить срок воинской повинности, могли бы с большей пользой пойти на создание мощного воздушного флота. Другие в то же время предостерегали, утверждая, что если Германия и не имеет права строить военные самолеты, то она строит крупные коммерческие воздушные корабли, которые легко превратить в бомбардировщики.

Он отвечал мне, тщательно взвешивая интонацию каждой фразы: «Конечно, такими соображениями пренебрегать нельзя. Однако авиация не может довести дело до решительного конца. Чтобы решить дело, вы должны завладеть полем битвы, а воздушные силы никогда этого сделать не могут».

Он говорил и еще кое-что, и все это было вполне правдоподобно. Так, например, он сказал, как важно было бы для воздушного флота располагать базами на определенном расстоянии от фронта и о тех трудностях, которые при этом возникают. Он не утверждал, что пехота всегда останется «царицей боя», он не повторял таких избитых фраз. Но у меня создалось впечатление, что он не верит в то, что современные механизированные боевые средства могут произвести переворот в тактике и стратегии.

В тот же день я узнал (хотя он говорил это и не мне, а кому-то другому), что он скоро достигнет предельного для военного возраста, но не собирается ничего делать для того, чтобы удержаться на своем посту, так как он убежден, что устав, предусматривающий повышение в чинах молодых офицеров, по существу разумен.

Это его отношение к уставу следует поставить ему в заслугу, так как у него сохранились еще прекрасная выправка и те крепкие, гибкие мускулы, которые большинство мужчин обычно теряет к тридцати годам. Легко можно было себе представить, как он совершает верхом свой объезд — в тридцать миль в окружности.

И вот поэтому, когда мы распрощались, я сказал: «Какой обаятельный человек — полная гармония. Невозможно обнаружить в нем ни единой черты «полковника Блимпа»... И все же (прибавил я про себя) будем надеяться, что в нем нет также ничего и от психологии кавалериста». Это на моем языке было намеком на тех генералов, которые в четырнадцатом году были убеждены, что решительная кавалерийская атака сметет «хваленую тяжелую артиллерию гуннов».

Мне припоминается еще одно свидание, которое произошло несколько позже. Я часто задумывался над ним в течение этих последних месяцев, ибо события придали ему совершенно особое значение. Это произошло, если не ошибаюсь, во второй половине 1934 года.

В это время я, хотя инициатива исходила и не от меня, оказался во главе «Движения 9 июля», того движения,

которое объединяло все «молодые» группировки в политике.

Многие — с основаниями или без оснований — возлагали большие надежды на это движение или, во всяком случае, полагали, что с ним следует считаться.

И вот случилось так, что лейтенант-полковник Дидло, начальник штаба генерала Вейгана, явился ко мне с визитом. Он принес мне свою статью, которая только что появилась в «Ревю Эбдомадэр». Он заявил мне, что он был бы очень счастлив, если бы я нашел время подумать над этим вопросом, «потому что, может быть, когда-нибудь вам случится высказать свое мнение по этому поводу». Статья эта касалась «новой армии». Она была очень хорошо написана и, на первый взгляд, весьма тщательно продумана.

Только недавно я догадался, что именно она имела в виду. Как раз в 1934 году вышла в свет ныне знаменитая книга Шарля де Голля. Тогда я, как и почти все в то время, о ней еще не слышал. Однако ее заметили в военных кругах. Статья, написанная лейтенант-полковником Дидло, ближайшим сотрудником Вейгана, была целиком посвящена, как я впоследствии понял, разбору книги де Голля и направлена против идей де Голля. Целью статьи было показать общественному мнению, насколько опасно было бы создавать профессиональную армию, состоящую, главным образом, из специалистов, которые сражались бы независимыми объединениями, располагая при этом мощным усовершенствованным вооружением.

## ИСТОРИЯ С РЕЙНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

Когда познакомился я с Гамеленом? Точно ответить на этот вопрос я затрудняюсь. Вероятно, на каком-нибудь официальном завтраке или обеде. И в течение некоторого времени я продолжал встречаться с ним только на такого рода раутах.

По мере того как угроза войны все возрастала вокруг, всякий, кто горячо принимал к сердцу вопросы войны и мира, не мог не смотреть без жадного любопытства на этого человека, от которого когда-нибудь, в один неожиданный миг, будут зависеть все наши отдельные судьбы. А кроме того я слышал от кое-кого из своих друзей, которые к этому времени стали государственными деятелями,

какой вес приобретает в критические минуты мнение начальника генерального штаба для решений правительства. Так, например, в 1936 году, когда Гитлер двинул войска, чтобы занять Рейнскую область, мнения во французском кабинете по вопросу о той позиции, которую должна занять Франция, разделились. Следует ли действовать, или следует выжидать? И тогда простой технический аргумент начальника штаба сделал то, что весы склонились в сторону бездействия. «Если вы хотите, чтобы я двинулся в Рейнскую область, нужно объявить всеобщую мобилизацию, ибо в моем распоряжении нет мобильных войск и нет возможности создать их в единый миг». Французский кабинет не решился мобилизовать пять миллионов человек для такой чисто полицейской операции.

Постоянный мобильный корпус — это было именно то, на чем настаивал де Голль в своей книге два года назад, доказывая с бесспорной ясностью, как из-за отсутствия такого рода оружия Франция всегда будет обречена выбирать бездействие и смотреть на то, как снова и снова нарушается мир, пока сама она не окажется втянутой во всеобщую войну в самых неблагоприятных для нее условиях. Но генеральный штаб не обратил никакого внимания на его доводы, и урок инцидента в Рейнской области прошел для этих людей безо всякой пользы. Ибо, когда опасность войны миновала, никто больше не слышал о том, что они срочно предпринимают какие-нибудь меры для создания подобного корпуса, или что они собираются представить такого рода проект на рассмотрение парламента, который, по всей вероятности, не отклонил бы его.

И вот поэтому, всякий раз когда я видел Гамелена, я всегда старался немножко поговорить с ним или до, или после обеда.

Трудно представить себе человека более приветливого и в котором было бы так мало надменности. Так как он всегда держал себя совершенно непринужденно, то и вы невольно чувствовали себя с первых же слов вполне непринужденно. Если вы потом никак не могли вспомнить, когда же вы собственно познакомились с ним, то это только потому, что он всегда держал себя с людьми так, точно это были его давнишние знакомые. Когда вы встречались с ним после долгого перерыва, после того, как не видели его несколько месяцев, у вас всегда было такое впечатление, словно вы просто вернулись к прерванному раз-

говору. Если вам случалось выходить из комнаты вместе с ним, то всегда приходилось настаивать, чтобы он прошел в дверь первым. И тогда его улыбка ясно говорила: «Ну что ж; хорошо, старикам первое место». Физически—представьте себе человека среднего роста и телосложения, со светлой розовой кожей в тонких прожилках; глаза светлые, чуточку слишком настороженные, но добрые; шелковистые, довольно светлые волосы с рыжеватым отливом, маленькие усики. Морщин мало, они почти незаметны. Впечатление прекрасно сохранившегося, спокойного, но во всяком случае не пышащего здоровьем. У него был приятный голос, и он говорил размеренным и убедительным тоном и к своему собственному голосу не прислушивался. Он был превосходный слушатель, никогда не прерывал и ухитрялся никогда не противоречить. И вы немедленно чувствовали, что вам хочется согласиться с этим человеком, чей авторитет заключал в себе так мало принудительности. Но в этом скрывалось точно какое-то волшебство, и, в конце концов, вы не могли решить, удалось ли вам убедить его, или каким-то неуловимым путем он сумел убедить вас.

Однажды я спросил его, в каком положении находятся приготовления германской армии.

— Они делают громадные усилия, — ответил он, — и эти усилия, конечно, дают свои результаты. Но есть один пробел, который им заполнить будет довольно трудно, — у них недостаточно подготовлены те классы, призывные года которых падают на период между ликвидацией прежней армии и восстановлением воинской повинности.

Он говорил еще о недостатке подготовленных офицеров, в особенности низших командиров и офицеров младших чинов, и о невозможности создать эти кадры из ничего. Он считал, кроме того, что в высшем командном составе и генеральном штабе у немцев есть как бы разрыв традиции и что сдвиги, происшедшие в армии благодаря политическим событиям, еще усилили это.

— Я вижу у них теперь на ответственных постах очень мало тех генералов, которые воевали в 1918 году. У нас почти все дивизионные — это генералы 1914 года, а заметить чем-нибудь равноценным людей такого опыта весьма трудно.

Когда разговор коснулся авиации, он ограничился не-

сколькими словами, сказав, что Франция сейчас переживает в этом отношении переходный период и что нам нужно поторопиться. Он дал понять, что, в конце концов, он за это отвечать не может. Впечатление было такое, будто он сказал: «Если были допущены ошибки и у нас терпели халатность, то я здесь во всяком случае ни при чем».

Он никогда не говорил подробно о вооружении армии. Но казалось, что в этом отношении он удовлетворен, и самые умалчивания его по этому поводу действовали на слушателя успокаивающе. Я ни разу не слышал от него какого-нибудь намека, не чувствовал какого-либо замалчивания или сдержанного вздоха, который можно было бы истолковать, например, так: «Я много мог бы сказать, но...» или: «Вы, которого может услышать и общественное мнение и министры, идите и вдолбите им, что у меня нет необходимой материальной части, что мы должны сделать колоссальные и совершенно неотложные усилия, иначе мы очутимся перед катастрофой».

### СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ

Он редко говорил о себе, о своем прошлом. Зато о нем говорили другие, и обычно с большой похвалой. Рассказывали, что он с самого начала последней войны был одним из наименее видных, но в то же время одним из самых деятельных помощников Жоффра; одним из тех, кого Жоффр, который несколько ревниво относился к своему авторитету, выделял благодаря его умению слушаться. Передавали, что Гамелен написал собственной рукой приказ, который двинул войска в битву при Марне, и настоял, чтобы Жоффр подписал его. Вся его деятельность во время мировой войны носила тот же отпечаток — уменья приспособляться к условиям, скромности и деловитости.

Теперь я могу признаться, что я в моем «Вердене» имел в виду именно Гамелена, когда набрасывал абрис лейтенант-полковника Г. Но я не пытался писать портрет и не связывал себя точными биографическими подробностями. Сходство заключается скорее в нравственных чертах, в психологии, и оно не содержит ничего такого, что сколько-нибудь роняло бы человека, о котором здесь идет речь. В течение 1938 года, который был весьма обилён по

части сигналов опасности для тех, кто управлял Францией, я не раз имел возможность говорить с этими людьми о Гамелене.

— Что думает об этом Гамелен? — часто спрашивал я.

Мне рассказывали о двух особенно драматических заседаниях, одно из которых имело место во время майского кризиса, а другое как раз перед Мюнхеном. Единственные люди, присутствовавшие на этих собраниях, составляли вокруг Даладье настоящий военный кабинет, тогда еще неофициальный. Это были: министр национальной обороны, министр иностранных дел, а также командующие армией, флотом и воздушными силами — Гамелен, Дарлан и Вийемен, которых вызывали туда для того, чтобы каждый из них дал ответ на чрезвычайно важный вопрос: «Допустим, что завтра Франции придется выступить, — сможет она это сделать или нет?» Или другими словами: «Есть ли у нас возможность сказать нет, если это будет необходимо, или мы должны в силу обстоятельств капитулировать?» В мае Дарлан ответил, что флот находится в таком состоянии, которое вполне удовлетворяет разумным требованиям, и что, если нас поддержит британский флот, мы на море можем ничего не бояться. Это была правда.

### **«АРМИЯ ГОТОВА»**

Вийемен, которого незадолго перед этим Геринг приглашал в Берлин, и не для того, чтобы обмануть его насчет подготовки германских воздушных сил, но, наоборот, как раз для того, чтобы внушить ему страх, показав ему все, с безнадежным жестом поднял руки и сказал: «После двух недель войны у нас не останется ни одного самолета». В сентябре он был настроен не более оптимистично. Он даже добавил еще одну точную и потрясающую подробность: «Сначала нам придется посылать только одних резервистов, потому что их тут же уничтожат, а наших хороших летчиков надо будет побереечь до тех пор, пока мы не обзаведемся хорошими самолетами». А некоторые еще до сих пор удивляются, почему это в 1938 году французское правительство проявило там мало воодушевления, когда речь зашла о войне.

Что же касается Гамелена, то и в сентябре, так же как и в мае, даже не потрудившись обернуться на двух своих



соратников, он заявил с улыбкой, полной скрытого значения: «Армия готова».

Как-то раз я сказал Жоржу Боннэ:

— Конечно, это очень хорошо, что у нас есть вполне подготовленная армия, даже если и не имеется воздушного флота. Но ведь не можем же мы ее бросить на линию Зигфрида. Так как же быть? Нам нужно располагать каким-то планом. Как вы думаете, у Гамелена имеется такой план?

— Да, говорят, что есть.

Это было все, что я узнал по этому поводу, и я не уверен, что Боннэ было известно что-нибудь более определенное. Гамелен и Даладье оба имели одинаковое право на титул «молчаливого». Но не было никаких доказательств того, что генералиссимус доверялся хотя бы даже Даладье.

Лично я думал, что план Гамелена, вероятно, состоит в том, чтобы, воспользовавшись осью Рим — Берлин (столь шумно рекламируемой в обеих этих столицах), окончательно связать судьбу Италии с судьбой Германии, двинув в случае войны мощное наступление на Италию и ударив таким образом на Германию с фланга. Боннэ ответил: «Ваша гипотеза могла иметь значение в мае, но сейчас уж половина сентября, и говорят, что проходы в Альпах уже закрыты».

Осенью 1938 года я шел как-то по Кэ д'Орсэ с председателем палаты Эррио.

— Мы все очень любим Италию, — сказал он, — но люди, которые воображают, что, расшаркиваясь перед ней, мы можем перехитрить ее, проявляют опасную наивность. Я перепробовал решительно все, но безо всяких результатов. Более того: в случае конфликта с Германией, самый скверный трюк, который может с нами сыграть Италия, — это заявить о своем нейтралитете. Это освободит Германию от одной очень важной заботы. Италия — самая уязвимая часть «оси», и это такого рода заложник, которого нам надо крепко держать в руках.

— И необходимо, чтобы мнение Италии, — подхватил я, — которое стоит много больше, чем мнение ее правительства, было на этот счет достаточно осведомлено. Вполне ли отчетливо представляет себе это наш генеральный штаб? Мне, например, не кажется, что наши приготовления на Корсике достаточно внушительны.

Эррио сделал недовольную мину и закивал:

— Гамелена, как вы, конечно, знаете, никак не обвинишь в чрезмерных дерзаниях. По правде сказать, я лично опасаюсь обратного; по-моему, это скорее человек нерешительный.

Так, в первый раз, совершенно отчетливо, я услышал подобного рода мнение о Гамелене, и говорил это человек, чьи слова имели вес.

Август 1939 года, последнюю неделю перед войной, я провел в самом тесном контакте с правительством. Мы все надеялись, что можно еще как-то сохранить мир, и Жорж Боннэ проявлял в этом особенную настойчивость. Но проблему эту приходилось все более и более облекать в военные формулировки, и вопрос «Что думает Гамелен?» возникал теперь чаще, чем когда-либо.

И отвечали на это так: «В отношении армии он не беспокоится, но, повидимому, он очень озабочен состоянием воздушных сил. В этой области нам не удастся достигнуть нужного уровня, по крайней мере до ноября. Он надеется, что германская авиация не доставит ему слишком больших хлопот во время мобилизации. К счастью, мы как раз только что получили нужное нам оборудование для противовоздушной обороны».

Утром 26 августа, дата, которую я никогда не забуду, — это совпало кстати с днем моего рождения — мне позвонил один видный государственный иностранный деятель, который был в Париже проездом, и попросил меня повидаться с ним по вопросу «чрезвычайной важности».

Этот человек был из числа двух-трех наиболее сильных политических умов, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться. По некоторым причинам я не буду здесь называть его имени, на этот раз сделав исключение из моего правила говорить все. Я попросил его прийти немедленно.

#### **ПЛАН, КОТОРЫЙ ИМЕЛ В ВИДУ ВЗЯТЬ МУССОЛИНИ ЗА ГОРЛО**

Он сказал: «Мне не нужно объяснять такому человеку, как вы, насколько положение серьезно. По моему мнению, война — вопрос нескольких дней. Я очень опасаюсь за Францию и Англию. Создается такое впечатление, что они вступают в эту войну так, словно это какое-то неприятное

й страшно скучное дело, но безо всякого беспокойства за ее исход. Это — ужасная ошибка. Вам не выиграть этой войны, если вы не проявите воображения, смелости и творческой силы. Если вы будете только уклоняться от всякого риска и держаться линии наименьшего сопротивления, вы проиграете войну раньше, чем она успеет начаться, а последствия этого будут ужасны. Так вот слушайте. Вы пользуетесь некоторым влиянием в правительственных кругах. Пойдите к Даладье и Боннэ и скажите: Муссолини человек не очень умный, но искуснейший из актеров, и он собирается сыграть с вами чудовищную штуку. Он будет выжидать в бездействии достаточно продолжительное время. Он даже заставит вас заплатить ему за это. Это будет самая лучшая помощь, которую он сможет оказать Германии, ибо он будет снабжать Германию и защищать ее южный фланг. Он объявит вам войну ровно за две недели до того, как победа Гитлера будет обеспечена, чтобы получить свою долю добычи». На самом деле Муссолини проявил даже еще большую осмотрительность.

«Ваше правительство, — продолжал мой собеседник, — немедленно должно послать Муссолини такого рода ноту: мы даем вам сорок восемь часов, чтобы решить — с нами вы или против нас? Именно сейчас Муссолини хочет во что бы то ни стало избежать войны. Он только что получил ужасающие донесения о состоянии своих воздушных сил и артиллерии, о чем до сих пор был очень мало осведомлен. Общественное мнение Италии против войны. Если Муссолини попытается уклониться от прямого ответа, отделиваясь обещаниями сохранять нейтралитет, добейтесь от него согласия и займите в виде гарантии и для прохода ваших войск Турин, Милан и еще какие-нибудь два-три города. Если он будет грозить войной, обратитесь с воззванием к итальянскому народу, скажите им правду и успокойте их относительно ваших намерений. Через какие-нибудь две недели Муссолини будет свергнут, а Италия пойдет воевать против Германии на вашей стороне, радуясь возможности разорвать ненавистный ей союз и вместе с тем реабилитировать себя. Если же вы будете заискивать перед Муссолини, то все пропало».

Затем он продолжал: «Прежде всего вы должны убедить ваше правительство. Англичане слишком тупоголовы, а Черчилль сейчас не у власти. Они поймут все потом. Разумеется, ваше правительство захочет консультации ге-

герального штаба. Нелепость! Штабные офицеры всего-на-всего государственные чиновники. Я когда-то управлял моей страной, и я их знаю. Как и гражданские чиновники, они боятся осложнений и всегда стараются взять на себя минимум ответственности. Они созданы для того, чтобы повиноваться. Если вы будете просить у них совета, все они закричат: «Нет! Нет! у нас сейчас и без того достаточно хлопот!» Перед ними не следует ставить вопрос: «Надо нам это делать или нет?», а: «Как вы выполните эту операцию, когда мы отдадим вам приказ сделать это?»

— Они должны услышать это, — отвечал я, — из ваших собственных уст, а не через меня. Я позабочусь о том, чтобы устроить это свиданье. И я буду тут же и поддерживать вас.

Свиданье состоялось на другой день и, во избежание шпионов, у меня на квартире. Мой государственный деятель был красноречив и убедителен, как и накануне. Он произвел сильное впечатление. В воскресенье я отнес Жоржу Боннэ письмо, которое было адресовано ему, но предназначалось для Даладье. В этом письме, упоминая о состоявшемся накануне свидании, я заявлял, что не считаться с предостережениями человека, мнением которого мы уже столько раз с ущербом для себя пренебрегали, значило бы брать на себя слишком тяжкую ответственность.

Я ждал. Через некоторое время мне сказали, что премьер обдумывает этот вопрос и что это, в конце концов, такое дело, которое никак нельзя решить без генерального штаба.

Тем временем война была объявлена, и надо было думать о сосредоточении наших войск. И этот вопрос уже больше не поднимался. Да и время прошло.

Однажды я спросил Боннэ, который только что перекочевал в министерство юстиции из министерства иностранных дел (последнее перешло к Даладье): «Да, так что же вышло из этой нашей попытки? Помните, насчет того, чтобы взять Муссолини за горло?»

— Гамелен был против. Он сказал: «Все, что мне требуется, это каких-нибудь две недели, чтобы без помех провести мобилизацию. Даже если Италия нападет на нас сразу же по истечении этих двух недель, я скорей предпочту это, чем если она свалится нам на голову вот сейчас».

Я пошел навестить Кулондра, который выполнял функции министра на Кэ д'Орсэ. Он подтвердил, что Гамелен просил дать ему «без помех закончить мобилизацию». «Он, повидимому, очень доволен, что с третьего сентября немцы пальцем не двинули, чтобы помешать ему».

И Кулондр добавил: «Да, чтобы успокоить вас в отношении Италии — ах, если бы я только мог рассказать вам, вы бы страшно удивились... Ну, хорошо, я, пожалуй, даже вам скажу: они снабжают нас бомбардировщиками. Превосходными «Капрони». Ясно?»

Спустя некоторое время Эрик Лабонн, французский резидент в Тунисе, который был проездом в Париже, сказал мне шутливо: «А вы насчет «Капрони» слышали? Вот чудесно! И они не будут стоить нам ни сантима. Вы понимаете, я расплачиваюсь за них моим оливковым маслом и фосфатами».

У меня есть все основания думать, что эти «Капрони» были должным образом доставлены по назначению.

Не могло быть, разумеется, и речи о том, чтобы в такой момент попытаться увидеть Гамелена, но из всего того, что я о нем слышал, было ясно, что единственное его желание — это «закончить мобилизацию без помех». И он прямо нарядоваться не мог тому, что немцы с самой непостижимой любезностью дают ему такую пропасть времени.

Утром 16 декабря 1939 года меня попросили к телефону.

Бесконечно учтивый голос: «Алло! Говорит капитан Гюэ из штаба генерала Гамелена. Разрешите уверить вас в моем совершенном почтении. Генерал Гамелен ждет вас сегодня в любое время после половины шестого».

— В любое время?.. Так ли я вас понял!

— Да, в любое удобное для вас время, мэтр, после половины шестого. Мы пошлем за вами автомобиль из главной квартиры.

Министры, с которыми я был на самой дружеской ноге, и те никогда не были так любезны в отношении времени, когда я уславливался с ними о свидании. Я просто онемел от изумления, услышав, что мне предлагают так распоряжаться временем главнокомандующего союзными армиями.

— Я бы предпочел, — сказал я, — чтобы генерал сам назначил мне наиболее удобное для него время.

— Нет, нет, мэтр, выбор предоставляется вам.

— Хорошо, — ответил я просто наугад, — без четверти шесть.

— Отлично. Автомобиль будет у ваших дверей четверть шестого. Честь имею кланяться.

## · НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

За несколько дней до этого я написал Гамелену, что мне хотелось бы посетить фронт. Я хотел сам, своими глазами посмотреть, что представляет собой эта псевдвойна и как приспособляются к ней наши войска. Я написал еще, что я хотел бы перед поездкой засвидетельствовать мое почтение генералу, если у него найдется свободная минута, но что я, конечно, отлично понимаю, что этой минуты у него может и не найтись.

Четверть шестого автомобиль подъехал к моей двери. Мы быстро поехали по затемненным парижским кварталам.

Я полагал, что мы едем в Венсенн. Я хорошо знаю все дороги в Париже и в его ближайших окрестностях. Но тут я скоро потерял способность ориентироваться. Автомобиль внезапно поворачивал то налево, то направо и делал какие-то непонятные крюки. Поездка длилась гораздо дольше, чем следовало. Может быть, меня везут в другое место, а не в Венсенн, думал я, или, может быть, у шофера имеется приказ нарочно ехать так, чтобы седок запутался?

Наконец дорога пошла между рядами деревьев, машина затормозила, и колеса, останавливаясь, закрипели по гравию. Солдат-шофер открыл дверцу. Я вышел перед каким-то очень мрачным зданием. Я не мог разглядеть его и сообразить, какова была высота его или длина. Только один квадрат света прорезал темноту — дверь. Часовой проводил меня в очень унылую, плохо освещенную, убого обставленную комнату — стол, заваленный военными журналами, несколько простых стульев; все это напоминало казарму. И ни одной живой души. Вся атмосфера производила впечатление какой-то странной невозмутимости. Никто не приходил, не уходил, не было никакого намека на посетителей. И это в субботу, рано вечером, в главной квартире генералиссимуса — что за

чудеса? Только представить себе в это же самое время приемную самого незначительного министра или хотя бы префекта. Появился молодой офицер.

— Господин Жюль Ромэн?

— Да, капитан.

— Честь имею кланяться, мэтр. Я сейчас доложу о вас генералу.

Он почти тут же вернулся.

Следуя за ним, я решил не злоупотреблять любезностью генерала и побыть у него, самое большее, десять минут.

Распахнулась дверь — просторная, ярко освещенная комната; несколько колонн поддерживали низкий потолок. Я увидел Гамелена, он шел ко мне навстречу, протягивая руку; на губах его играла приветливая улыбка, в которой не было никакой натянутости. Он был в простой полевой генеральской форме, в простых коричневых обмотках.

Генерал Гамелен был один. Он предложил мне сесть и сам сел напротив, в нескольких шагах от меня, положив ногу на ногу.

И тут он повел со мной самую необыкновенную беседу из всех, какие когда-либо выпадали на мою долю. В то время я был до крайности поражен этим. Но во время катастрофических событий в мае-июне 1940 года я думал об этой беседе день за днем и с каждым разом все более и более убеждался, что она представляет собой исключительную историческую ценность. В ней вижу я всю тайну этой личности, которая сыграла такую роль в судьбе каждого из нас, даже в судьбе народов этого полушария, — тайну, которая, выступивши в таком ярком свете, вызывала еще больше недоумения, чем если бы она осталась в полумраке.

— Вы только что из Швейцарии, если я не ошибаюсь?

Он улыбался удивительно спокойно. Он расспрашивал меня о моих впечатлениях в Швейцарии, о тамошних умонастроениях и о том, что слышно в политических кругах. Он был, повидимому, очень хорошо осведомлен. Он разговаривал спокойно, приветливо.

Я сказал ему, что через три недели я собираюсь ехать в Бельгию. Он сделал несколько замечаний по поводу первого моего путешествия туда, в октябре. «Я знаю, — сказал он, — какое вы сделали хорошее дело». И продолжал в том же духе, вспомнив один из вопросов, который

я тогда представил на рассмотрение бельгийского правительства.

— Вы только представьте себе, что любая из моих моторизованных частей, направляясь с одной нашей границы на другую, растянется на протяжении шестидесяти миль, а в конце концов существует всего-навсего каких-нибудь две или три дороги. Какая мишень для самолетов!

Разговор перешел на тему о том, что я узнал в Швейцарии о моральном состоянии Германии в декабре 1939 года.

— Лично я, — сказал он, — не думаю, что в Германии без военного поражения может произойти внезапный крах. Я не думаю, чтобы блокада и лишения, которые она переносит, могли бы здесь иметь прямое влияние. Люди из-за этого бунтовать не станут. Я склонен скорее допустить, что это будет иметь косвенное влияние. Физическая слабость в результате продолжительного недоедания может понизить нервную сопротивляемость и сделать всю страну более уязвимой к тому первому удару, который ей будет нанесен.

### ТЕОРЕТИК ВОЙНЫ

Мы бегло со всех сторон обсудили международное положение. Все, что говорил Гамелен, было взвешено и тщательно продумано. Повидимому, он был прекрасно осведомлен решительно по всем пунктам. И я, который знал страны, о которых мы говорили, и постоянно получал известия о них, мог только восхищаться удивительной точностью его суждений.

Когда я коснулся вопроса об Италии, Гамелен заметил:

— Если бы мне пришлось ударить на итальянцев, я бы это сделал не так.

Но он так и не объяснил, почему он не захотел «ударить на итальянцев» или хотя бы пригрозить этим. Слова «не так» обозначали: «не так, как я это сделал на лотарингском фронте».

Затем мы заговорили о нашем отступлении в Лотарингии в начале октября. Я позволил себе заметить, что было ошибкой так сильно раздувать наше небольшое наступление в течение первых недель и почти официально



заявлять, что Саарбрюкен взят, потому что благодаря этому, когда мы начали отступать, это произвело очень дурное впечатление за границей. Он ответил, что он совершенно с этим согласен, но что все эти промахи по части информации никакого отношения к нему не имеют. И прибавил по поводу первого наступления: «Все-таки мне во-время удалось отвлечь сорок пять германских дивизий. И это могло бы оказать помощь Польше». Когда я спросил его, что он думает о польской кампании, он ответил с горькой улыбкой:

— Когда маршал Рыдз-Смиглы приезжал сюда несколько месяцев тому назад, я указал ему, как важно было бы построить вдоль их западного фронта укрепленную линию, сколь возможно большого протяжения. Он ответил: «Но ведь у меня же маневренная армия», — и Гамелен засмеялся коротким смешком: — Как будто у меня не маневренная армия!..

Затем мы заговорили о линии Мажино, о том, какой защитой она оказалась для мобилизации и для сосредоточения наших войск. Гамелен был убежден, что именно благодаря линии Мажино немцы не повели наступления на западном фронте. Фланговая атака через Бельгию и Голландию требовала обширных приготовлений, и противник не мог организовать их во всех деталях, пока он был занят в Польше.

— Это дало нам маленькую желанную отсрочку, — сказал Гамелен, — и это большое счастье для нас. Я усилил укрепления на линии Мажино. Мы можем сказать, что сейчас сила ее сопротивляемости удвоена. Я протянул ее дальше к северу, вдоль бельгийской границы.

— Это полевые укрепления или нечто более мощное?

— Достаточно серьезные укрепления, которые мы строим из железобетона очень быстрым новейшим способом. Да, я очень рад, что вы хотите посмотреть все это. У них, конечно, не будет времени показать вам особенно много, но все-таки представление вы себе сможете составить.

— Да, — продолжал он задумчиво, откинув слегка голову назад, — этот род войны действительно совершенно отличается от всего, что мы знали раньше. Прежде всего сейчас уж нет речи о том, что можно вести каждодневную маленькую войну, как в 1914 году. Внезапные нападения, бесполезные артиллерийские дуэли, напрасная растрата че-

ловческих жизней, — с этим покончено и для той и для другой стороны. Но более того, самый характер войны сейчас совершенно иной. Очень немногие понимают это, бездейственная война вызывает всеобщее недоумение. Вы представляете себе, эти люди думают, что новая война будет повторением предыдущей. Вечная ошибка... — Он улынулся. — Эта война не имеет ничего общего с предыдущей войной. — Он на минуту как будто погрузился в раздумье.

— Никто, повидимому, не отдает себе отчета, что война четырнадцатого года представляла собой исключение, была своего рода монстром. Но если мы оглянемся назад, в глубь истории, — ну, скажем, например, в восемнадцатый век, то и тогда были свои затяжные, «бездейственные» войны, когда целые месяцы подряд ничего ровно не происходило; вы без конца осаждали какой-нибудь укрепленный город, располагались на зимние квартиры, а затем в один прекрасный день — сражение. Оно длилось недолго, но оно решало все.

Его блестящие глаза, устремленные на потолок, выражали спокойствие мыслителя, привыкшего господствовать над событиями. Он напоминал мне сейчас моего прославленного соседа, Анри Бергсона, который, когда я приезжал к нему за город, иногда размышлял передо мной вслух.

Гамелен тоже размышлял вслух. И, повидимому, наслаждался этим. Я старался, сколько мог, поощрять его, давая ему понять, что я ловлю каждое его слово. Кроме того, я видел, по некоторым намекам Гамелена, как замечал это и в других случаях, что генералы этой войны были знакомы с моим «Верденом», и, по их мнению, человек, который мог написать такую книгу, или хотя бы первые пятьдесят страниц романа, был не просто дилетантом в военных вопросах.

И, наконец, я спросил его, как он представляет себе дальнейшее развитие войны.

### ГОЛОС ПРОВИДЦА

— Чтобы понять то, что происходит, — отвечал он, попрежнему устремив глаза на потолок, — и то, что должно произойти, надо ясно представить себе, что и сами

армии сейчас в корне изменились. Они обратились в орудия огромной ценности, в аккумуляторы чудовищной мощи; создать их стоит больших средств и содержать их стоит не меньше; это орудия чрезвычайно действенные, но и ненасытно прожорливые. Люди непосвященные и представления не имеют о том, сколько может теперь быть поглощено боевого снаряжения и горючего в один-единственный день боя. Вы понимаете, настоящее положение наших войск можно было бы сравнить с тем положением, в котором находился флот во время последней войны. Флот в то время представлял собой исключительно ценное орудие, очень сложный механизм огромной силы, и его старались сохранять нетронутым как можно дольше и рисковали им только в последнюю минуту для краткой, но решительной операции.

Я слушал с жадным вниманием. Ни от кого еще мне не приходилось слышать таких новых и значительных мыслей о теперешней войне.

Он слегка понизил голос, перейдя на почти конфиденциальный тон.

— Вам хотелось бы знать, как я представляю себе ближайшее будущее. Так вот, я полагаю, что за каким-то периодом кажущейся полной неподвижности последует внезапная операция, в которую будут брошены сразу все наличные средства, — он слегка наклонил голову и нахмурился, — и которая приведет к решению гораздо скорее, чем думают. — Голос его стал внушительным, почти мрачным. Он смотрел прямо перед собой. — Да, это решение будет крайне стремительным и страшным. Люди не представляют себе, до какой степени оно будет страшным.

Коснувшись снова моей предстоящей поездки в Бельгию, я спросил его, не думает ли он, что эта операция, которую он так внушительно описал, начнется как раз оттуда.

— Весьма вероятно, — отвечал он, — но разумно предвидеть, что противник поведет дело так, что отдельные вторжения в Бельгию и Голландию потонут в общем его движении вперед — от устья Рейна и до швейцарской границы.

— А как вы думаете, когда это произойдет?

Он снова задумался, прикусив губу.

— Не исключено, что это случится в конце января, но я думаю, вряд ли... Март, это уже гораздо вероятнее. —

Затем, еще немного подумав: — Май — да. Май — почти наверно.

Я был поражен такими удивительными пророчествами, которые мой собеседник произносил так спокойно. Генерал Гамелен, казалось, смотрел в лицо будущему если и не с легким сердцем, то, во всяком случае, без страха. Я сказал, что отсрочка, которую он имеет в виду, позволяет надеяться, что мы к тому времени восполним наши пробелы, в особенности в отношении авиации.

— Да, — сказал он твердо, но в тоне его чувствовалась какая-то недоговоренность, — к марту только-только.

— Что касается танков, — продолжал я, — бельгийцы говорили мне, что у них лучшие в мире противотанковые орудия.

— Это верно.

Часы на стене, на которые я время от времени поглядывал, показывали, что я пробыл здесь уже час десять минут. Несколько раз я намекал на то, что опасаясь отнимать у него так много времени, но он каждый раз, слегка махнув рукой, отвечал: «Нет, нет. Вы несколько мне не мешаете».

В течение этого часа и десяти минут ни разу не позвонил телефон, ни разу не постучали в дверь. Поистине здесь была атмосфера непостижимого спокойствия. Наконец я поднялся.

— Я покажу вам армию, так сказать, в одном ее сечении, — сказал он и улыбнулся. — Вы начали этот вечер со мной, теперь вы отправитесь в главную квартиру; затем вы посетите генерала, командующего группой армий, потом армейского генерала, затем один из главных фортов линии Мажино и оттуда, сколько это будет возможно, доберетесь до передовых постов. Смотрите повнимательнее. — Он снова улыбнулся. — Разумеется, все, что вам покажут, все это строго конфиденциально. Когда вы вернетесь, я буду рад побеседовать с вами обо всем этом.

Двадцать четвертого вечером, когда я вернулся, я предпочел, следуя своему обычному правилу, послать генералу Гамелену, вместо того чтобы тотчас же просить его о свидании, краткий письменный отчет и в то же время дал ему понять, что я хотел бы повидать его. Я постарался не ставить себя в смешное положение и не изображать из себя военного эрудита, а изложил или, вернее, дал понять со всей возможной скромностью то,

что я думаю, тщательно выбирая для этого осторожные выражения. Тем не менее было совершенно ясно, что я обнаружил серьезные недостатки и беру на себя смелость привлечь к ним внимание человека, который скорее чем кто-либо другой мог устранить их.

### ЛИНИЯ МАЖИНО

Так, например, в самом начале моего письма я говорил следующее: «Невольно удивляешься малому количеству бомбоубежищ и полному отсутствию окопов, которые могли бы служить убежищем в случае бомбардировки. Офицеры, которых я спрашивал, как они поступают в случае бомбардировок, отвечали мне, что они просто отдают приказ рассыпаться по лесу и рекомендуют солдатам ложиться ничком в ямы или в какие-нибудь канавы, выбоины и т. п.».

Относительно самой линии Мажино: «Когда несведущий, но внимательный посетитель осматривает внешние укрепления, они кажутся гораздо менее внушительными, чем хотелось бы, хотя они, как говорят, недавно закончены. Противотанковые ловушки производят такое впечатление, словно их сооружение производилось слишком экономно; мало рвов; проволочные заграждения, конечно, сами говорят за себя, но глубина их и длина много меньше того, чем представляешь себе заранее».

Относительно главных фортов: «Здесь, может быть, было бы уместно сказать со всеми надлежащими оговорками, что у непосвященного посетителя невольно создается впечатление, может быть, и не очень обоснованное, что огромная неуязвимая масса бетонных сооружений, прекрасно распланированная внутри, обладает огневыми средствами, удовлетворяющими лишь самым минимальным требованиям. И хотя, конечно, посетитель совершенно убежден, что столь хорошо защищенные и так прекрасно обслуживаемые орудия несравненно выше по своей действенности, чем полевые орудия, все-таки трудно представить себе, каким образом в случае бурной и мощной атаки противника смогут они держать под огнем достаточной плотности то пространство, которое они должны сделать непроницаемым как с фронта, так и с флангов».

## МЕРА ЧЕЛОВЕКА

Я упомянул также о серьезных опасениях, которые я слышал от армейских генералов по вопросу об авиации, и о той опасности, которую представляет, на мой взгляд, чрезмерно спокойное существование армии непосредственно за линией фронта. Человек с таким проницательным умом, каким был Гамелен, не мог не почувствовать всю серьезность моих замечаний, несмотря на ту исключительную учтивость, в которую я считал своим долгом облечь их.

Он мне не ответил и не прислал за мной. Больше я его не видал.

Прежде всего я со всей скромностью должен сказать, что не лщу себя надеждой на то, что я в состоянии пролить полный свет на это крайне странное явление, которое, по всей вероятности, восходит к непонятным свойствам, заложенным в самой человеческой природе. Но в первую очередь совершенно несомненно следующее: те, кто твердят и повторяют после катастрофы, что Гамелен был дурак, «полковник Блимп», доказывают только одно — что они сами не знают, о чем говорят. Когда Поль Рейно в мае прошлого года заявил, что нам не хватает какого-то усилия мысли и что пришло время «обдумать войну», то его упреки, направленные против Гамелена (которого он должен был вот-вот сместить), были очень далеки от истины. Человек, который сидел против меня в декабре 1939 года и говорил то, что я привел выше, обладал умом блестящим, умом, деятельность которого протекала не в пустоте, но была направлена непосредственно на разрешение военных задач и в самой последней стадии их развития. Прогноз, который он мне тогда сделал, показал теперь всю его поистине удивительную прозорливость. Невозможно вспоминать об этом без некоторого содрогания.

Есть еще люди, которые говорят: «Гамелен сделал карьеру с помощью политиков, которым он угождал». Но прежде всего они забывают, что военные, если они достигают высоких постов, неизбежно вынуждены считаться с политическими деятелями, и этот аргумент не говорит ни за, ни против их военных дарований. Молодой Бонапарт преуспел благодаря своему тонкому умению обращаться с политическими деятелями. А победоносные гене-

ралы Третьей империи — разве они созданы не политическими деятелями? Но можно продолжить рассуждение и дальше и утверждать без всякого парадокса, что это очень хорошо, что именно политические деятели, люди штатские, а не военные, решают, кого именно следует выдвинуть на высшие военные посты, ибо военные, можно сказать почти наверняка, не преминули бы ставить всяческие препятствия на пути независимого таланта, а еще больше — гения. Кто именно, политические или военные деятели, заставили замолчать Шарля де Голля?

И тем не менее очевидно, ответите мне вы, что человек, который словно по волшебству предсказал майские события, допустил, чтобы войска, которыми он командовал, стали почти пассивной добычей этих событий. К тому же — это мелкий, но весьма показательный факт — он оказал мне доверие и уважение, поделившись со мной благороднейшими мыслями во время этого нашего свидания, продолжавшегося больше часа, но он же оскорбился, когда я со всей самой осторожной учтивостью указал ему, что на фронте не все находится в блестящем порядке.

В действительности — и это-то и приближает нас к истине, — Гамелен, повидимому, принадлежал к числу людей с широким и острым умом, которые не терпят, когда нарушается их представление о вещах. Более того, такие люди избегают малейших обстоятельств, которые могли бы заставить их изменить это представление. Мне говорили, что он редко посещал фронт или хотя бы даже военную зону и что почти все его поездки, в качестве командующего союзными армиями, сводились к поездкам между Венсеннским замком и резиденцией Даладье или между Венсенном и Лондоном, когда там собирался высший военный совет. И, разумеется, не страх перед опасностью и, пожалуй, даже не усталость (но в этом я не так убежден) удерживали его; вероятнее всего это было желание избежать суматохи, осложнений, неприятных открытий, на которые можно было налагать, и всякого рода инцидентов, в которых ему пришлось бы проявить свой гнев. Он предпочитал «обдумывать войну» подобно Декарту в своей роёле — его знаменитой комнате в Голландии.

Он принадлежал к числу тех людей, чья интеллектуальная сила плохо координирована с их способностью дейст-

вывать. Связующий ток между этими двумя способностями или совсем отсутствует, или очень слаб. Чем объясняется этот недостаток внутренней передачи? Прежде всего крайне важным недостатком воли: у таких людей нет волевого и действенного стремления к тому, что является предметом их размышлений. Но, кроме того, это еще является результатом страха перед самым действием и последствиями, которые оно может вызвать. Стоит только припомнить слова Эррио по поводу Гамелена и представить себе, насколько такая склонность характера усиливается бюрократизмом и рутинной, укоренившимися в генеральном штабе.

Такие люди в основе своей — мечтатели, а общеизвестно, что мечтатели способны проявлять удивительную прозорливость даже в вопросах повседневной жизни.

Мечтатель, если он, скажем, архитектор, мечтает о прекрасных зданиях, которые он построил бы, он видит каждую их деталь, но упускает из виду одну последнюю подробность, самую тривиальную, но чреватую неожиданными и досадными осложнениями, — что он должен их построить.

Гораздо более редкое явление, явление, которое в силу этого остается вне подозрений, — это, что мечтатель такого типа оказывается генералиссимусом французских войск и главнокомандующим союзными армиями; что он мечтает о танках, нисколько не смущаясь тем фактом, что в его распоряжении очень немного пригодных танков; что он мечтает о необыкновенно увлекательной молниеносной войне, которая должна произойти в мае, и при этом не делает ничего или делает очень мало, чтобы обеспечить победу себе, а не другой стороне.

## *Кто спас фашизм?*

Всю мою жизнь буду я помнить эти послеполуденные часы 3 октября 1935 года. Солнце светило ярко. Я медленно шел по Итальянскому бульвару, точнее, по тротуару между Рю Фавар и Рю де Ришелье, около ресторана Поккарди. Всюду шныряли мальчишки-газетчики с кипами газет в руках. И жирные заголовки кричали:



## **«Итальянские воздушные силы бомбардируют Адуа»**

Мне показалось, будто весь зримый мир внезапно развалился на части. Солнце ранней осени попрежнему глядело мягко и ласково, но теперь уже это было то лживое сияние, которое с особенной жестокостью проливает свой свет на человеческие бедствия, ибо мы стояли перед лицом настоящего бедствия. Я был уверен в этом. Передо мной вдруг ожил древний образ из римской мифологии. Мне казалось, что в отдалении я слышу, как врата храма Януса, наглухо закрытые в течение шестнадцати лет, со зловещим скрипом повернулись на своих петлях. Теперь, когда они распахнулись, все, что только существует худшего, — все это стало возможным. И все усилия, затраченные на что-то лучшее, оказались тщетными.

### **АБИССИНСКАЯ ПОРОХОВАЯ БОЧКА**

Ценою миллионов, погибших в 1914—1918 годах, ценою всех страданий, которые собрала воедино и завещала нам Великая война, и всяких, какие только можно выдумать, мучительных размышлений человечество достигло результата чрезвычайно высокого нравственного значения — война оказалась под моральным запретом. О, конечно, как это всегда бывает со всякими моральными запретами, находились люди, которые подшучивали над этим новым «табу», другие даже издевались над ним, бесстыдно замахиваясь на него. Но все же оно стояло нерушимо, и никому не казалась безрассудной надежда на то, что годы могут только увеличить его силу и что чем дальше мы будем отходить от того времени, когда оно возникло впервые, тем большим мистическим уважением проникнутся к нему народы. Но под итальянскими бомбами оно разлетелось вдребезги.

Вы можете ответить мне, что и до этих бомб фашистские кликуши уже оплевывали это «табу» и прославляли войну. Это верно, и теперь надо признать, что это «преступление мыслью» целиком уже заключало в себе позднейшее «преступление делом». Но до бомб над Адуа можно еще было считать все эти разглагольствования просто воинственным ревом, предназначавшимся для того,

чтобы взвинтить от природы невоинственный народ. Бомбы рассеяли всю эту двусмыслицу.

После бомбардировки Адуа уж никто не мог затыкать уши или прикидываться, что он ничего не замечает. Все сошлось так, что это дело приобрело максимально громкий моральный отклик. После многих недель дипломатических переговоров и неоднократных попыток убедить Италию не осложнять дело, бросить свои откровенные военные приготовления ко вторжению и удовольствоваться весьма существенными концессиями в Абиссинии, обратились к Лиге наций. Делу тут же был дан официальный ход. Были созданы комиссии — «комиссия пяти» и «комиссия тринадцати» — которые должны были тщательно обсудить вопрос и найти возможное и приемлемое для обеих сторон решение, которое вместе с тем избавило бы итальянское правительство от унижительной капитуляции перед лицом всеобщего осуждения. В то же время обе стороны — то есть, в сущности, Италия — получили торжественное предписание не совершать никаких действий, которые могли бы нарушить или хотя бы даже поколебать состояние мира до тех пор, пока дело будет находиться перед судом наций. Бомбы над Адуа бросили поистине варварский вызов этому требованию. Это было почти что то же самое, как если бы в зале суда один из тяжущихся выхватил револьвер и выпалил в своего противника под самым носом у судей. Верхом издевательства во всем этом было то, что когда-то именно сама Италия потребовала, чтобы Абиссиния была принята в Лигу наций, и ругалась за достоинство своего кандидата.

Но в моральных сферах того времени происходили поистине необыкновенные атмосферные явления, благодаря которым это дело вызвало исключительно громкий резонанс. Видные представители интеллектуальных и нравственных сил Великобритании — ее избранное меньшинство — по инициативе и под высоким руководством лорда Роберта Сесилия организовали огромное движение — массовый опрос по поводу наиболее важных вопросов мира. Это движение широко разрасталось, вербуя себе агентов из широкой публики, из учебных заведений, церквей и различных обществ, с целью мобилизовать общественное мнение и собрать как можно больше голосов. Выказалось больше одиннадцати миллионов — воистину, беспрецедентный случай на нашей планете, ибо это было свободным воле-

изъявлением, а не плебисцитом или референдумом по приказу свыше. И эти одиннадцать миллионов голосов, которые, можно сказать, представляли от Великобритании все, что только обладало совестью и разумом, потребовали, в сущности говоря, усиления Лиги наций, потребовали, чтобы на ее членов были возложены определенные обязательства и чтобы в распоряжение Лиги были предоставлены такого рода материальные возможности, которые позволили бы обуздать и наказать всякого нарушителя мира. Корни этого поразительного движения, известного под именем «мир Балло», — которое всегда будет памятно к чести Англии, — лежали глубоко в нравственном сознании. Это движение вдохновлялось людьми, которые размышляют и изучают, а не профессиональными политиками, оно было вскормлено энтузиазмом и было столь же произвольно, как «Декларация прав гражданина и человека» во Франции в 1789 году. Оно должно было молниеносно распространиться, создав прецедент, дату нового рождения в истории человечества. Во Франции почти тотчас же пошли разговоры об организации такого же «Балло». Но, как я уже говорил, это движение столкнулось на своем пути с решительным испытанием в виде абиссинского вопроса.

### ИСПЫТАНИЕ ЛИГИ НАЦИЙ

На чаше весов в то время лежали не только интересы отдельной случайной страны, но и самое понятие законности, международной справедливости и уважения к народу как таковому. Если закон и справедливость подвергнутся поруганию в таких исключительных обстоятельствах и это останется безнаказанным, то это уж будет непоправимое бедствие, и поборники зла, то есть люди, мечтающие о возвращении к векам насилия и тьмы, получат возможность поднять голову и глумиться открыто. Короче говоря, абиссинский вопрос обладал всем, что требуется, чтобы сделать из него дело Дрейфуса в международном масштабе.

Спустя неделю я ехал в Женеву. Я ехал на ассамблею Лиги наций, которая была созвана на чрезвычайную сессию после агрессивного выступления Италии. Многие спрашивали себя, окажется ли Лига на высоте, вровень с тем, что случилось, или она спрячется за формальностями и

пышнословием. Это могло стать для Лиги либо победоносным возрождением, либо полным крушением. Мне, кроме того, хотелось повидать кое-кого из людей, стоящих во главе Лиги наций, специально для того, чтобы убедить их в том, что избранные моральные круги во Франции отнюдь не разделяют позиций части парижской прессы, подкупленной, как известно, фашистским правительством. Я знал, что там я увижу Ланжевена, всемирно известного ученого.

Последние дни в Париже шла усиленная агитация. Изрядное число писателей и журналистов, более или менее открыто примыкавших к фашизму, академиков-ретроградов, людей из будущей «пятой колонны» или откровенных наемников — все, кто теперь лижет сапоги генералов Гитлера, — проявило столько наглости, что опубликовало манифест, в котором во имя «латинского братства» и «духа Запада» (!) изливало свое негодование на тех из нас, кто в Англии и Франции осуждал итальянскую агрессию и требовал применения решительных международных санкций.

Мы немедленно ответили на эту наглую писанину. Я тут же вместе с Луи Арагоном набросал ответный манифест. Это было в двенадцатом часу ночи в маленьком кафе на Рю де Мартир, как раз в ту самую ночь, когда «Тан» опубликовал декларацию будущей «пятой колонны».

Наш манифест немедленно собрал целый ряд подписей, из которых многие были весьма внушительны, но мы встретились и с несколькими случаями странной уклончивости, как, например, было с Жоржем Дюамелем, которого Люку Дюртену так и не удалось уговорить, несмотря на все его старания. Дюамель в то время готовился выставить свою кандидатуру в академию; вот каково вредное влияние этого учреждения, которое я всегда старательно обходил.

Я думаю, что Дюамель теперь несколько сожалеет об этом и, вероятно, теперь он понял, что бомбы Адуа породили неисчислимые бедствия.

По дороге в Женеву я вспоминал об одном завтраке. Это воспоминание с некоторых пор приобрело для меня немалое значение. Если я не ошибаюсь, дело было во второй половине февраля 1935 года, но потом этот случай надолго как-то совсем выскользнул из моей памяти. Это был совершенно приватный завтрак в доме моих друзей. Я сидел почти против Пьера Лавала. Разумеется, очень

много говорили об иностранной политике. Он только что вернулся из Рима, где видел папу и Муссолини.

— А знаете, — сказал Лаваль со своей непринужденной манерой, слегка растягивая слова и с каким-то оттенком деревенского просторечья, — я сразу почувствовал себя с ними очень непринужденно. Это было очень просто. Мне как-то вдруг вспомнилось детство, ранняя юность. Когда я увидал папу, мне представился наш деревенский поп, это было давным-давно, когда я был мальчишкой, и вот мне показалось, что мы опять встретились, он уже совсем старый, да и я, конечно, уж не дитя. И мы отлично поговорили. А с Муссолини я вспомнил мою молодость, когда я был социалистом, а он — свою. И сразу нашлась общая почва, что-то такое очень дорогое и для одного, и для другого. И так оно и получилось, что у нас, вместо разногласий, началось с согласия.

Немного погодя Лаваль, повернувшись ко мне, сказал с нарочитой развязностью мужичка, который только что вернулся из харчевни и, заранее отводя воркотню жены, говорит ей про соседа, с которым семья давно уж была в ссоре: «Да, я, конечно, подарил ему эту канавку несчастную, знаешь, там в конце поля!»

— Ну, я, конечно, подарил ему эту Эфиопию.

И он добавил с примирительной улыбкой, с улыбкой человека, которой отнюдь не собирается драматизировать положение:

— Ну, а что бы вы сделали на моем месте?

В феврале я не нашелся, что ему ответить, я просто удивился. Я не имел никакого представления о том, что абиссинский вопрос — Абиссиния и Эфиопия, как вы знаете, это два имени одной и той же страны — неожиданно выплыл и приобрел такое значение во время римского свидания, да и Кэ д'Орсэ тоже, вероятно, не было к этому подготовлено. Я знал, что Лаваль поехал туда с целью «наладить кое-что» с Муссолини и сделать ему несколько «маленьких подарочков». В сущности, в официальном коммюнике только об этих «маленьких подарочках» и говорилось. Как могла у него родиться мысль о «подарочке» величиной с Абиссинию? Вероятно, это было во время одного из таких разговоров, которые ведутся безо всяких протоколов, без блокнотов, этих дружеских разговоров с глазу на глаз, навеянных—гм! — «социалистическим прошлым» обоих собеседников. Мне даже и в голову не при-

шло, когда я слушал Лавалья, что ведь Абиссиния — член Лиги наций. Я даже не совсем понял, что хотел сказать Лаваль этим словом «подарил», но я подумал про себя, что не мог же он действовать очертя голову и не отдал же он Абиссинию, которая, в конце концов, принадлежала не ему, без соответствующих предосторожностей, в частности не посоветовавшись с Лондоном.

Эта его фраза, — за полную точность которой я отвечаю, хотя она вряд ли появится в мемуарах господина Лавалья, — припомнилась мне, когда дело начало принимать плохой оборот и когда в августе и в сентябре Лаваль, бия себя в грудь, доказывал людям самых различных кругов, всем, кто только упрекал его по этому поводу в опрометчивости и неосторожности:

— Да что вы! Ничего подобного!. Никогда я этого Муссолини не обещал! Да, раньше всего, мне бы в голову не могло прийти — распоряжаться страной, которая вовсе Франции и не принадлежит!

«Ну и самообладание у человека!» — подумал я, когда вдруг слова, которые он произнес в феврале, с отчетливой точностью галлюцинации прозвучали у меня в ушах. Прижали его к стене, и он теперь старается выбраться. Не так-то ему это легко будет. И я снова повторил это себе по дороге в Женеву.

Ассамблея носила поистине драматический характер. В особенности заседание 10 октября имело величественный размах. Оно происходило в большом зале Палаты выборов. Новый дворец Ариана еще не был готов.

### **ВЕЛИКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЧАС**

Описывая в свое время это собрание, я сравнил его с исторической ночью 4 августа 1789 года во время Французской революции. И оно было достойно этого сравнения по той силе чувств, которыми оно было наполнено, по тому энтузиазму — и не театральному, а подлинному, — которым оно зажигало всех присутствующих, и по высоким идеалам, которые здесь были поставлены на карту. Подобно той ночи 4 августа, оно могло стать зарей великой надежды, началом новой эпохи. Здесь на этот раз собрались не привилегированные классы, что пришли добровольно возложить свои привилегии на алтарь отечества. Здесь собрались державы — слепые, своекорыстные дер-

жавы, чья глупость запятнала кровью целые столетия, — и они пришли сюда, чтобы торжественно заявить: «Отныне у нас есть нечто большее, чем мы сами: справедливость в мире, общий закон народов. Мы склоняемся перед ним по нашей доброй воле. И мы пришли к соглашению, что тот из нас, кто нарушит этот закон, будет наказан».

Да, мы пережили этот час, великий час среди всех величайших часов истории. Перед нами прошли представители сорока двух стран, которые один за другим поднимались на трибуну, и каждый в течение минуты говорил, заявляя примерно в одних и тех же словах и, за некоторыми исключениями, на одном и том же языке, — по-французски:

— Мы относимся к Италии дружественно, и мы, как отдельная страна, хотим остаться с ней в добрых отношениях. Но поскольку Италия совершенно недопустимым образом нарушила устав Лиги наций, мы осуждаем ее действия и готовы применить к ней все санкции, которые будут приняты.

Вслед за этим оратор покидал кафедру и среди благоговейного молчания ассамблеи возвращался на свое место. Вставал следующий и шел на трибуну.

Эти повторяющиеся жесты и формулировки еще увеличивали общее впечатление. Самое однообразие всего этого было величественно. Чувствовалось, словно рождается какой-то обряд.

Поистине это было первое собрание человечества — амфикионы современного мира.

## ЛАВАЛЬ И ПРЕССА

Кулуары ассамблеи представляли собой не менее примечательное зрелище. Не было тех рассеянных улыбочек, небрежных замечаний, которые при других обстоятельствах считались здесь признаком хорошего тона. Лица были серьезны, иные взволнованы, некоторые даже полны какого-то восторга. Я встретил авгуров с Кэ д'Орсэ — Леже и Массильи. Они сказали: «Великолепно!» Глаза у них блестели. В словах их не чувствовалось ничего, что бы напоминало пресловутый «скептицизм Кэ д'Орсэ». И они тоже считали, что мы присутствуем при созидании нового порядка.

Во время перерыва я подошел в вестибюле к Лавалю. Они стояли вдвоем с Леже,

Я безо всяких вступлений сказал Лавалю:

— Да, господин председатель, это поистине величественно. И какая замечательная роль выпадает на долю Франции!

Он посмотрел на меня с какой-то смущенной, уклончивой улыбкой. Она словно говорила: «Ну, знаете, не будем увлекаться».

Я без церемонии продолжал:

— Существует одна вещь, и с ней надо покончить немедленно, потому что это позор для Франции. (Я слышал это от многих, как только приехал в Женеву, но я и сам отлично это знал гораздо раньше.) Часть нашей прессы подкуплена Италией — всем это известно — и они ведут позорнейшую кампанию. У вас есть возможность положить конец этому сраму.

Лаваль принял вид добродушного удивления:

— Ну? В самом деле? Подкуплены Италией? А не слишком ли это преувеличено?

За плечом Лавалья Леже делал мне знаки: «Валяйте, валяйте! Выкладывайте начистоту!»

Я выложил все начистоту и совершенно ясно дал понять Лавалю, что он неправ, защищая продажную прессу. Он продолжал улыбаться, но видно было, что ему не по себе. Он придрался к какой-то фразе в разговоре и, воспользовавшись этим предлогом, шутливо сказал Леже:

— О-о! Я чувствую, что могу хоть сейчас укатить в Париж. Гм... А Жюль Ромэн здесь займет мое место.

Я встретил Идена, Политиса, Мотта, который несколько раз был председателем Швейцарской федерации, Беха — люксембургского премьера — и многих других. С каждым я поговорил, с одним подольше, с другими покороче. Все они были охвачены той же воспламеняющей верой. Иден, как мне показалось, прямо горел воодушевлением и решимостью.

Я видел, как прошел барон Алоизи, представитель Италии на ассамблее. Он пытался улыбаться, но у него был вид человека, который проиграл свое дело и избегает глядеть людям в глаза. Так как к нему лично все очень хорошо относились, то его жалели, что ему, как итальянскому делегату, приходится нести на себе бремя всеобщего осуждения.

— В глубине души он думает то же, что и все мы, — сказал мне один из его друзей, — он сегодня несколько



часов подряд пытался дозвониться по телефону к Муссолини, чтобы убедить того внять голосу рассудка. Но Муссолини, повидимому, от разговоров уклоняется.

После сессии мы вместе с Ланжевроном и Пьером Котом отправились в гости к нашему общему другу, Бенешу, который в то время был председателем Лиги наций. Мы успокоили Бенеша насчет истинного настроения французского народа.

— Да, — сказал он, — а Лаваль?

Мне пришлось признаться, что всего лишь какой-нибудь час тому назад Лаваль произвел на меня не очень приятное впечатление. Но, в противовес этому, настроение на Кэ д'Орсэ было, повидимому, удовлетворительно, сколько это возможно.

— Они его приструнят, — сказал я, — да и мы тоже будем присматривать за ним.

Мы говорили об историческом величии этого момента. Председатель Бенеш тоном глубокого убеждения сказал в точности следующее:

— Если мы выполним наш долг, то мир будет сохранен для всего мира по крайней мере лет на двадцать.

Затем мы стали толковать о Муссолини и о той судьбе, которая ждет его.

— Как правило, — заметил Бенеш, — он всегда в чем-то просчитывался в отношении внешней политики. Тут он живет фальшивой репутацией.

Мы заговорили о Гитлере, который притаился и бездействовал. Из Берлина не было ни слуху ни духу. Национал-социалисты старались, чтобы их поменьше замечали.

— Да и они тоже вроде как попались, — говорили мы, — одно это сегодняшнее заседание, которое им не удастся скрыть от общественного мнения, произведет глубокое впечатление в Германии. Ведь если завтрашний день покажет, что политика насилия отныне невозможна, им ничего не останется, как закрыть лавочку.

Мой друг Сальвадор де Мадарьяга — один из самых блестящих умов вчерашней Европы, — который был избран на пост председателя «комиссии пяти» и «комиссии тринадцати» и поэтому лучше, чем кто-нибудь другой, знал все перипетии абиссинского вопроса, любезно пригласил меня обедать в Отель де Берг и подарил мне целый вечер. Нас было четверо или пятеро. Мадарьяга тоже был полон воодушевления и уверенности.

## ЗВЕЗДА МУССОЛИНИ

На своем прекрасном французском языке, с легким сттенком акцента, который мог бы сойти за выговор Бордо или Байонны, он, пожимая мне руку, сказал:

— Муссолини теперь конец.

И тут же, обобщая это положение, как это мы всегда делаем мысленно, он сказал то же, что говорил и Бенеш, но более просто:

— Если только мы будем понастойчивей, мир вскоре избавится от всех этих тварей. Да, дружище, снова можно будет приняться за работу и дышать свободно.

Затем он стал рассказывать разные анекдоты и подробности. Мы говорили о том, как должен чувствовать себя Муссолини, и о том, как он будет вести себя в ближайшее время.

— Ему уж нельзя отступить, — сказал Мадарьяга, — он зашел слишком далеко. Слетел бы немедленно. Так что ему придется теперь тянуть до того времени, пока уж это не станет совершенно немыслимым. Он придумает себе какой-нибудь театральный конец. Кое-кто из здешних итальянцев говорит, что они уж знают, как это произойдет: он усядется на свой самолет и бросится оттуда в море. Ну, а другие думают, что самая разнузданная часть фашистской партии, те, у кого на совести самые крупные преступления и кто знает, что им не сносить головы, пустятся во все тяжкие и все на полуострове залиют огнем и кровью, прежде чем их самих вздернут.

Затем Мадарьяга сказал — шутя, но, может быть, в его испанской душе к этой шутке примешивался и легкий отенок веры:

— Вы знаете, что у Муссолини гороскоп — мне это неднях рассказывал один астролог — совершенно такой же, как у Наполеона, только более заурядный. Звезды предвещают ему гибельный конец, и примерно в том же возрасте, и выходит, что его постигнет смерть на море. Умереть на острове св. Елены — это ведь в своем роде смерть на море, не правда ли? Аэроплан только модернизирует все это.

## СЕКРЕТ ДЕЛЬБОСА

Таковы были мечты об избавлении, которыми в те памятные октябрьские дни мир жил через своих представи-

телей в Женеве. И говоря «мир», я не делаю ошибки, ибо кое-кто из моих американских друзей, которых я встретил на другой день — например, Эдгар Моурер, — были совершенно так же, как и мы, воодушевлены нашей великой надеждой. Знаменитый лозунг, такой прекрасный, такой благородный, ибо он позволял надеяться на все, лозунг, над которым столько раз глумились сами события, — «Сделаем мир безопасным для демократии», — снова развешивался на мачте, и его радостно приветствовали свободные народы.

2 декабря, на исходе дня, я шел в Бурбонский дворец повидаться с моим старым приятелем Ивоном Дельбосом, который был тогда вице-президентом палаты депутатов. Он принял меня в одной из уютных, заново отделанных комнат, которые назывались «кабинетами вице-президентов». Я уже забыл, о чем я собирался с ним тогда потолковать. Он казался рассеянным, а в то же время он точно был поглощен каким-то внутренним волнением, как человек, у которого стеснение в груди от чего-то очень приятного, например, от тайны новой любви, о чем он не хочет говорить.

Когда я стал прощаться, он сказал:

— Хотите, я вас подвезу? Мы с вами еще немножко потолкуем. Довезу, куда вам надо.

Когда мы уселись в его машину, он несколько секунд помолчал, а потом, наклонившись ко мне, сказал:

— Послушайте, я думаю, что мы недели через две разделаемся с фашизмом, а потом, недели через три, и с «нацизмом». На этот раз дело верное!

— Что? — воскликнул я радостно. — Что вы хотите сказать?

Дельбос, менее чем кто-либо, был склонен болтать попусту или увлекаться. Если он говорил такие вещи, то, значит, это были уже не пустяки.

Он снова наклонился ко мне:

— Пока еще это, конечно, секрет, но я вас в него посвящу. Эррио всего несколько минут тому назад рассказал мне, что сегодня утром правительство получило ультраконфиденциальное обращение Муссолини — и вот догадайтесь-ка, что это за обращение! Пари держу, что ни за что не отгадаете!

— Нет, просто ума не приложу.

— Так вот. Муссолини просит нас немедленно приме-

нить к нему нефтяное эмбарго, — и он прибавил, рассмеявшись: — Ну, и, разумеется, чтобы мы помалкивали о том, что он сам просит этого.

— И что же это значит?

— А то, что тогда он сможет сказать итальянскому народу: теперь сопротивляться больше невозможно, меня схватили за горло. И я ухожу.

— Так, значит, он уходит?

— Несомненно. Это вопрос всего нескольких дней. А кроме того, у нас есть еще и другие указания. Это уж относится к тому правительству, которое заменит его, и к тем возможным беспорядкам, которых надо будет избежать.

Мы оба решили, что когда Муссолини уберется прочь, волна демократического освобождения вскоре достигнет и Германии. Правда, можно было опасаться, что вслед за этим забуллит мутная пена, и предвидеть всякого рода отчаянные попытки. Но все это мы преодолеем, пройдем через все это даже с удовольствием. Январь или февраль будущего года принесут миру, который едва будет верить своим глазам, освобождение от этого ужасного кошмара.

Мы расстались, воодушевленные нашей радостной тайной, на Рю де Риволи, на углу около Лувра. Казалось, никогда еще не было так легко дышать этим воздухом, как в тот декабрьский вечер.

## ИГРА В ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Это было, в сущности, потому, что со времени памятных октябрьских дней в Женеве мы все время переходили от надежды к беспокойству. Мы не замедлили обнаружить, что едва только механизм первых санкций был приведен в действие, как сразу же вслед за этим развернулась интенсивная тайная деятельность, направленная, с одной стороны, на то, чтобы успокоить Муссолини, а с другой — на то, чтобы умерить пыл английского правительства, от которого нам нельзя было отставать. В действительности первые санкции, принятые женевской ассамблеей и касавшиеся только некоторого определенного числа коммерческих операций, помимо эмбарго на военные материалы в строгом смысле этого слова, были в представлении Лиги всего лишь началом. Они должны были посте-

пенно становиться всё строже, если за это время агрессор не одумается. На очереди стояли две более серьезные карательные меры, и они уже были в стадии изучения — закрытие Суэцкого канала, которое отрезало бы итальянскую армию в Восточной Африке от всяких источников снабжения, и эмбарго на ввоз горючего в Италию, результаты чего были бы не менее эффективны. Несомненно, возможно было ждать, что Италия сделает попытку самого отчаянного сопротивления. Англия поставила в известность Женеву, что она, если понадобится, предоставит свой флот в распоряжение Лиги наций, и в то же время она просила Францию предоставить ей временно, если это будет нужно, французские морские базы — Тулон и Бизерту. Разумеется, эти предварительные шаги были сделаны строго конфиденциально, и сэр Сэмюэль Хор имел возможность еще 22 октября заявить в палате общин, что Англия пока не собирается закрывать Суэцкий канал или применять военные санкции. Это вполне соответствовало истине, так как все еще оставалась надежда, что виновный очень скоро обнаружит должное раскаяние. Однако и тогда уже Англия могла видеть, что французское правительство ведет нечестную игру. Ответа на вопрос о базах не последовало, формального отказа тоже не было. Но имело ли тогда смысл поднимать весь этот разговор, раз военные санкции официально еще не обсуждались? Однако это не помешало сообщениям успокоительного характера тайком проскользнуть в Рим: «Не беспокойтесь, мы наших морских баз для действий против вас не дадим».

Да и в самой Великобритании нашлись такие поклонники Муссолини и его режима, которые подрывали работу правительства. Почти повсюду на континенте Европы газеты, существовавшие на средства фашистской пропаганды, были полны всякого рода заметок на ту тему, что со стороны держав наивно плясать под английскую дудку и применять санкции, которые очень тяжело отразятся на их собственной торговле, и что и сами они рискуют очутиться перед угрозой войны против прекрасно вооруженной Италии, которая будет тогда доведена до совершенно естественного бешенства. Англия преследует только собственные корыстные интересы, стараясь остаться безраздельной владычицей дороги в Индию. И она, как всегда, прикрывается всякими благородными предложениями, а расплачиваться за все это должны другие. В результате это-

го сáнкции большинством стран применялись вяло или даже саботировались. Но бывает такое положение вещей, которое обладает своей собственной силой. Энтузиазм 10 октября не так-то легко было угасить. Вопреки всему, первые санкции оказали свое действие. Настоящая Италия там, позади фашистского аппарата, находилась скорее в тревожном, а не в воинственном настроении. Она прекрасно представляла себе, что хвастливые выкрики Муссолини не смогут обмануть бдительности держав, и готовилась покинуть своего вождя, который навлек на нее осуждение всего мира. Муссолини тоже знал это. И вот какой выход он нашел из этого: «Покажите совершенно отчетливо, что вы мне вцепились в горло. Чтобы я по крайней мере мог хоть закричать, что вы подлы, что вы действуете из-за угла и что я ухожу».

Увы! Две недели, о которых говорил Дельбос, прошли. А потом еще три недели. Ничего не случилось. В январе 1936 года кошмар Европы и всего мира не кончился. Отнюдь! Муссолини постепенно снова оправился и продолжал завоевывать Абиссинию и опять обрел свою прежнюю дерзость. А в это время его приятель, Гитлер, готовился двинуть свои войска в Рейнскую область. И оба они, в отместку за пережитую ими обоими тревогу, начали готовиться к удару на Испанию.

Что же именно произошло?

Этот вопрос я со своей стороны изучал так старательно, как только мог, обращаясь к источникам, наиболее заслуживающим доверия. Среди них есть некоторые, которые я не могу назвать, и я не стану делать голословных утверждений.

Первый вопрос, на который следует ответить, таков: действительно ли Муссолини — а следовательно, и европейский фашизм — в начале декабря 1935 года потерпел бы поражение, если бы событиям было предоставлено итти своим чередом?

Я отвечаю на это определенно: да.

И я добавляю: фашизм потерпел бы крушение, может быть, и не без того, чтобы не поднялось и не забурлило что-то вроде мутной пены, не без некоторого общего урона, — но без войны, без чего бы то ни было похожего на войну, а следовательно, без кровопролития.

Я знаю, что возражение против этого заключается в следующем: Англия находилась в невыгодном положении,

она не была вооружена. Флот ее не был готов. Муссолини знал это. Прежде чем сдаться, он без колебания поставил бы на карту все.

Правда, английский флот в то время не был на высоте своей мощи. Но как можно заставить нас поверить, что Великобритания не могла овладеть Средиземным морем, всеми его выходами, включая и Суэцкий канал, в особенности если, как это предполагалось, ее будет поддерживать французский флот и наши базы будут предоставлены в ее распоряжение? Опыт настоящей войны не оставляет никаких сомнений в этом. Муссолини это прекрасно понимал. Если он и притворялся, что он этого не понимает, то другие в Италии понимали это и удержали бы его от роковой ошибки. Как вы представляете себе, в этом нет ничего общего с положением в мае—июне 1940 года. Да и в мае—июне 1940 года Муссолини пришлось преодолеть очень серьезную оппозицию.

Одно маленькое доказательство среди прочих является совершенно убедительным. Я получил его в 1937 году от его превосходительства Иотаро Сугимур. В декабре 1935 года Иотаро Сугимура был японским послом в Риме. Мне нет нужды особо подчеркивать то обстоятельство, что, когда в 1937 году он разговаривал со мной, итало-японский флирт был в самом разгаре и у него были все основания отзываться об Италии, о ее руководителях и о ее режиме со всей возможной лояльностью. И, однако, на мой вопрос: «А правда ли, что в начале 1935 года Муссолини был уверен, что ему конец?» — он ответил, взвешивая каждое слово, но без малейшей нерешительности:

— Да. И это вовсе не простые догадки. Это совершенно достоверно. В те дни я виделся с Муссолини, с которым у меня очень хорошие отношения, очень часто. И я могу подтвердить: он был уверен, что для него все кончено. Он все время держал у себя в столе наготове заряженный револьвер; он мне показывал его. Он был готов покончить с собой каждую минуту.

Существуют и другие свидетельства. Должен сказать, что все это довольно щекотливо, так как пришлось бы называть людей, которые не имеют ни малейшего желания, чтобы о них упоминали. Правда, одного из них уж нет в живых. Я ограничусь следующим: в Италии было уже готово новое правительство, куда, помимо нескольких влиятельных лиц настоящего режима, лиц, которые всегда при-

держивались умеренной политики и с самого начала осуждали абиссинскую авантюру — некоторые из этих лиц занимали видные посты за границей, — входило несколько человек из прежних придворных кругов и несколько эмигрантов. Английское правительство было об этом оповещено. Только от французского правительства зависело допустить переговоры об этом. Может быть, оно и начало их. А возможно, что оно же их и выдало.

Это ведет нас ко второму вопросу: кто спас фашизм? Разумеется, ответить на это не так-то просто.

Во-первых, возникает вопрос о Лавале. Сопоставив все обстоятельства, надо сказать, что главная ответственность падает на него. Тут нам следует вернуться к самым истокам этого дела. Если бы он, пользуясь его собственным выражением, не «подарил» Абиссинию Муссолини, то Муссолини, конечно, подумал бы, и не раз, прежде чем отважиться на такую авантюру. Но Муссолини мог с полным основанием сказать себе: «Если им вздумается мне помешать, то Франция будет в стороне. И я выкарабкаюсь».

Этот-то сознательный анабиоз Франции ни на минуту не переставал оказывать влияние на события.

Но в начале декабря международная справедливость еще торжествовала, несмотря на все препятствия, какие ставились на ее пути.

В чем же заключалась эта темная игра, которая имела место между вторым и десятым декабря? Десятое декабря — дата, когда компромисс Хора-Лавалья стал достоянием гласности. Этот план, вопреки всем ожиданиям, предлагал Италии очень существенные привилегии в Абиссинии, равноценные, в целом ряде отношений, протекторату. Господин Иден, который в то время мужественно, но без особого успеха боролся за правое дело, несомненно, когда-нибудь сможет сделать по этому поводу самые любопытнейшие разоблачения. А пока что нам приходится удовлетвориться предположением, что отчаянная просьба Муссолини от 2 декабря была скрыта от английского правительства. И в самом деле, существование этой просьбы до сих пор, насколько мне известно, держится в тайне. Весьма вероятно, что Лаваль немедленно же предпринял некоторые шаги, чтобы спасти своего римского приятеля, а для этого он предложил сэру Сэмюэлю Хору, который, вероятно, отличался хитростью не более, чем обычный средний английский консерватор, план компромисса, кото-



рый, делая ненужными дальнейшие санкции, совершенно ошеломил защитников международной справедливости своей беспринципностью, разделил на два лагеря английское общественное мнение и, наконец, дал Муссолини передышку, дал ему время разломать этот капкан, уже защелкнувшийся было над ним, а также дал ему возможность снова обрести свою прежнюю самоуверенность с быстротой, характерной для авантюриста.

## ПСИХОЛОГИЯ ФРАНЦУЗА

Были ли у Лавалья обдуманные намерения погубить дело мира и интересы Франции? Сознал ли он, что, спасая Муссолини и фашизм в Европе, он ввергал тем самым Европу в ужасы войны после относительно небольшой передышки; что он навлекал на свою страну все силы смерти и разрушения и обрекал ее на, быть может, непоправимое поражение? Разумеется, нет. Вполне возможно даже, что он действовал с самыми лучшими намерениями, не забывая никогда при этом принимать в полной мере в расчет и свое личное положение. В начале 1935 года он отправился в Рим, лелея надежду завоевать расположение Муссолини. Он надавал Муссолини обещаний, важность и значение которых он понял только в дальнейшем. Оба они почувствовали друг к другу симпатию. У них завязалось нечто вроде дружбы. Затем, когда абиссинское дело повернулось скверно, Лаваль почувствовал себя связанным с Муссолини обязательствами личного порядка: «Я не могу теперь так с ним поступить; это было бы подлостью». А он принадлежал к числу людей, для которых обязательства такого порядка значили больше, нежели отвлеченная мораль или какие-то там идеи, а кроме того, и к числу тех людей, которые не любят рассматривать положение с трагической стороны, а стремятся убедить себя, что все, в конце концов, после всяких свар наладится, как это бывает у крестьян. Кроме того, он мог даже гордиться тем, что он следует если не системе, то, по крайней мере, своего рода политике, заводя снова дружбу с Италией, а тем самым держа в рамках и Германию.

Даже и теперь я не вполне уверен, взвесил ли он всю свою ответственность. Может быть, он даже говорит себе: «Если бы только они меня побольше слушали, если бы

они только не раздражали Муссолини понапрасну!» Конечно, это всего лишь софистические рассуждения человека, который старается оправдаться перед собственной совестью и перед историей и который к тому же адвокат по профессии. Ибо с тех пор он был вынужден, как и все остальные, понять, что Муссолини не испытывает ни малейшей благодарности к Франции за то, что она в свое время не только не раздавила его, но даже и спасла, и что, как раз наоборот, он вышел из этой истории с удесытеренной злобой, подобно человеку, которого окунули головой в воду и который никогда не простит ни того ужасного испуга, который был ему причинен, ни той унижительной милости, которую ему оказали, отпустив его.

### СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР ЛИГЕ НАЦИЙ

Но то, что происходит в душе господина Лаваля, имеет очень скромное значение. Тем, что он сознательно спас фашизм, он, увы, более чем кто-либо другой во Франции, является виновником катастрофы 1939 года и бедствий, переживаемых ею страной.

С того самого момента война стала неизбежной. Великое искусство политики оказалось уже ни к чему. Это был смертельный удар Лиге наций. Нам приходилось занимать срочно под большие проценты и прилагать все усилия, чтобы отсрочить день платежа. Все возможности сопротивляться фашизму, которые предоставлялись нам, были плачевными возможностями. О, разумеется, мы, кто боролся за мир, старались не сознаться себе в этом, чтобы сохранить мужество, но иногда мы, вопреки самим себе, признавались в этом, как, например, в октябре 1938 года после Мюнхена, когда на конгрессе ветеранов войны я воскликнул: «Говорят, что Мюнхен — это капитуляция. Но ведь в конце 1935 года произошла гигантская, неоправданная капитуляция! Все другие — это ее плоды».

Да, все другие, включая даже и капитуляцию Леопольда III на поле битвы, включая даже и капитуляцию Франции в июне 1940 года.

Демократические страны должны извлечь для себя из этого не один урок, если уроки еще могут принести пользу.

Прежде всего они должны признать, что они предали

самих себя, пощадив беспощадного врага, который замыслил убить их, пощадив его из трусости, из сомнительного снисхождения или подчинившись ложным страхам.

Они должны также признать и то, что некоторые возможности навсегда нами упущены. Эти возможности, пока они были у нас в руках, избавили бы нас от бесчисленных усилий, не говоря уже о катастрофах, но ныне, когда они отвергнуты, все бесчисленные усилия, расточаемые изо дня в день, не вернут нам того, что было потеряно одним единственным ходом.

И, наконец, они должны признать, — все демократические страны, и в первую очередь те, которые еще не подверглись этому решающему испытанию, — что узнать эти великие возможности, царственные милости, даруемые нам судьбой, очень легко, совершенно просто. Для того чтобы узнать их, нам не нужно сверхъестественной проницательности; нужно только открыть глаза.

## *Тайна наци*

### МИРНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ

В начале осени один из членов комитета «Движения девятого июля», Жан Тома, сказал мне:

— У меня к вам есть дело. От одного немца, с которым меня познакомили. Молодой человек моих лет, очень симпатичный. Он с некоторого времени принимает деятельное участие в движении, которое замечается среди французской и немецкой молодежи, — интеллектуальный контакт, взаимные визиты и так далее. Зовут его Отто Абетц. Он не наци. Но, разумеется, для того чтобы иметь возможность работать, он должен считаться с ними и не восстанавливать их против себя. Он недавно организовал поездку группы французской молодежи в Германию. Встречали их везде очень тепло. Даже местные власти. Теперь он собирается приехать сюда с группой немецкой молодежи. Несколько человек, из интеллигенции. И ему хочется, чтобы их здесь приняли запросто. Можно было бы, скажем, устроить неофициальный вечер «Девятого июля», позвали бы человек шестьдесят наших, с тщательным выбором, конечно. Вы бы взяли на себя председательствова-

ние; это будет обмен вопросами между молодыми немцами и нашими молодыми людьми, которые захотят выступить. Абетц отлично понимает, что при теперешнем настроении во Франции мы не можем устроить ему помпезный прием, что-нибудь вроде того, что они устраивают нашей молодежи. Это уж дело национального темперамента. Но если он будет работать и далее, то он у себя дома может сказать: видите, вот и во Франции начинается что-то вроде отклика. И если этот отклик возникнет под эгидой «Девятого июля», то это будет иметь гораздо больше веса. Во всяком случае, Абетц будет доволен.

Я согласился. Эта встреча состоялась. Все прошло вполне достойно, даже — по-дружески. Юные французы, объединившиеся вокруг плана «Девятого июля», в сущности не испытывали никакой вражды к Германии. Они хотели трудиться, а не воевать. Но даже и самые правые группы среди французской молодежи не сочувствовали идеологии наци, а некоторые методы, которыми пользовался этот режим, и крайности, к которым прибегали наци внутри своей страны, вызывали у них явное отвращение. И вот молодые люди, группировавшиеся вокруг меня, не испытывая ни малейшего желания вмешиваться в жизнь своих соседей, были рады тому, что случай позволил им задать нашим немецким гостям ряд вопросов и по возможности уяснить себе, в чем же там дело.

Молодые немцы, в свою очередь, задавали вопросы нашей молодежи и, повидимому, были удовлетворены нашими объяснениями.

После этого Отто Абетц сам пришел ко мне выразить мне свою благодарность за это собрание, которое вполне его удовлетворило. Мы встречались с ним еще несколько раз за время его пребывания в Париже и беседовали. Мне понравился этот человек. Прежде всего — он был веселый. А у меня есть слабость, я люблю веселых людей. По внешности он был здоровый малый, с рыжеватыми волосами, с открытым веснушчатым лицом, с четко очерченными чертами, с приятным голосом, и разговор его часто прерывался смехом. Он вполне сошел бы за уроженца французской Фландрии или за эльзасца. Он рассказывал мне о своем детстве, о своей юности. Он говорил о себе как о настоящем западнике, который по всему своему природному складу и культурным традициям чувствовал себя связанным с народами Запада. Бельгийцы, северные

французы, швейцарцы — вот были его братья. А к пруссакам он испытывал недоверие и даже неприязнь, и их-то он и считал ответственными за все несчастья Германии и за тот ошибочно выбранный путь, на который она вступила с XVIII столетия.

### ПОД ДВУМЯ ФЛАГАМИ

Отто Абетц рассказал мне, что он мечтал быть художником — и он тоже! — что он учился в художественной школе великого герцогства Баденского и начал скромную карьеру живописца, но все эти современные проблемы до того неотвязно преследовали его, что лишили его всякого покоя. И он понял, что он тогда только обретет спокойствие, когда всецело посвятит себя именно этим задачам или по крайней мере одной из них, той, которая казалась ему наиболее неотложной и трагической — задаче внести умиротворение на Западе, то есть, в сущности, франко-германской проблеме. Прежде всего он занялся тщательным изучением Франции; он изучал ее литературу, путешествовал по ее провинциям, он даже сделал больше — женился на француженке из окрестностей Лилля. У них был ребенок, маленький мальчик — символ того союза, которым, как мечтал его молодой отец, завершатся отношения между двумя народами и который, в сущности, и был целью его жизни.

Все это он рассказал мне в самых простых выражениях, и этого было достаточно, чтобы завоевать мои симпатии. Нужно было обладать очень черствым сердцем, чтобы заподозрить его во лжи. Мне казалось, что я слушаю мои собственные юношеские мечты в немецком переводе. Мне казалось, что, родись я по ту сторону Рейна, я не мог бы рассуждать иначе. Поэтому-то мне и было так интересно узнать, каковы сокровенные чувства такого человека, когда судьба поставила его лицом к лицу с фактом захвата власти национал-социалистами. В особенности же — каково его отношение к ним теперь, в этот момент? Надеется ли он сохранить какую-нибудь долю своих надежд, и какую именно? И был ли еще какой-нибудь смысл во всем этом теперь, когда они уж были у власти?

Он отвечал уклончиво и осторожно. Но мысль его была все-таки ясна. Из его речей оказывалось, что он сам не наци и даже желал бы для своей страны совершенно

иного политического направления. Но уж если хочешь действовать, а не просто предаваться мечтам, приходится брать вещи такими, каковы они есть. Нацистские идеи не имеют никакого серьезного значения, потому что, в сущности, у них нет никаких идей. Это какая-то слепая сила, вроде громадной грозовой тучи, которая вот-вот рассеется. Все будет зависеть от того благоразумия, с которым трезвые и проницательные люди как внутри самой страны, так и вне ее сумеют подойти к этому слепому чуду.

Вы, разумеется, понимаете, что Абетц не излагал мне все это в тех рискованно-прямолинейных выражениях, к которым прибегаю я; все это почти незаметно проскальзывало в его коротких, несколько насмешливых описаниях, в тонких намеках. Смех и те добродушно-остроумные замечания, которые он ввертывал в свои объяснения, делали все это вполне ясным. Я сам излагал нечто в том же роде в ряде своих статей о Германии, напечатанных год тому назад в «Тулузской депеше». Пытаясь ответить на вопрос: «Чего хочет Германия?» — я говорил: «Не так важно, чего она хочет, — гораздо важнее, чего она будет хотеть. И отчасти от нас зависит, чтобы она желала некоторых определенных вещей и не желала бы некоторых иных». Так что я естественно был расположен относиться к речам Абетца не просто как к уклончивой болтовне.

— В общем, видите ли, — сказал он вкрадчиво, помогая себе веселым смешком, — получается так, что мы посвятили себя одному и тому же делу, вы и я, то есть делу сохранения мира и сохранения его в наиболее угрожаемой точке, то есть между Францией и Германией. Мы встретили с вами на нашем пути одно и то же препятствие, или, верней, ту же загадку — национал-социализм. Что касается до вас, то вы — вне его, а я нахожусь внутри этого. Мы должны стремиться работать в одном направлении, в контакте друг с другом. Вы можете положиться на меня.

Он заговорил о «людях доброй воли» в моем романе, о людях которые стремятся работать во имя мира, пользуясь разбросанными там и сям сетями тайных связей.

— Представьте себе, — сказал он, — что на моем месте находится один из этих людей, и вы вполне поймете, каково мое положение.

И мне действительно казалось, что я вполне понял его. Выражаясь довольно скупом, как бы мельком, он все же

дал мне возможность понять, что такое его метод «работы изнутри». С одной стороны, он старался наладить отношения между молодежью Франции и Германии, что было вдвойне интересно, это было полезное дело, и лично для него было полезно тем, что он приобретал таким образом некоторый вес. С другой стороны, он пытался добиться, чтобы этому делу было оказано некоторое содействие правительственных кругов Германии, для чего следовало заручиться доверием одного из влиятельных лиц нового режима. Это было до того близко к моей мысли о «личном воздействии на жизненно важные проблемы», что я невольно удивился. Лицо, которое он выбрал для этого, был фон Риббентроп.

Риббентроп тогда еще не занимал официального поста. Он еще только возглавлял «Бюро Риббентропа», своего рода опытно-исследовательскую лабораторию в вопросах иностранной политики. Но его влияние уже было весьма значительно, и его целью, которую он совершенно не скрывал от своих близких сотрудников, было стать во главе министерства на Вильгельмштрассе.

— Его еще очень мало знают здесь, — сказал мне Абетц, — у него нет настоящего официального положения. Но это — восходящая звезда. Вы увидите. Предрассудков у него никаких нет. Он примерно такой же наци, как и я. Прекрасно знает Францию, жил здесь и, в сущности, никакой вражды к Франции у него нет. Наоборот. Словом — я ставлю на него. Он согласился, чтобы я с ним работал. Надеюсь, что мало-помалу я сумею стать незаменимым.

Во время нашего последнего свидания Абетц предложил мне приехать в Берлин, прочесть лекцию.

— Вы сделаете доброе дело, — сказал он. Его предложение привлекало меня самым риском всего этого предприятия. Мы стали с ним подыскивать тему. Она должна была быть и не слишком рискованной и не слишком заурядной.

— Вы ведь могли бы, — посоветовал мне Абетц, — привлечь их внимание к идее Запада и к вопросу об объединении Европы вокруг западной культуры. Мысль эта дорога нам обоим. Постарайтесь объяснить им, что им никогда не выйти на широкий путь, если они будут сторониться латинского мира, в особенности Франции, как многие это им советуют.

— Хорошо, — ответил я ему полушутливо, — я буду

им говорить о Шарлемане<sup>1</sup>. Потому что в конце концов Шарлемань был человек, который понимал, что такое Запад, и нашел решение этой задачи. Вашим соотечественникам нравятся такие широкие исторические перспективы — вот я и предложу им такую. Я объясню им, что все их беды вытекают не из Версальского договора, как это им кажется, а из Верденского договора, того, что был подписан в 843-м году. Того, что подтвердил разделение Западной империи и окончательно отделил друг от друга немцев и французов.

### ВОСКРЕШЕНИЕ ШАРЛЕМАНЯ

— Чудесно! — весело воскликнул Абетц. — Вы и представить себе не можете, как вы точно попали в самую цель. Как раз сейчас у нас Шарлемань отнюдь не в чести у целой клики, и ее-то влияние и надо подавить. Да. Вот как раз сейчас самый подходящий момент реабилитировать Шарлеманя. Это как раз то, что требуется. В Германии, знаете ли, можно завоевать людей широкими идеями, если понадобится, можно вернуться хоть к самому потопу. Так вот, давайте оправдаем Шарлеманя!

На этом вполне разумном предложении, одобренном вкрадчивым юмором, мы и расстались.

Как-то — я был как раз в Берлине, — мы, если не ошибаюсь, сидели тогда в уголке одной из гостиных отеля «Адлон» в первом этаже, — Абетц говорил со мной, понизив голос, об убийствах 30 июня.

— Да, это была ужасная расправа, — говорил он, — в таких случаях Гитлер реагирует молниеносно. Он не колебался ни одной секунды. Он прилетел на своем самолете и уничтожил весь этот заговор одним ударом, отрубив ему самую голову.

Я осторожно намекнул, что, может быть, это действительно было в высшей степени удачно для Гитлера и для тех, кто связал свою судьбу с ним, но что меня лично немного удивляет, как это он, Абетц, который не является наци, говорит об этом с таким восхищением. Допустим, что заговор Рема и его приспешников удался бы — разве это не было бы началом междоусобной войны между са-

---

<sup>1</sup> Карл Великий.



мими наци? А это открыло бы путь к освобождению Германии...

Абетц покачал головой.

— Нет, — сказал он, не обнаруживая никакого желания пускаться в дальнейшие объяснения, — это могло бы только привести к самым ужасным последствиям. Сторонники Рема — это был самый отчаянный и самый опасный народ.

И, подавив смешок, он добавил:

— Жаль, что Гитлер всех их не перебил.

Мне было очень трудно добиться от него более полного пояснения, которое меня бы удовлетворило. Он явно предпочитал изъясняться туманными обиняками. Мне не хотелось, чтобы у него создалось впечатление, что я его допрашиваю; однако мало-помалу мне все-таки удалось составить некоторое представление о том, как понимал он эту тайну наци, имея возможность глядеть на нее изнутри. И это можно изложить так.

В этом все еще бушующем водовороте, полном самых темных возможностей, в партии наци существовали две основных тенденции. Одна привлекала к себе фанатиков, самых отъявленных авантюристов, кровожадных зверей, которые были способны на все и которым не было никакого дела ни до Германии, ни до западной цивилизации. Другая, по мнению Абетца, влекла к себе людей, которые видели в национал-социализме способ восстановить место Германии в Европе. Эти люди якобы стремились к тому, чтобы постепенно сгладить крайности режима и найти способ мирного сожительства с западными державами.

— Для людей, преданных делу мира и примирения, как мы с вами, — убедительным тоном говорил Абетц, — сомнений быть не может. Первая из этих тенденций — это катастрофа, вторая — верный путь для мирного сотрудничества. И ее олицетворяет фон Риббентроп.

— А Альфред Розенберг? Куда следует отнести его? — Абетц ответил неопределенной гримасой. Может быть, Розенберг был и не самым худшим из них, но он занимался тем, что снабжал партию наци кое-какими из этих мифов, наиболее опасных и наиболее способных разжигать их фанатизм, мифами о расе, крови и прочей абракадабре. Кроме того, занимая высокое положение в министерстве иностранных дел, он был главным препятствием на пути Риббентропа.

А Геббельс, этот темный, всегда лихорадочно возбужденный маленький человек? На это Абетц отвечал улыбкой. Хотя он и не говорил этого, но получалось такое впечатление, что он рассматривает Геббельса, как маклера в какой-то маленькой игре, насчет которого никому не приходит в голову осведомляться, чем он интересуется или что он думает. С ним все обойдется гладко.

— Ну, а сам фюрер? — спросил я.

Абетц стал говорить вдвойне осторожно. Но намекнул, что казнь Рема может в данном случае служить известным указанием.

Гитлер был загадкой для наблюдателя, ибо он был загадкой для самого себя. О нем больше чем о ком-нибудь другом можно было сказать, что он будет стремиться именно к тому, к чему заставляют его стремиться обстоятельства или такт (либо отсутствие такта) тех, кто его окружает. Поэтому-то и было так важно окружить его непрерывной сетью влияний. Риббентроп уже завоевал его доверие, но еще не в такой исключительной мере, которая позволила бы ему войти в непосредственный контакт с дипломатическим миром.

## ЖЕНЩИНА ИЗ ЛИЛЛЯ

Абетц дал мне еще одно доказательство своего дружеского расположения, пригласив меня к себе домой. Он занимал один этаж маленького домика на новом участке в предместьи Берлина, окруженном садами. Госпожа Абетц, француженка из Лилля, была хрупкой, скорее бледной женщиной, и в ее лице, глазах, голосе было что-то смиренное и в то же время мужественное, страстное и нежное. Вместе они производили впечатление очень дружной пары. Они в этой их маленькой квартирке напоминали мне чету юных художников или ученых, которые живут на Монпарнасе или в окрестностях парка Монсури, воодушевляемые своей верой. Они показали мне своего мальчика. Среди разговора Абетца позвали к телефону. Он вернулся и сказал:

— Меня требуют туда («туда» это было какое-то бюро иностранных связей, в котором он работал, и которое, по моим предположениям, подчинялось Риббентропу), но это займет всего лишь несколько минут. Вы можете подождать меня. А моя жена составит вам компанию.

## СПУСТЯ ШЕСТЬ ЛЕТ

Госпожа Абетц осталась наедине со мною и с ребенком. Она говорила о своем супруге с нежным восхищением:

— Он весь отдался этому делу, делу соединения наших двух стран. Я очень стараюсь помогать ему. Он такой великодушный и увлекающийся по натуре. Он бросил свою скромную службу, чтобы целиком отдаться этому делу. Потому что у него все его время должно быть свободным — ему приходится видаться с людьми, путешествовать. И вот мы остались совершенно безо всяких средств. Он категорически отказывается брать деньги за эту работу, чтобы у кого-нибудь не возникло подозрения, что он делает это из-за каких-то своекорыстных интересов. И мне пришлось занять денег у моих родных во Франции. Так вот мы и живем, очень скромно, как видите.

И это говорила мне молодая француженка, на моем родном языке. Нужно было обладать чудовищной подозрительностью, чтобы не растрогаться и не поверить тому, что она говорила.

По правде сказать, я бы ничуть не удивился, если бы кто-нибудь сказал мне, что ровно через четыре года я снова встречу с Абетцом в Париже на официальном рауте, которым ознаменуется франко-германское соглашение, — с Абетцом в элегантном фраке дипломата, Абетцом, явно процветающим на своем посту в штабе министра иностранных дел фон Риббентропа. Ведь в конце концов мой Абетц 1934 года и не думал налагать на себя обет смирения и бедности. Но я бы удивился, если бы кто-нибудь сказал мне, что спустя несколько месяцев после того, как мы с ним встретимся в Париже, я узнаю, что его выгнали из Франции, ибо он возглавлял у нас в стране организацию, именуемую «пятой колонной». И если бы кто-нибудь показал мне в волшебном зеркале Абетца 1940 года, назначенного послом в Париже, — в покоренном и раздавленном Париже, — Абетца в его посольском мундире Третьей империи, в дальнейшем облеченного званием Верховного правителя оккупированной Франции, я бы принял это виденье за дьявольскую шутку.

С начала 1935 года я встречался с ним разве что два или три раза, и встречался в таких обстоятельствах, что нам было трудно поговорить запросто. Он мог попросить

меня принять его у себя, но он не пытался делать это. Он был хитер и понимал, что я буду задавать ему неприятные вопросы, — например, о том курсе, который взяла германская политика, о посягательствах Германии на мир Европы и на независимость ее соседей, о тех злодеяниях, которые она с таким постоянством, исключавшим всякую надежду на улучшение, совершала против своих передовых умов, против евреев, против религиозных и моральных свобод всякого рода.

Он знал также, что я не упускал случая публично осуждать поведение Германии и громко заявлял о той опасности, которой национал-социалистская зараза подвергла мир.

И если бы в 1936 или 1937 году у Абетца возникло желание заявить мне с укоризненным видом: «Как жаль, что вы больше не работаете с вашим прежним пылом во имя франко-германского сближения, — вы, повидимому, немного охладели», — он мог бы заранее представить себе довольно ясно, что я ему отвечу: «Что вы, смеетесь надо мной, Абетц, друг мой? Вы думаете, я круглый дурак? Я счастлив был бы увидеть, как эту национал-социалистскую заразу сметут с лица земли. Вы всегда найдете во мне готовность поддержать все, что только может уменьшить или отвратить опасность войны. Но не ждите от меня, чтобы я верил людям вашего режима».

---

## ПРИМЕЧАНИЯ

*Андре Симон, „Я обвиняю“.* Книга вышла на английском языке в 1940 году в Нью-Йорке в издательстве „Dial Press“ под заглавием „J'accuse! The men, who betrayed France“. По предположениям иностранной прессы, автор ее — видный французский журналист, который не считал возможным выступить под своим именем. В настоящем издании книга печатается с некоторыми сокращениями.

*Гордон Уотерфилд, „Что произошло во Франции“.* Книга вышла в 1940 году в Англии под названием „What happened to France“. Автор ее состоял корреспондентом агентства „Рейтер“ при французской армии. Настоящий перевод сделан по извлечению из книги, напечатанному в некоторых номерах англо-египетской газеты „Egyptian Gazette“ в октябре 1940 года. В настоящем издании печатается в сокращенном виде.

*Андре Моруа, „Трагедия Франции“.* Книга видного французского

писателя А. Моруа вышла на английском языке в 1940 году в Нью-Йорке в издательстве Harper and Brothers, под заглавием „Tragedy in France, An eye-witness account“. Так как книга еще не получена в СССР, настоящий перевод сделан по немецкому переводу, напечатанному в нескольких номерах газеты „Neue Züricher Zeitung“ за октябрь 1940 года.

*Андре Жеро (Пертинакс), „Гамелен“.* Статья видного французского журналиста Пертинакса напечатана в американском журнале „Foreign affairs“, в номере за январь — март 1941 года.

*Жюль Ромэн, „Тайна Гамелена“, „Кто спас фашизм?“, „Тайна наци“.* Здесь даны три из семи статей видного французского писателя Ж. Ромэна, которые печатались в американском журнале „Saturday Evening Post“ в номерах за сентябрь — ноябрь 1940 года под общим названием „Seven mysteries of Europe“ (Семь тайн Европы).

---

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие . . . . .	3
<i>Андре Сикон.</i> Я обвиняю (Правда о тех, кто предал Францию) . . . . .	9
<i>Гордон Уотерфилд.</i> Что произошло во Франции . . . . .	197
<i>Андре Моруа.</i> Трагедия Франции . . . . .	264
<i>Андре Жеро</i> (Пертинакс). Гамелен . . . . .	321
<i>Жюль Ромэн.</i> Тайна Гамелена . . . . .	345
Кто спас фашизм . . . . .	368
Тайна наци . . . . .	387
Примечания . . . . .	397

Редактор Р. Гальперина

\* \* \*

Тираж 50 000

Подписано к печати 29/VIII 1941 г.

А 41170.25 печ. л. 25 авт. л.

В печ. листе 37840 зн.

Цена 6 руб.

17-я ф-ка национальной книги Огиза  
РСФСР треста «Полиграфкнига»,  
Москва, Шлюзовая наб., д. 10.

6 руб.

ГОСЛИТИЗДАТ

О ТЕХ, КТО ПРЕДАЛ ФРАНЦИЮ